Е. З. ДОЛИНИН — В ВИХРЕ РЕВОЛЮЦИИ

Е. З. ДОЛИНИН (МОРАВСКИЙ)

В ВИХРЕ РЕВОЛЮЦИИ

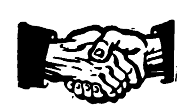
1954

Е. З. ДОЛИНИН (МОРАВСКИЙ)

В ВИХРЕ РЕВОЛЮЦИИ

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ: СТИХИ, ПРОЗА, ФЕЛЬЕТОНЫ, КРИТИКА

Вступительная статья М. Р-НА
Стихотворение МАКСИМА СТОЦКОГО



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДРУГ»
ДЕТРОЙТ, МИЧИГАН
1954

Printed in U. S. A.
RAUSEN BROS.
417 Lafayette Street
New York 3, N. Y.

317

Е З. Долинин.

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Безжалостная смерть сразила Евгения Захаровича Долинина (Моравского) в расцвете духовных сил, на 41-м году жизни. Эта утрата остро ощущалась друзьями, единомышленниками, почитателями его многогранного таланта. Философски образованный, талантливый поэт, писатель, публицист, блестящий оратор, Евгений Захарович обладал всеми данными для общественного деятеля, трибуна.

В России он пережил революцию, гражданскую войну, познакомился с большевистскими тюрьмами и застенками, испил горькую чашу «Октября», и в 1924 году прибыл в США, чтобы поведать всему миру о великих революционных бурях и потрясениях, о предательстве большевиков, о новом закабалении русского народа, о сумерках революционных богов.

В продолжение четырнадцатилетней общественной деятельности в США Евгений Захарович выполнял миссию обличителя большевизма. Число прочитанных им лекций, выступлений на митингах, статей в газетах и журналах можно считать рекордным. Всё это не прошло без влияния на затемненные большевизмом умы наших эмигрантов. Их культурный и политический уровень значительно повысился, очень многие превратились в людей, разбирающихся в политике, в свободомыслящих. Большевизму был нанесен чувствительный урон, а сторонники свободы, братства и равенства усилились, получили моральную поддержку.

Сразу-же, после смерти Евгения Захаровича, друзья и почитатели таланта покойного заговорили о желательности собирания, сохранения, использования его ценного литературного наследства, — в виде журнальных и газетных ста-

тей, — для будущих поколений, чтобы они знали о темных и светлых сторонах русской революции, чтобы они учились на ошибках прошлого, не повторяли их в будущем.

Но выпуск книги затянулся на годы по различным причинам, и только благодаря настойчивости, энергии и особенной жертвенности А. С. Шаврука — друга и почитателя покойного — удалось издать эту книгу.

Многочисленные статьи, рассказы, критические очерки, стихотворения Евгения Захаровича — творчество ума оригинального, глубокое по содержанию, стилистически безупречное, с мистическими, богоискательскими устремлениями. В его философских суждениях — глубина мысли, проникновенность, а порой — ясновидение.

Всё это придает творчеству Е. З. Долинина необычайную литературную ценность. Льстим себя надеждой, что наша эмиграция с должным вниманием отнесется к появлению в свет этой книги, оправдает надежды ее издателей на успешное распространение.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДРУГ»
Детройт, Мич., 1954 г.

ВМЕСТО ВЕНКА

(Памяти Е. З. Моравского).

Прощай! Я не пошлю цветов
С златой каймой — «ПОЭТ ПОЭТУ»...
Один лишь из моих стихов
Я шлю, мой друг, в твою газету.

Твой столь безвременный уход...
Мы этого никак не ждали!
Я вижу наш родной народ
Поникнувший от дум печали.

И даже тот, кому талант
Дан в жизни свыше самим Богом,
В чужой стране, он — эмигрант,
И кончит жизни путь убого...

И в этом главная-то вся
Трагедия в изгнаньи сущих:
Изгнанья общий крест неся,
Не чтить всех с нами же идущих...

В чужой стране, в чужих пирах,
Так все мы — временные гости...
Чужой земли безмолвный прах
И упокоит наши кости.

Душа же грешная игрой
Благих порывов вдохновенья,
Уйдет в далекий край родной
Искать себе упокоенья...

Прощай! Ушел ты в мир иной,
Который никому не тесен...
Так спи же чужд борьбы земной,
Тут жаждущей — и слёз и песен...

Максим Стоцкий

1938

Е. З. ДОЛИНИН (МОРАВСКИЙ)

(1897-1938)

Как мало прожито, как много пережито.

Надсон.

Биографические сведения об авторе этой книги, к сожалению, отрывочные, неполные. Известно лишь, что Евгений Захарович Долинин (Моравский) родился в 1897 году в Виленской губернии, в дворянской семье. Его отец или мать Агнеса Циунель владели имением или фольварком в одном из уездов Виленской губернии. Своей матери он посвятил небольшую книжку стихов, изданную в Москве перед отъездом в Америку.

Учился Евгений Захарович в Виленской гимназии, а затем в Московском университете, который окончил со степенью кандидата философии. Профессор Вышеславцев был одним из его учителей. Анархо-мистическое мировоззрение Е. З. сложилось под влиянием учений Христа, Будды, Лао-Дзы, Толстого, Мережковского, Бердяева, Кропоткина и других писателей, преимущественно религиозно-философского направления; он принадлежал к кружку А. Карелина (известного народовольца).

В России Евгений Захарович сотрудничал в журнале «Труд» (Петроград), в газетах «Жизнь» и «Утро России», в «Крестьянском Голосе» (Москва), в журнале «Вольная Жизнь» (там же).

В разгар революции карелинский кружок превратился в большую организацию всероссийского масштаба, в которой группировались анти-большевики, противники диктатуры, преимущественно интеллигенция — артисты, адвокаты, профессора, врачи, бывшие чиновники (в состав кружка входила даже дочь б. премьер-министра Штюрмера).

Упрочившие свое положение большевики постепенно ликвидировали организации инакомыслящих — дошла очередь и до карелин-

цев: Евгений Захарович, представлявший карелинскую федерацию в Новгородской губернии, а потом в г. Орле (читал лекции в Народном университете), был здесь арестован большевиками, провел зиму в неотапливаемой тюрьме, а затем его перевели в Бутырскую тюрьму, в Москве. Освобожденный из тюрьмы, Е. З. попал на положение поднадзорного, над которым нависла угроза ликвидации. Талантливому молодому человеку умирать не хотелось и, после долгих, больших усилий, ему удалось вырваться из советской неволи.

Осенью 1924 года Евгений Захарович прибыл в Америку и был радушно принят в анти-большевистских кругах русской эмиграции. Во всех американских городах — центрах скопления русской эмиграции — он выступал с докладами, лекциями, знакомил своих соотечественников с истинным положением дел в СССР, с практикой советской власти. Увы! Русская революция не оправдала надежд старой эмиграции (преимущественно крестьянской), бежавшей в Америку, главным образом, от безземелья, нужды. Новые хозяева — большевики разрешили земельный вопрос далеко не в крестьянском духе: лишили землероба последнего клочка земли, загнали в колхозы, превратили в поденщика, наемника государства, в крепостного раба, — словом, восстановили «панщину», прежнее крепостное право, о котором эмигранты хорошо знали по рассказам своих отцов и дедов.

Лекции Евгения Захаровича много содействовали прояснению умов, прозрению, изживанию революционных иллюзий, переоценке ценностей, но ушибленные революцией, патентованные большевики обливали грязью «контр-революционера», и их обструкции на лекциях не раз приводили к дракам, побоищам.

В журналах «Волна», «Пробуждение», в еженедельной газете «Американские Известия» и затем в качестве многолетнего редактора чикагской ежедневной газеты «Рассвет», Евгений Захарович в течение около четырнадцати лет поместил тысячи своих статей, фельетонов, рассказов, стихотворений, критических очерков и заметок за своей подписью или под псевдонимами — Роберт Эрманд, Дельта, Е. Моравский, Кандидат философии, Гамма, Идеалист и др. Часть этого материала и составляет эту книгу.

Большевизм Евгений Захарович считал величайшим злом, бедствием для всего человечества, не находил ему никакого оправдания, был к нему беспощаден. В статье «Могильщикам России» он разражается страстной филиппикой против большевиков:

«Вы не политическая и не рабочая партия. Вы — партия особая — нечеловеческая... Вы — ядовитые змеи. И они (рабочие и крестьяне) будут очищать мечом и огнем свою поруганную землю от всяких змей и скорпионов... Вся ваша партия — сообщество бандитов и убийц, злодеев и воров. И ваше призрачное царство построено на трупах тридцати миллионов человек»...

В рецензии о книге П. Кропоткина «Этика», Е. З. не соглашается со своим учителем относительно присущей всем людям нравственности:

«Наряду с этим, — пишет он в статье «Новое в этике», — мы не должны забывать и того, что у некоторых людей нет никаких нравственных понятий даже в потенции. В качестве яркого примера в этом отношении являются разные Джеки-Потрошители, профессиональные убийцы, палачи и русские большевики. Трагичнее всего то, что эти кровожадные животные, носящие образ и подобие человека, и *не хотят знать* никакой нравственности. Что же можно сказать о нравственной эволюции этих «людей»? Надо думать, что на этих животных не повлияет в нравственном отношении никакая органическая эволюция».

Но христианское чувство берет верх над возмущением Евгения Захаровича, и в статье «Смертная казнь» он требует милости, пощады даже для палача:

«Убивающий безоружного палача становится сам палачом. Большевики — злодеи и убийцы; они Иуды и Каины. Но христианское сознание не имеет ничего общего с чувством мести. Христос не может убивать убийцу»...

Религиозность Евгения Захаровича — интенсивная, мистическая, не обрядовая — он не был церковником и апостола Павла не считал христианином (этот апостол слишком пресмыкался перед властью, а Христос не хотел властвовать над людьми. Мф. 20, 25-28). Бог не власть, а любовь и «любовь уже не власть, а свобода» (Мережковский).

В антирелигиозных статьях он не видел ничего положительного, они раздражали его. «И зачем это люди пишут вздор о предметах, которых не разумеют» и прибавлял: «Малое знание удаляет нас от Бога, великое же — приближает к Нему» (Ньютон).

Хорошо известны претензии марксистов на научность их теорий, и даже Кропоткин отдал дань попыткам научно обосновать теорию бесгосударственного социализма. Но все эти псевдо-научные теории имеют относительное значение, ибо нельзя не только предуказать, но и предвидеть будущее, например, — развитие автомобилизма, радио, телевидения, всевозможных видов огнестрельного оружия, атомной, водородной энергии и т. п.

«Наука в развращенном сердце есть лютое орудие делать зло» — заметил убиенный сын Петра Великого. Технические, научные достижения нашего времени вселяют страх, беспокойство за судьбы человечества, и двадцать семь лет тому назад Евгений Захарович писал об этой надвигающейся катастрофе:

«Творчество этого фаустовского человека не имеет никакого отношения к творчеству культурному, сейчас он создает цивилизацию, несущую ему с собою смерть, а вовсе не победу. Этот человек,

если так можно выразиться, роет себе могилу, но роет ее упорно и настойчиво, ибо не может поступить иначе» (На пороге золотого века, 1926).

В той же статье он сделал другое предсказание, частично осуществившееся в наше время:

«Нет никаких сомнений в том, что в недалеком будущем Америка будет господствовать экономически (а, может быть, и политически) над всеми современными нациями. Она становится вторым Римом, но не Афинами. Место древних Афин, как и говорит Шпенглер, суждено, видимо, занять не Америке, а освобожденной от большевистской проказы матушке нашей России».

Интересны мысли Е. З. социального порядка:

Все люди равны. Нельзя обоготворять пролетария и возводить хулу на богатого и аристократа. Ибо надо стремиться не к бедности и нищете, а к довольству и счастью всех...

Не должно стремиться к тому, чтобы все люди стали плебеями и пролетариями, а чтобы все плебеи и пролетарии стали подлинными аристократами...

Истинно свободным может быть лишь тот, кто сам освободил себя от всякого зла и от всякого хаоса...

Раба можно освободить от цепей и от палки погонщика, но от духовного рабства его освободить нельзя. Истинное освобождение является самоосвобождением. Истинная свобода не дается и не получается: она рождается от нашей внутренней необходимости...

Истинное богатство должно создаваться, а не отниматься у других людей. Не научится человек создавать богатства — он останется вечным бедняком...

Быть может, истинное богатство и заключается в преодолении вещей материального порядка. Не иметь ничего — это значит преодолеть все эти вещи, возвыситься над ними, и в этом возвышении и есть ведь, в сущности, подлинное обладание вещами...

Евгений Захарович умер 19-го марта 1938 года в городе Массилон, Охайо, в доме своего тестя Ф. Коваля. В тот-же день, в один и тот-же час, скончалась его мать в Виленской губернии, как об этом стало известно Марии Федоровне — супруге покойного — из сопоставления дат смерти матери и сына в письме, полученном от сестры Евгения Захаровича. Мария Федоровна была удивлена подобным совпадением моментов смерти, видела в этом какой-то загадочный, непостижимый смысл, — «недаром мой муж был мистик», — писала она в Детройт одному из друзей покойного.

Как и многие одаренные, талантливые люди, Евгений Захарович умер молодым, в расцвете духовных сил, а свои физические силы он растерял на житейском поле брани, особенно в России, в страшные годы революции, гражданской междоусобицы, всероссийского большевистского погрома. Его уход из жизни горячо оплакивали друзья, почитатели покойного. В Америке, в рабочей среде, бедной культурными силами, это была незаменимая утрата, наше духовное обнищание.

Но такова, видно, воля Провидения, призывающая в этот мир и отзывающая нас из него. «Так из театра, — пишет Марк Аврелий (121-180 по Р. Х.), — отпускает актера тот-же притор, который пригласил его на сцену.

— Но я еще не сыграл пяти актов, а только три.

— Ты говоришь хорошо. Но в жизни довольно и трех актов, чтобы пьеса была цельною. Тот, кто определяет твой конец, некогда соединил части твоего тела; он-же — виновник их разложения. Ни то, ни другое не зависит от тебя. Уйди же из мира со спокойным сердцем. Отпускающий тебя не гневается...»

Земной путь нашего поэта, писателя, трибуна оборвался на неоконченной гамме. Бессмертная его душа отошла в вечность. Его дела, дух, воплощенные в творчестве, остаются с нами, в этом мире, навсегда: нам — в воспоминание о благородном рыцаре духа; в назидание, поучение грядущим поколениям.

М. Р-н

Е. З. Долинин в кругу детройтских друзей в Чикаго в 1938 году.
Слева направо: Е. З. Долинин, рядом с ним П. Е. Кунасюк, А. С. Шаврук, Алексей Д. Велентейчик (Денисов). В заднем ряду: Водчиц и Осипов.

Часть первая

СТИХИ И ПРОЗА

МУЧЕНИЦА — РОССИЯ

Проходят дни, часы, мгновенья
В потоке вечном Бытия,
Но нет конца ее мученьям,
Как нет и жизни для нея.

В когтях того, кто дышет ядом,
Кто любит муки, стоны, плач;
Кто вечно был слугою Ада,
Ее тот царственный палач.

Давно осмеяна врагами
Свободы, жизни, красоты,
Давно кровавыми ногами
Ее растоптаны цветы.

Насмешки, дерзкие угрозы
Они в лицо бросают ей,
Плюют в глаза, в которых слезы
Алмазов ярче и нежней.

Бичом безумцы избивают,
Грозят ей смертью, казнью злой;
Костры под нею поджигают
Убийцы зверскою толпой.

Палач жестокий пригвождает
Ее, святую, ко кресту;
Она же вечно воскресает,
Взывая скорбно ко Христу.

СКАЖИ, СТАРИК ХАРОН...

Скажи, старик Харон, что сделаешь со мною,
Когда я в твой Аид навеки отойду:
Узнаю-ли Ее, увижу-ли иною,
Когда и где Ее в Аиде я найду?

Угаснут-ли мои желания земные,
Увянут-ли тогда и грезы, и мечты,
Увижу-ль я миры и храмы голубые,
Вернусь-ли я опять в мир вечной суеты?

Что значит жизнь других, что значит жизнь вселенной,
Когда от нас самих нет больше и следа;
Что значит наша жизнь, отрывок мира тленный,
Когда уходим мы в мир Смерти навсегда?

ФАНТАЗИЯ

Памяти великого поэта

Прости, прости Земля! Тревожный и печальный
Я где то слышу звон твоих колоколов.
Они поют тебе гимн Смерти и Заката
Твоих последних мук, страданий и скорбей.
Во тьму прошедшего уходят молчаливо
Твои угрюмые и горестные дни
И бледным пламенем беззвучно догорают
Твои холодные огни.
Виденья жуткие, таинственные тени
Встречаешь всюду ты и слышишь как они,
Исполнив пляску Зла, Безумия и Смерти,
Зловещим хохотом смеются над тобой.
И вот, в последний час агонии предсмертной,
Победой грезишь ты и вечным возвышеньем,
Но силы больше нет — ты истекаешь кровью —

И снова падаешь в борьбе изнемогая.
И стону твоему не внемлет больше Небо,
И жертв твоих оно уж больше не приемлет,
И вздоху тяжкому груди твоей увядшей
Не отвечает Эхо смехом и весельем
В тиши долин твоих и на вершинах гор.
С тоской уходишь ты и горькою печалью
В пустынный мрачный мир, в неведомые дали;
Навек уходишь ты в тот изначальный хаос,
Где жизни больше нет и нет уж к ней возврата.
И ледяной покров дыханием холодным
Сомкнет твои уста преступные навеки,
И солнца яркий свет весенний и прекрасный
Не оживит тебя уж никогда.
Луна кровавая с улыбкой состраданья
Не скажет в этот час: прости, моя сестра!
Посмотрит издали шутя и равнодушно
И снова спрячется в прозрачных облаках.
Взгляни, взгляни! Вот мчатся за тобою,
Готовя месть тебе, Эриннии святые.
Настал всему конец, последнее забвенье.
Паденья час настал. Прости, прости, прости!

* * * *

О, бедная Земля! Ни слова сожаленья
Никто не вымолвит в час гибели твоей:
Жестокой участи судьба твоя достойна,
Судьба — насмешница — коварная и злая.
Взгляни же, жалкий труп, бездушный и холодный,
Глашатай крови, зла, взгляни же на себя!
Сочти все капли слез, пролитые веками,
Сочти мученья все, Голгофы и Кресты!
Тяжелый дым удушливый и знойный
Повис, как ночи тьма, чернея над тобой.
И кровь детей твоих, тобою же убитых,
Дымится в этот час и мстит детоубийце.

В ветвях твоих весов, средь вечного безмолвья,
Не слышна больше Песнь Экстаза соловья;
И, вместо алых роз, в садах твоих безлюдных
Растет зловещий Мандрегор.
Коварством, ядом зла, дыханием змеиным
Ты жизнь наполнила и воздух отравила.
Убийство, злобу, месть и черное злословье
В сердцах людей ты пробудила.
Вертеп любви продажной и развратной!
Толпы безчувственной нарядная царица.
Пандора вечная и пьяная вакханка,
Рабыня деспотов, возлюбленная, жрица.
В чаду пиршеств твоих кровавых и жестоких
Погас Свободы свет. И мрачной пеленою
Позора, рабства, тьмы, отчаянья, страданий
Покрылась всюду ты... И слышатся проклятья...
Вся жизнь — кромешный Ад и танец Океана
Среди далеких берегов.
И рокот волн ее протяжный и унылый
Несется к острову Теней и Мертвецов.
Убийца, людоед, злодей и поджигатель
Таятся в образе и виде человека.
И нет деяньям их — деяньям беспредельным —
Суда достойного, конца и воздаянья.
Любовь отвергнута, забыто состраданье
В кошмаре жутких дней предательства и казней;
Иуда — жизни царь — злорадно торжествуя,
Встречает Каина лобзаньем и приветом.
Поруган жертвенник, осмеяны святыни,
Погас последний луч отрады и мечты.
И всюду царствует и ужас, и презренье,
Железо, муки, кровь и пытки, и огонь.
Прости, прости, Земля! Последние мгновенья
Ты продаешь свое поруганное тело.
Возмездье близится и настанет День Гнева.
Прости же, грешница! Прости, прости, блудница!

* * * *

И вот прошли века. И радость воскресенья
Дарует вновь тебе Предвечного желанье.
Исчезла всюду тьма. И песней Возрожденья
Встречаешь снова ты ликующее Солнце.
Оно уже взошло. И радостные слезы
Венчают муки все и долгие страданья
И вновь в его лучах торжественно сияют
Одежды белые, одежды голубые.
Поля уснувшие, умершие долины
Полны движенья вновь, цветов, благоуханья.
Забыты муки все. Сном кажется былое,
Тяжелым, мрачным сном и бредом отошедшим.
Исчезло всюду зло, проклятие, презренье,
Насилья вечный гнет, яд мести и угроз,
И вот, сияньем звезд, в земном преображеньи,
Приходят в мир опять и Будда, и Христос.
И мы встречаем их, пришедших в ореоле
Любви божественной, величия и славы
И все, средь алых роз и лилий белоснежных,
Как дети нежные, к ним руки простираем,
И в синеве Небес далекой и безбрежной
Мы видим Храм Его и Свет Неугасимый
И все стремимся ввысь мы к Родине забытой,
К чертогу Мудрости и Тайн Непостижимых.
Курится фимиам. Священными огнями
Украшен пут к Нему отрадный и прекрасный.
И мы опять пред Ним и Вечным Милосердьем
В тиши молитвенной колена преклоняем.

* * * *

Привет тебе, Земля, о мать моя родная!
Земля Грядущего, тебе, тебе привет!
Созданье каждое тебе слагает гимны,
Тобой, тобой живет и рыцарь, и поэт!..

П. А. КРОПОТКИН

(Памяти учителя)

Он отошел. Мятежные исканья
В душе отзывчивой угасли навсегда.
И скорби горестной полны переживанья:
Он не придет к нам больше никогда.

Среди тревог земных, страданий и гонений
Огонь души его до гроба не погас.
Всё тот же, жаждущий свободы и смятений,
Сказал всему — прости — сказал в последний раз.

То умер Прометей. Вот новая могила...
И снова мрак вокруг, немая тишина.
Страданий слышен стон. И снова поглотила
Всю жизнь отрадную печали глубина.

И всюду тьма. Но голос Правды вечной
Уже навек умолк и вновь не прозвучит;
Лишь отзвук прошлого созвучием предвечным
И дух его в других опять заговорит.

Его грядущее Бессмертьем увенчает,
Из роз Анархии сплетет ему венок.
Пусть длится тьма, но звезды засияют —
И будет жить в веках Апостол и пророк.

STELLA MARIS

Тебе, Звезда моя, молитвы и сомненья
И слезы горькие я вечно приношу.
Тебе лишь, раненый, из грохота сраженья
Привет последний напишу.

Тебя лишь вижу я, и кроткий, и мятежный,
Во тьме моих ночей и в сумерках земных,
И слышу голос твой ликующий и нежный
В пустынях мертвых и немых.

О, будь же до конца надеждой и спасеньем
Звездой моей души, владычицей моей.
Будь на пути моем небесным утешеньем,
Царица вечная морей.

Тебе, тебе одной молитвы и сомненья,
И слезы горькие я вечно приношу.
Привет последний мой из грохота сраженья
Тебе одной лишь напишу.

К СМЕРТИ

Светлой памяти моего отца

Как долго ты будешь властителем мира,
о, призрак кошмарный и вечный палач?!
Ужели все скорбные стоны и плач
не слышишь, глашатай кровавого пира?

Чудовище! Страшным твоим преступленьям
давно нет и счета, как нет и конца.
Шипы горных терний — весь ужас венца —
даешь ты, как розы, людским поколеньям.

О, Смерть! Ты — преступница. Ты поглотила
земли миллионы прекрасных детей.
И, в пляске безумной и дикой своей,
ты ядом кипящим живых отравила.

Тебе посылаются бури проклятий
мгновеньями жизни из долгих веков,
где слышны созвучья звенящих оков
и видны лишь тени жестоких распятий.

Но если ты скажешь, что требуют Боги
того, что творишь ты давно, так давно,
о, помни: с тобою и им суждено
погибнуть в хаосе грядущей тревоги.

Парил он в высотах, и тайны его
неведомы были долинам.
Но раны таились в груди у него
и тихо спускался он к горным вершинам.

Он видел страданья и муки земли,
и стоны он слышал глухие.
И, крылья расправив в эфирной пыли,
направил полет свой в юдоли земные.

Спустился он к людям. Рыдания их
улыбкой свободы он встретил;
и ропот, воскресший в равнинах немых
приветом ему вдохновенным ответил.

Проснулись желанья. Тревога пришла —
предвестница бурь и рассвета,
но песня навеки его умерла,
осталась в долинах земли недопетой.

СУМЕРКИ ЖИЗНИ

Посвящ. А. К.

Есть сумерки в жизни, и жутким кошмаром
повита бездонного неба лазурь;
земля вся объята кровавым пожаром
в немом ожидании смерти и бурь.

Безумия демона слышится пляска
и хохот зловещий и громкий вдали;
поруганы храм мой, молитвы и сказки
при новом безмолвьи Богов и земли.

Черным злословьем и вечным презреньем
разбита богиня моя — Красота;
и снова становится лишь сновиденьем
любимая мною подруга — Мечта.

И люди, с дыханием злобным гиены,
живут у потоков Кровавой реки,
и колокол, эхом последней измены,
поет им последнюю песню тоски.

И мнится, что в этой печальной юдоли
буду я вечно и вечно один.
Но не сломить никому моей воли,
пусть одинок я, но я — Паладин.

ИНТИМНОЕ

I

Когда ты обижен Судьбою жестоко
и молча страдаешь, с унылой душой,
— не плачь, не смущайся, — живи одиноко
и тайну страданий храни пред собой.

Когда ты поруган иль рабства оковы
влачишь беспрестанно, угрюмый, больной,
— венец, без боязни, мятежный, суровый
одень, и молись Немезиде одной.

II

Если вокруг тебя счастье сияет
вечно багряной и яркой зарей,
— пусть твое сердце тогда не рыдает,
но улетит к нему жгучей стрелой.

Если-же жизнь над тобою смеется,
отдав твою волю земной тишине,
— с проклятием жизни пусть сердце взорвется
и растворится навеки в огне.

НОЧЬЮ

Сонет

Сияют в небесах далекие Плеяды,
как феи вечности, надлунной вышины;
в горах, как призраки, мелькают Ореады,
как тени нежные, виденья, полусны.

В лесу задумчивом игривые Дриады
тревожат сладкий сон полночной тишины;
в реке купаются стыдливые Наяды,
боясь и призраков, и звуков, и луны.

И голос слышится волшебный и напрасный
прелестной Эхо лишь в долинах и лесах,
как Сфинкс, загадочный, как сумерки, неясный.

Психея бедная в томленьи и слезах
встречает Эроса улыбкою прекрасной,
и длится жизнь ее в забвеньи и мечтах.

РАССВЕТ

Над мрачной, унылой и скорбной землею
я вижу багряный рассвет.
О, это — предвестник грядущего счастья,
моих ликований расцвет.

Весь мир он осветит сиянием ярким
игривых, мятежных лучей,
где рабство, насилье царят беспредельно
и мрак беспросветных ночей.

Пробудятся быстро от сна векового
усталые вечно рабы;
узнают врага, и тогда забушует
великая буря борьбы.

Набат мятежа зарыдает в восторге,
мечи запылают огнем;
и многие в битве великой, суровой
простятся навек с Бытием.

Незримые цепи страданий и рабства
страдальцы тогда разобьют;
их будет победа — за них Немезида
и счастьем поля зацветут.

Рабы соберутся на пир для веселья
после победы своей —
и руки протянут друг другу с улыбкой,
и вспомнят погибших друзей.

Но кто лишь посмеет в том мире Свободы
возвыситься, всем управлять,
безумца конец ждет иль вечно угрюмый
он будет безумно рыдать.

АНАРХИЯ

Из Маккая

Отвергнута и проклята ты всеми,
никем не понята в кошмаре наших дней;
и все кричат: ты — хаос и пред теми,
кто хочет жизнь создать без рабства и цепей.

Но пусть кричат. Они всё не желают
святую истину за словом отыскать.
И долго, может быть, они и не узнают,
слепцы безумные, что значит прозревать.

Ты для меня давно божественное слово,
мечта и цель моя, мой вечный идеал.
Тебе Грядущее. К тому придешь ты снова,
кто в целой вечности тебя лишь ожидал.

Взойдешь-ли солнцем ты — я этого не знаю,
из мрака молнией сверкнешь-ли грозовой.
Я — Анархист. Зачем? — Я не желаю
ни власти для себя, ни власти над собой.

ОЛИМПИЙСКАЯ ПЕСНЯ

Гимны веселые, радости полные,
с арфой божественной жизни споем.
Дети Олимпа и Зевса мы вольные
счастье из жизненной чаши мы пьем.

Жизни мгновения, словно видения,
тихо угаснут, от нас улетят.
Будем-же полны любви, наслаждения,
Боги веселием нас опьянят.

Тело прекрасное — жизнь не напрасная.
Пейте-же, дети Олимпа, вино!
Всюду вакханок напевы неясные
Эроса к празднику просят давно.

Нектар живительный, вечно целительный
пейте из чаши Богов золотой.
Будем же вновь в хороводе пленительном
музыкой все наслаждаться, игрой.

Храмы чудесные, храмы прелестные
выстроил Зодчий Великий для нас.
Будем, как легкие духи небесные,
в пляске волшебной кружиться не раз.

Гимны веселые, радости полные,
с арфой божественной жизни споем.
Дети Олимпа и Зевса мы вольные
счастье из жизненной чаши мы пьем.

ЗЕВСУ

О, не гневись, Зевс, не посылай угрозы;
они нам больше не страшны.
Пришли на праздник наш божественную розу,
Психею вечную и жизни, и весны.

Антей могучий вечно с нами,
ему не страшен ты и мощный Геркулес.
Он всех Богов зовет Земли сынами,
Людей-же всех детьми Небес.

КОШМАРЫ

Сонет

Кошмары черные и мрачные виденья
Повисли в эту ночь, как тучи, надо мной;
Пришли зловещие немые привиденья
Безумной, жуткою толпой.

Я всюду вижу их тревожные движенья,
И слышу голос их, могильный и глухой:
Забудь мечты свои, забудь и сновиденья
В своей печали гробовой.

И тяжко, тяжко мне. И слезы, и страданья
Терзают сердце мне. И ночи тишина
Не внемлет моему рыданью.

Мелькает Смерти тень. Мне шепчет у окна:
Иди, иди ко мне! Прими мои лобзанья!
Я в мире царствую одна.

ЧАСЫ ЖИЗНИ

В подвале грязном и ужасном,
    В объятьях голода и тьмы,
Живем мы все мечтой ужасной:
    О жизни вечно грезим мы.
Но как безумны наши грезы
    И как безрадостны оне,
Когда страданья, кровь и слезы
    Царят в тюремной тишине.
И знаем мы: пройдут мученья,
    Сочтутся все земные дни,
Настанет жизни помраченье,
    Угаснут все ее огни.
Придет палач в кроваво-красном,
    Заставит нас одежды снять,
Не даст узнать нам в миг ужасный
    За что идет он убивать.
Убьет за то, что мы любили,
    За то, что люди любят нас,
За то, что мы мечтою жили,
    За то убьет он в этот час.
Не скажет больше здесь ни слова!
    Палач с Лубянки и, как тать,
Уйдет к другим и будет снова
    Пытать и вечно убивать...

ПЕСНЯ КУЗНЕЦА

Сильнее бей, молот тяжелый,
врезайся в каленый металл!
Ты выкуешь светлую долю
тому, кто годами страдал.

Сильнее, удар за ударом,
мой молот любимый, стучи! —
Когда-же ты выкуешь счастье,
тогда ты — тогда замолчи.

МЫСЛЬ, ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ

Из В. Вордсворта

Торопись, посмотри, как блестят подо льдом
    пузыри, непрерывно играя;
и не знает никто, для чего рождены
    преходящие вечно созданья.

Так проходит и мысль, вечно полная волн,
    подражая тревожному морю;
протекает и жизнь, как морская вода,
    только смерть и судьба бесконечны.

* * * *

Пройдут года — надежды и желанья
в душе истерзанной угаснут навсегда,
и будешь жить тогда мечтой, воспоминаньем,
не встретишь прошлого вновь больше никогда.

ЧАСОВОЙ

Из Томаса Мура

П. А. Д.

Past twelve o'clock — past twelve.
Спокойной ночи, спокойной ночи,
мой ангел нежный, хранитель мой.
Мелькает время до полуночи
и снова плачет здесь Часовой.

Past one o'clock — past one.
Еще мгновенье побудь со мною,
продли забвенье моей мечты;
живу я только одной тобою,
одною мыслью — придешь-ли ты.

Past two o'clock — past two.
Часам не верю: измены вечной
давно, мой ангел, они полны:
уходит счастье — ночь бесконечна,
часы, минуты — длинны, длинны.

Past three o'clock — past three.
Твои целуя уста и очи,
боюсь, что скоро настанет день.
Да, в самом деле, спокойной ночи,
подходит утро, как полутень.

Past three o'clock — past three.
Спокойной ночи, спокойной ночи.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ

Посвящ. В. В. П.

Усни, мое милое счастье,
не плачь, безмятежно усни!
Забудь свое горе, ненастье,
забудь навсегда, отдохни!
Усни, усни, усни!

Угаснут во сне ожиданья
далекой, далекой весны,
увянут навеки желанья
и счастья забытого сны.
Усни, усни, усни!

Забудешь земные печали
и слезы забудешь свои,
забудешь, когда умолкали
и песни, и сказки мои.
Усни, усни, усни!

Усни в тишине полуночи,
спокойно и сладко усни,
твои поцелую я очи
и снова зажгу я огни!
Усни, усни, усни!

И буду я вечно молиться,
и буду тебя охранять,
и буду я к небу стремиться,
и буду тебя целовать.
Усни, усни, усни!

Усни, и небесные силы
тебя унесут далеко.
А я понесу до могилы
и муки, и слезы легко.
Усни, усни, усни!

ОТЗВУКИ

Где ты, любимая,
Где ты, желанная,
Мечта единая
И несказанная?

— Где то далеко,
В море глубоком,
В мире безлюдном
И изумрудном.

Помнишь ли ложную
Жизнь отошедшую,
Счастье возможное
И не пришедшее?

— Нет сожалений
О днях минувших,
Нет и сомнений
Во всём уснувшем.

Слышишь ли грустный
Голос далекий,
Видишь ли путь мой,
Путь одинокий?

— Путь твой я вижу,
Голос твой слышу,
К тебе взываю
И ожидаю...

ПЕСЕНКА

Я ждал тебя,
А ты и не пришла.
Последняя свеча печально догорала,
Последняя мечта навеки увядала, —
Я ждал тебя,
А ты и не пришла.

***

Я ждал тебя,
А ты и не пришла.
Луна лишь в небесах торжественно сияла
И шопотам земли задумчиво внимала, —
Я ждал тебя,
А ты и не пришла.

***

Я ждал тебя,
А ты и не пришла.
Скажи, скажи: зачем поцеловала,
Зачем, зачем меня очаровала? —
Я ждал тебя,
А ты и не пришла.

В ПУСТЫНЕ МИРА

Я слышал песню в пустыне мира,
Я слышал голос из тьмы веков.
Я слышал песню Твоих Валькирий,
Я слышал голос иных миров:

Ты ищешь света, ты ищешь знанья,
Но всюду видишь глухую ночь.
Найти отраду и ликованье
Никто не в силах тебе помочь.

Ты ищешь правду, ты ищешь Бога,
Но ложны, странник, твои пути.
Закрыты к небу твои дороги,
В пустыне мира их не найти.

Твои блужданья — путь Агасфера,
Твои исканья лежат в веках.
Ты плакал долго, страдал безмерно,
Но много-ль пользы в твоих слезах?

Я слышал песню в пустыне мира,
Я слышал голос из тьмы веков.
Я слышал песню Твоих Валькирий,
Я слышал голос иных миров.

ПАМЯТИ КРОПОТКИНА

Парил он в высотах. Все тайны его
Неведомы были долинам.
Вдруг раны открылись в груди у него
И начал спускаться он к горным вершинам.

Оттуда он видел все муки земли,
И стоны он слышал людские;
Они в его сердце терзанье внесли,
Они пробудили в нем чувства другие.

На стоны людей и на жалобы их
Он песнью свободы ответил.
И скоро в убогих равнинах земных
Движенье и ропот он всюду заметил.

Проснулись порывы. Тревога пришла —
Предвестница бурь и рассвета...
Но песня внезапно его замерла,
Осталась в долинах земных недопетой.

REQUIEM

Из Оскара Уайльда

Памяти сестры

Лежит спокойно здесь, у дороги,
Под снегом белым лежит она,
Лежит без грусти и без тревоги,
В объятьях смерти, в объятьях сна.

Дыханье ветра уж не колышет
Волос душистых в ее гробу;
Увядший образ никто не видит,
Никто не слышит ее мольбу.

Белее снега, белее лилий
Она казалась когда то мне.
Ей надо много борьбы, усилий,
Чтобы проснуться в последнем сне.

В гробу — молчанье. И не ответит
Она мне больше в тиши земной;
Улыбки больше моей не встретит:
Мои мученья — ее покой.

Покойся мирно в ночь без рассвета!
Навек угасли твои мечты.
Созвучьям лиры или сонета
В своем покое не внемлешь ты.

ЖЕЛАНИЯ

Во тьме земной давно блуждая,
Я жажду света и небес;
Блаженства смерти предвещаю,
И жду неведомых чудес.

Хочу однажды в Ад спуститься,
Чтобы увидеть князя Тьмы;
Хочу я с духом злым сразиться,
Изведать гнет его тюрьмы.

Хочу в Нирвану удалиться,
Чтобы блаженством там вздохнуть,
Оттуда буду ввысь стремиться,
К мирам иным направлю путь.

В своем я сердце начертаю:
Ad Tenebraes et ad M. D.
Я этих слов значенье знаю
И с ними буду я везде.

В душе моей живут желанья
Миров иных, грядущих дней.
И нет конца моим исканьям,
И смерти нет в душе моей.

ХРИСТОС И ПАРАКЛЕТ

Слагаются жизни не только бессмертные гимны, полные вдохновенных восторгов и опьяняющей радости, но ей посылаются также и «бури проклятий», сопровождаемые иногда слишком мучительными кошмарами сумеречной души человека, превращающимися иногда в трагические пляски Безумия и Смерти, ибо на этой великой божественной сцене-земле, где каждый человек является только артистом, нет, как говорят эти тоскующие, не приемлющие жизни, души, ничего, кроме печали, страданий и зла. И всякая *воля* к жизни, всякое *желание* жизни является *злом*. Так говорил Будда, так говорили философы и поэты: Шопенгауэр и Гартман, Байрон и Леопарди.

Нельзя, конечно, согласиться с ними, но нельзя также и утверждать, что в жизни нет зла и страдания, что жизнь каждого существа, каждого человека представляет собою единственную и абсолютную ценность. Но если даже и согласиться с тем, что жизнь есть «остров страданий», то и в этих страданиях можно найти слишком великие ценности, ради которых и можно и следует жить.

Одно сознание Божества, сознание своего разумного и бессмертного Ego, сознание внешнего мира должно доставить каждому человеку величайшую радость, ибо в этом сознании рождается утверждение человеческого духа, являющегося эманацией Неведомого Бога, рождается понятие единства человека и внешнего мира и вечное проявление любви к самому себе и ко всему окружающему. Сознание Божества, искание Истины, стремление к совершенству, любовь к каждому живому существу и отделяет человека от мира животных и приближает его к незримому храму Великого Бога.

Oscar Wilde

Оскар Уайльд

Фихте, при всей своей безграничной любви к окружающему, все же любил больше всего человека, ибо человек является тем существом, в котором обитает Великий Разум, бессмертный Божественный Дух, произносящий священное слово: *Я есмь.* «Где бы ты ни жил, — говорит он, — помни, что носишь человеческий образ, приближаешься ли ты к животным, под палкой погонщика, сажая сахарный тростник, или греешься ты на берегах Огненной Земли у огня, который не сам ты зажег, пока он не погаснет, и только горюешь, что он не хочет сам себя поддерживать, являешься ли ты мне самым жалким и отвратительным злодеем, всё-таки ты — то же, что и я, ибо ты можешь сказать мне: Я *есмь.* Ты всё же мой товарищ, мой брат». («О достоинстве человека»).

Всякое бытие находит себе оправдание, находит его потому, что оно существует; каждая жизнь имеет свой смысл, свое содержание, ибо она утверждает наше — «Я есмь», наше бессмертное Ego и каждая радость, и каждая печаль имеет свою красоту, которая открывает человеку его величие и назначение. Возможность познания самого себя, возможность познания внешнего мира делают человека счастливым даже в страданиях, ибо это познание открывает ему тайны жизни и смерти и тайны души человеческой. Это сознание говорит человеку: где бы ты ни был, Сын Вечности, что бы с тобой ни случилось, — ты будешь всё тем же, чем был, ибо ты являешься вечным звеном в бесконечной цепи всех космосов, времен и народов; где бы ты ни был, что бы с тобой ни случилось, ты будешь только в своем восхождении к Храму и Божеству, ибо твой дух должен возвратиться туда же, откуда пришел. И на своем великом пути ты встретишь и горе, и радость, и свою гордую голову украсишь венками из терний и роз, ибо им будешь проходить долины Добра и Зла, Света и Тьмы, Жизни и Смерти и увидишь, быть может, Голгофу и Крест, но ты увидишь также и Утешителя, обитающего в своем Храме Величия, Славы и Радости.

* * * *

Так некогда и Христос принял терновый венец и окончил свой путь на Голгофе. И в этом трагическом шествии было Его божественное и скорбное величие, ибо вся жизнь Его была вечно не умирающая, вечно трагическая поэма. Прав был поэтому Эпикур, когда говорил, что «мудрецы не слагают поэм, ибо они переживают их». Так и жизнь Христа была этой вечной поэмой, поэмой величия, скорби, страдания, смерти, поэма освобождения мира от праха, зла и безумия, поэма искупления рода человеческого.

Маленький лютеранский катехизис говорит нам также о Том, «Кто спас нас из среды погибших и проклятых людей и освободил от всякого греха, от смерти и от власти сатаны; не золотом и серебром, а своей святой и драгоценной кровью и своими невинными страданиями и смертью», ибо Его жизнь была принесена в жертву на алтарь искупления: «По жалости и ужасу, — говорит о его жизни Оскар Уайльд, — нет ничего равного ей во всём цикле греческой трагедии», ибо еще и теперь кажется невероятным, чтобы один человек «мог понести на своих плечах бремя целого мира». «Место Христа, говорит он, среди поэтов. Келли и Софокл — братья Ему».

Трудно найти в истории более драгоценную, более прекрасную и совершенную личность, чем личность Христа. Настолько же совершенно и закончено было и Его учение — учение любви и страдания. Быть может, только учение Будды напоминает своим совершенством учение Христа. «Христос был не только величайшим индивидуалистом, но Он был и первым индивидуалистом в истории. Люди пытались превратить Его в обычного благотворителя, или поставить Его, как альтруиста, наряду с невеждами и сентиментальными мечтателями. Но в действительности Он не был ни тем, ни другим. Конечно, Он чувствовал жалость к бедным, к тем, кто сидит в тюрьмах, к убогим и несчастным, но Он чувствовал еще большую жалость к богатым, к жестоким гедонистам и тем, кто расточает свободу, делаясь рабом вещей, кто носит мягкие одежды и живет в царских чертогах. Богатство и наслаждение казались Ему в действитель-

ности еще большими трагедиями, чем нищета и печаль. Что касается альтруизма, то кто лучше Его знал, что не свободная воля, а предопределение вершит наши судьбы, что нельзя собирать винограда с терновника и смокв с репейника» (Уайльд). Кто лучше Его знал, что всякая необходимость побеждается любовью, как побеждается ею и смерть, ибо любовь — по выражению Эмпедокла — есть соединяющее милосердие, побеждающая милость, смертельно ненавидящая невыносимую необходимость». И только к Его любвеобильной, законченной личности применимы слова Ницше: «Где более нельзя любить, там нужно погибнуть».

Любовь и страдание являются основными мотивами Его великих переживаний, Его душевной сонаты; они были настолько сильны, настолько прекрасны, что не умолкли даже и на кресте, заставили рыдать под крестом не только ближних, не только Магдалину или учеников, но и многих воинов железных когортов. «Тайна жизни, как говорит Уайльд, это — страдание». «Оно так же, как и печаль, говорит он далее, кажется мне единственной истиной. Все другие переживания могут быть обманом зрения или обманом желаний, могут быть созданы для того, чтобы ослепить одно или заглушить другое; но миры создаются из печали, и без страдания не проходит рождение ребенка или рождение звезды». «Если бы кого либо из моих друзей постигло горе, и он отказался бы позволить мне разделить его с ним, мне это было бы страшно больно. Если бы он закрыл передо мной двери дома скорби, я всё же снова вернулся бы к ним и просил бы, чтобы меня впустили, дабы я мог разделить то, на что я теперь имею право. Если бы он счел меня недостойным плакать вместе с ним, я принял бы это как самое жестокое унижение, как самый страшный вид позора, обрушившегося на меня». «Море, как говорит Эврипид в одной из своих трагедий об Ифигении, смывает грязь и раны мира»; страдание же, как и горько-соленое море, очищает и исцеляет душевные раны.

Вот почему и говорят очень часто, что учение Христа было религией нищих, рабов и отверженных, религией тех,

кто не нужен больше ни жизни, ни людям, кто посыпает пеплом главу и уходит в пустыни и леса от жизненных благ и соблазнов, кто изнуряет свое прекрасное тело постом и молитвою, проводя долгие молчаливые ночи в ущельях, куда не проникает даже мерцающий свет сияющих звезд или улыбка луны, кто бродит в долинах, словно прокаженный, кому неведомы волшебные гимны владычице жизни, чье дыхание чуждо ее ароматам, чьи холодные и бесстрастные глаза не видят истинную красоту, и кто не опьяняется дыханием радости. Многие думают, что Он призывал к себе только «нищих духом», убогих, расслабленных, прокаженных и бесноватых, призывал тех, кто оказался последним, забытым и жизнью, и Богом, и людьми, обещая им первенство в мире небесном, в царстве Отца Милосердного.

Но потому, быть может, так и прекрасен еще Его божественный образ, увенчанный не земным ореолом любви и страданий, что Его истинное учение не было понято теми, к кому Он пришел, к кому Он принес свои вечно цветущие истины. Так приходят в мир и другие пророки, другие мудрецы и остаются непонятыми, вечно чужими, как и всякие другие «слишком ранние предтечи слишком медленной весны».

Христос, быть может, больше, чем кто бы то ни было, понял, что всякая Истина, красота или гармония рождаются только из противоположностей, о чем говорил еще и Героклит Эфесский; он понял также и то, что только борьба этих противоположностей создает высшие ценности и совершенство. Для каждого человека было бы слишком большим несчастьем, если бы он родился безгрешным и совершенным, ибо быть совершенным значительно легче и проще; быть совершенным мог бы быть каждый, но не каждый может становиться им, ибо для этого становления необходима героическая борьба, борьба самая трудная и благородная, — борьба с самим собой. Вот почему всякое внутреннее совершенство нашего Ego должно быть ценнее и прекраснее всякого другого совершенства, приходящего

к человеку извне. В своей безупречной возвышенной жизни, в своих великих страданиях, в своей трагической и безропотной смерти Он достиг своего внутреннего совершенства и соединил в себе таким образом и «внешние» и «внутренние» совершенства и Неба и Земли. Эти же необходимые противоположности встречаются также и в Его смерти, ибо он добровольно пошел на Голгофу, и Голгофа пришла к Нему извне, пришла в образе предательства, суда, казни и «сильных мира сего».

Не «нищетой духа», но мудростью змеи должен был обладать тот, кто хотел идти за Ним, ибо, утверждая страдание, Он утверждал также и радость. Уже своей смертью Он оправдал жизнь, ибо он умер ради этой же жизни, ради ее спасения. Когда Он призывает к себе убогих и нищих, то Он призывает также и богатого юношу. «И когда Он говорит ему: «Продай всё, что имеешь, и раздай нищим», то не о положении нищего думает Он, а о душе юноши, о душе, которую губит богатство» (Уайльд). И не было, кажется, ни одного мудреца даже в цветущей Элладе, учение которого было бы настолько индивидуалистично, настолько аристократично, насколько индивидуалистично и аристократично учение Христа, ибо оно и в настоящее время является еще религией избранных, слишком немногих, а не той широкой, безбрежной, как море, толпы, которая не поняла и сотой доли Его учения и всё же называет себя христианами.

И Христос это знал, Он знал, что Его учение будет одними не понято, другими отвергнуто, третьими будет названо вечным безумием, о чем Он и предупреждал неоднократно своих учеников. «Не давайте, говорит Он, святыни псам и не бросайте жемчуга перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас» (Мф. 7, 6). Когда Он говорил о Сеятеле, Он говорил, конечно, и о Себе. Он знал, что жемчужные зерна божественной истины принесут плод только на благодатной почве, вырастут только в мудрых, возвышенных душах.

Окружавшая Его некогда иудейская и римская чернь была Ему в действительности чужой, как и Он был ей чужим, ибо она смотрела на него только, как на Освободителя, как на Пророка, и если не Его, то многих других она способна была побивать камнями.

И когда говорит Он: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Только раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья и Вы не захотели», то в этих ярких немногих словах чувствуется весь ужас и вся трагедия Его одинокой души, чувствуется только безграничная жалость к тому, кто и сам не знает, что он творит. Ничья душа не была так одинока, как Его душа. И этого одиночества не поняли даже ученики Его. Быть может, только Мария Магдалина поняла Его лучше других, поняла и Его трагически молчаливое одиночество. Когда эта прекрасная грешница разбивает драгоценный алебастровый сосуд и орошает Его усталые ноги нардом и мирром, ученики говорят Ему, что эти драгоценные масла можно было бы продать «за триста динариев и раздать нищим», хотя они и были принесены грешницей. Христос же говорит им: «Нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда». «Не всегда — хотел Он сказать этими словами — имеете человека, способного понять Меня». И когда Он говорит ей, что ей прощаются грехи ее за то, что она «возлюбила много», то он простил ей эти многие грехи и потому, что она поняла Его тихую скорбь и, если не своими словами, то своим величавым поступком принесла Ему миг утешения. «Но если бы Он произнес, говорит Уайльд, только одни эти слова: «Много грехов простится ей, ибо она много возлюбила» — за одно это стоило бы умереть».

Когда он говорит озлобленной и безумной толпе: «Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень» — Он говорит это не только потому, что большое и небольшое преступление стóят друг друга, и что не может поэтому один преступник осуждать другого, но оправдал

эту грешницу и потому, что в ее грешных, неблагородных поступках увидел могучий протест против лицемерной морали книжников и фарисеев, против традиционной морали иудейского общества и против бессмысленных и жестоких законов Моисея, велевшего побивать прелюбодеек камнями. «Стоило жить, — продолжает Уайльд, — чтобы произнести эти слова». И кто знает, сколько времени пройдет еще до тех пор, когда эти величайшие слова из всех когда либо произнесенных будут положены в основу правовых кодексов и человеческой этики.

Придавая жизни этическое значение, Он придавал ей не меньшее значение и эстетическое, к чему стремились впоследствии и Ницше, и Уайльд. «Будьте как дети», будьте как дети прекрасны и мудры, ибо «прекрасны цветы полевые, но дети прекраснее их», прекрасны и мудрецы в своей мудрости, но дети мудрее их. «Посмотрите на полевые лилии, говорил он, и научитесь жить так, как живут эти лилии», научитесь жить «жизнью цветов», ибо «и Соломон во всей своей славе не одевался так, как одевается каждая из них». Что же может прибавить к этим словам даже и величайший эстет?

Когда же идя на Голгофу, Он увидел рыдающих женщин, чьи слезы были чисты и нежны, как капли утренней росы на лепестках розы, чьи души были нежными и отзывчивыми, как струны рыдающей арфы, Он им сказал: «Дщери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». Этим Он хотел, очевидно, сказать, что эти тихие и искренние слезы, как и слезы каждого человека, должны оплакивать только себя, ибо, оплакивая других — «они оплакивают тщетно». Не оплакивать следует страданья того, кто бесконечно нам близок и дорог, но следует самому принять эти страдания и разделить с ним его великое горе и безграничную скорбь.

Так, «в чудных лучах, — говорит Леконт-де-Лилль, — светил некогда людям образ Христа, но, похоронив Его, люди похоронили своего последнего Бога». Погасло некогда великое светило и умерло во тьме окутавшей землю

в час Его смерти. Умер в страданиях Тот, Кому следовало бы жить, как вечному жениху, в чертоге веселья, умер ради спасения ближних и дальних, ради грядущего царства, ради преображения грешной земли и обновления человека, которому Он сказал некогда: «Следуй за Мною — Я есмь путь, истина и жизнь».

И протекает с тех пор в страданиях жизнь человека и слишком велико его безутешное горе, ибо ступени своей лестницы к Небу он орошает слезами и кровью, и на пути его жизни лежат только тернии. И поднимается к Небу человеческий стон этих страданий и вопрошает Его о своем конце и умоляет Его, чтобы Оно возложило на его плечи более легкий крест. Но что родилось уже однажды, то должно и умереть, что имеет свое начало — будет иметь и свой конец. Пройдет еще несколько времени, и человек вспомнит эти страдания, и всякое воспоминание о них доставит ему высшее блаженство и величайшее счастье. Так и «женщина, когда рождает, терпит скорбь потому что пришел час ее; но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир».

И когда человек вопрошает Небо о том, нет ли другого пути, кроме пути скорби, страданий, Креста и Голгофы, по которому проходил некогда и Христос, то он не помнит того, что говорил ему этот Великий Учитель. Он говорил людям: «Теперь вы имеете печаль; но Я увижу вас опять и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас». «Не скорбите и не смущайтесь» — хотел Он сказать им, ибо «не оставлю вас без утешения — приду к вам».

И трудно, конечно, представить себе, чтобы этот Добрый Пастырь, эта кроткая, любящая и милосердная личность оставила детей своих без утешения, трудно подумать, чтобы самоочищение и самоискупление человеком своих страданий, «длящихся мгновения», продолжались

вечно: это была бы бесплодная жертва, которую способен был бы принять разве только Иудейский Иегова, но не Бог прощения и милосердия, ибо, говорил Христос: «милости хочу, а не жертвы». В своих страданиях Он утешал людей и людские страдания были им утешаемы. Но эти утешения были утешением скорби, эта любовь была любовью в муках, любовью в алмазных слезах.

И Он говорил им о другом утешении: «Я упрошу Отца и даст вам другого Утешителя (Параклета), да пребудет с вами во век». И этот другой Параклет, «которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам всё, что Я говорил вам». Он не пойдет уже тем суровым и слишком тернистым путем, не будет падать, как падал в своем предсмертном изнеможении Христос под неимоверной тяжестью своего Креста. Он не увидит больше солдат, «играющих в кости на ставки из одежд Его, как не увидит образа той ужасной и мучительной смерти, которая ожидала Христа и Прометея, как говорит о нем греческая легенда; он не увидит также рыдающих женщин, ибо не нужно будет уже оплакивать горе других, но им не нужно будет также оплакивать и себя, ибо они будут тогда опьянены божественной радостью, радостью Нового Неба и Новой Земли, будут утешены тем, Кто к ним придет, кто принесет им величайшее утешение — утешение Бога и человека. Он не будет уже говорить людям: «Любите врагов ваших, не проклинайте ненавидящих вас, не делайте зла и не грешите», ибо не будет тогда ни злобы, ни ненависти, ни врагов, ни зла, ни греха. Он скажет им: «Радуйтесь и веселитесь и будьте совершенны, как Отец Небесный, не совершенством земли, но совершенством небес». Он сказал: «Придите ко Мне все любящие, все безутешные, все пострадавшие во имя Мое, и Я утешу вас и буду с вами во век, ибо Я говорю вам, что Я не оставлю вас, что Я приду к вам вновь».

Так говорит и Коран: «За горем вслед идет всегда и радость». Прекрасны и трогательны искренние слезы рыдающей матери, получившей горькие известия о смер-

ти своего любимого единственного сына, но что же может быть, как говорит Байрон, «славнее и благороднее того, когда человек осушает хотя одну эту слезу». Также прекрасно страдание, но еще прекраснее и величественная радость, идущая вслед за страданием. Также возвышенной будет и Радость Утешителя, который призовет к себе истомившихся в своем долгом ожидании освобождения тоскующих детей земли и приведет их в единый торжественный Храм, к единому Богу. И этот единый Храм будет создан самими же людьми как символ единого познания Бога. И каждый человек будет в этом вдохновенном творении зодчим, и колокольным мастером. Каждый из них скажет тогда:

«Вздымаясь, шелестит высоко шелк знамен:
То к Храму нашему идут толпы, идут...
И тут то зазвучит подбор колоколов
Восторгом сладостным; пленительные звуки
Исторгнут из груди у каждого рыданье
От радости щемящей; запоет
Он песнь забытую, утерянную всеми,
Песнь родине, песнь любящих детей,
Что вышла вновь на свет из сказочных глубин,
Была известна всем, но уж давно не пелась.
И вот она звучит тихонько, боязливо, —
То скорбью соловья, то воркованьем, смехом
Веселых голубков, — и лед в груди у всех
В мгновенье рушится; и ненависть, и ярость,
Вся злоба, горести, страданья — претворится
Всё в слезы, жгучие и пламенные слезы.
И вот мы все идем к кресту: и у креста
Ликуем радостно, еще в слезах — и там
Мы видим наконец: освобожденный солнцем
Спаситель мертвый вновь расправить может члены.
В сияньи, радостный и вечно юный, Он
Нисходит юношей, сливаясь с светлым Маем».

(*Гауптман* — «Потонувший колокол»)

И это единое познание Бога приведет в этот Храм и мудреца, и Эллина, и Христианина, ибо в торжественных гимнах Великому Богу родится новая героическая симфония, неведомая еще страдающему и преображающемуся в этих страданиях миру — симфония Радости, симфония новой религии освобожденного духа, религия единого человечества, ибо исчезнет уже власть Сатаны, исчезнут зло и насилие, угнетающие землю железом и кровью, исчезнут тьма и безумие, рождающие злобу, алчность и ненависть, рождающие жестокую и бессмысленную борьбу среди носителей Духа, которым открыл Он когда то все тайны любви, ибо она во много раз прекрасней ненависти.

1923

МГНОВЕНИЯ ВЕЧНОСТИ

Диалоги

Часть первая

Дух. — Какое безмолвие царит в этом мире! Здесь нет, вероятно, ни одного существа, которое могло бы созерцать величественную и холодную красоту этого пустынного мира. Не знаю, как долго я нахожусь в этом странном, загадочном мире, ибо здесь всё так молчаливо и неподвижно, что я уже забываю о времени, хотя и знаю, что во многих мирах и вселенных пространство и время являются вечными источниками жизни. Но в этом новом и непонятном для меня мире нет, вероятно, времени, как нет здесь ничего и живущего. Этот мир кажется мне каким то таинственным и непостижимым. Я чувствую здесь какое то дыхание жизни, но я не знаю еще ни ее формы, ни сущности, ни проявления. Быть может этот новый для меня мир является таким же живым и одухотворенным существом, каким являются и многие другие известные и неизвестные мне существа. Суровое равнодушие этой бесплодной, одинокой жизни напоминает мне прекрасную в своей скорби и молчаливую мать, которая никогда не имела и не имеет детей. Я для нее — чужой. Она не услышит голоса сына Земли, как не услышит его здесь и ни одно существо.

Страж. — Здесь нет безответных призывов. Я слышал, сын Земли, твой голос, но я не мог придти к тебе раньше, ибо в этом мире приходят только *к зовущим.* Поэтому, быть может, этот мир и казался тебе таким пустынным и необитаемым. Неужели еще и сейчас этот мир ка-

жется тебе забытым Храмом, в котором не совершается больше священнослужения, ибо он пуст: в нем вечно пребывает Святыня, но нет в нем ни молящихся, ни священнослужителей. Я знаю, почему непонятна тебе божественная красота и гармония этого светлого и радостного мира: ты здесь дитя еще. В своей земной последней смерти ты родился для новой жизни и нового мира, но в этом рождении тебе не дано было его приятие и познание.

Дух. — Скажи мне, неведомый, кто ты и почему ты говоришь мне, что в этом мире к зовущим приходят? Какой горькой насмешкой звучали бы твои слова на земле?

Страж. — Не должно тебе спрашивать, кто я и откуда пришел, ибо я то же что и ты; я только старше тебя и стою на страже у граней этого мира. Когда же ты говоришь мне, что мои слова показались бы на земле горькой насмешкой, ты говоришь мне о том, что там совершается грех и заблуждение. И многое простится тому, кто видит эти грехи и заблуждения. Сознание их послужило, быть может, новой ступенью в твоем восхождении к высшему совершенству. Разве ты не видишь, что ты находишься в мире ином, более светлом и совершенном, где нет уже тех преступлений земли, при воспоминании которых тебя охватывает какой то непреодолимый ужас.

Дух. — Я вижу, что этот мир прекрасен и совершенен, но всё же я чувствую, что красота его мертва и неподвижна. От нее веет каким то ледяным дыханием вечного безразличия. В туманных очертаниях я вижу здесь перед собой живое лицо смерти, ибо нет в этом мире живительных источников радости, счастья и упоения, в котором могло бы исцелить свои раны всякое существо, утомленное своим бесконечным тернистым путем. Красота этого мира — это застывшая форма, в которой нет уже никакого тепла. Я вижу здесь величаво-торжественное сияние, но, вместе с тем, я чувствую, что этот свет так же холоден, как холодно лунное сияние на земле, как холодны алмазы белых снегов, лежащих на вершинах заоблачных гор и никогда не тающих. Всё земное оставил я в мире

земном, но не оставило меня мое одиночество. Оно со мной и здесь. Оно следует всюду за мной. Нет ничего сильнее и могущественнее этого понятия, ибо во всех веках и вселенных оно господствует, как вечная и неизменная сущность. Но знаю я, что бесконечен путь духа. Быть может, где нибудь я найду и то место, где загорится, наконец, потухшая звезда моего существования. Красота этого мира еще не коснулась меня и я уйду отсюда дальше, ибо и этот мир кажется мне таким же пустынным, как и земля.

Страж. — Ты не можешь этого сделать.

Дух. — Разве и здесь я не могу идти туда, куда зовет меня неведомый голос? Разве я не имею права здесь осуществлять свои желания? Разве у меня отнята даже и та ограниченная свобода, которую имел я некогда на земле, и предо мной лежит уже единственный путь, путь примирения и необходимости, пусть предначертанный рукой какой то таинственной и непостижимой Силы?

Страж. — Свобода твоего духа — это величайшая святыня, к которой никто не может прикоснуться. Она настолько нежна и чувствительна, что всякое прикосновение к ней не только обесценивает существование духа, но и делает это существование чем то ужасным и бессмысленным. Но ты не можешь уйти отсюда потому, что ты еще не достаточно совершенен для того мира, что лежит за пределами настоящего.

Дух. — Ты только что говорил мне, что я равен тебе и в то же время называешь меня несовершенным. Разве я равен тебе, если я слеп в этом мире, если я слаб и беспомощен, если я не достиг еще должного совершенства? Разве ты не совершеннее и не могущественнее меня, если ты говоришь мне о том, что я не совершенен и что я не могу делать того, что говорит мне мое мыслящее и разумное Я? Неужели ты назовешь это равенством?

Страж. — Да, я совершеннее и могущественнее тебя, но разве я не стоял некогда на той же ступени совершенства, на которой находишься ты? И разве ты, в своем бесконечном совершенстве, в своем восхождении к вечному

Храму, не превзойдешь совершенство тех духов, которые обитают ныне в нашем мире, освобожденном от всяких грехов и преступлений? Когда я говорю о равенстве, я не говорю о равенстве достижений, но говорю о равенстве возможностей.

Дух. — Я понимаю твои прекрасные слова. Я знаю, что всякий объект наших желаний к нам не приходит извне. Его нужно достигнуть своими же собственными усилиями. Когда же ты говоришь мне о несовершенстве, ты, очевидно, не думаешь о том, как много в нем скрыто страданий. И разве несовершенное существо можно упрекать в его грехах, в его несовершенстве? Разве в своих грехах виновен тот, кто совершает их, а не та изначальная космическая сила, которая создает всякое существо страдающим и несовершенным? Скажи мне, всезнающий дух, разве творец имеет право на свое творчество, если его творчество, если его творения не достаточно закончены, прекрасны и совершенны? Разве ты не знаешь, как велико и как бесконечно страдание тех живых и разумных существ, в образе которых нет ничего, кроме кошмара и безобразия, ужасов и отчаяния? Когда я был на земле, она была населена прокаженными, идиотами, живыми, разлагающимися телами, распространяющими отраву и зловоние... И все они *родились* некогда такими. И разве не величайшее преступление совершил тот, кто создал когда то этих людей, вся жизнь которых является поистине, каким то безумием? Разве они, в своих слезах и страданиях, не проклинают день своего рождения? Разве они не презирают свое собственное существование? Разве та творческая сила, которая способна оживить камень не совершает того же преступления, когда одним она дает слишком многое, а другим не дает ничего? Разве справедливо поступает природа, когда в одних она воплощает всё свое очарование и всю свою божественную красоту, а других превращает в какие то зловещие бесформенные образы, внушающие словно какие то адские чудовища, чувства боязни и отвращения?

Страж. — Неужели ты думаешь, сын Земли, что страдание так же реально и объективно, как реальны и объективны многие другие образы и понятия? Неужели ты, когда еще был на земле, не замечал того, как просто и легко уходят от жизни те люди, вся жизнь которых была похожа на самое законченное и совершенное произведение искусства, жизнь, являющаяся неиссякаемым источником вечно цветущего счастья, неувядаемой радости и веселья? И разве ты, наряду с этим, не видел, как дорожат жизнью эти отверженные и презираемые существа, о которых ты говоришь мне? В своей трагической боязни смерти они готовы жить какой угодно жизнью; *эта* же бессмысленная привязанность к жизни и делает их рабами грехов и преступлений; она примиряет их со всякой действительностью, которая так жестоко и беспощадно угнетает их. Но и в самом страдании есть нечто возвышенное и благородное, что очищает душу, что исцеляет те раны, к которым не может прикасаться ни рука радости, ни рука счастья, не вызвав в них еще более острой и мучительной боли.

Дух. — Всё это мне понятно. Я знаю также, что и во всяком преступлении, во всяких грехах человеческих есть наказание и искупление, ибо ни один грех, ни одно преступление не совершаются в жизни без страдания. Всё же мне кажется, что можно найти некоторую объективную оценку всяким понятиям и существам. Никто, ведь не может сказать, что всякие физические страдания приносят человеку счастье и удовольствие. Эти страдания, не говоря, конечно, о страданиях душевных, являются вечным и объективным злом, ибо они приходят к человеку извне, а не вытекают из его душевных эмоций. И когда ты говоришь мне, как просто и легко уходят от жизни самые законченные и совершенные люди, то мне кажется, что только они и могут быть свободными во всех своих поступках и что никто не может быть ответственным за их добровольный уход от земного существования. Всякое самоубийство является, конечно, следствием страдания,

но всякое страдание может быть *даваемым и приобретаемым*. Эти же начала — даваемое и приобретаемое лежат и в основе всякого существования. Так и ребенку при рождении дается маленькое тело со всеми способностями к его дальнейшему духовному и физическому развитию, благодаря которым он развивается сам и многое приобретает. Если страдания вытекают из начала приобретенного, — никто не может быть ответственным за них и за всякие результаты этих страданий. Но если же эти страдания даются человеку другими, если они приходят к человеку, словно какая неизбежная и неумолимая неотвратимость судьбы, то вечная ответственность за эти страдания лежит уже на том, кто приносит эти страдания человеку. Это относится также и к несовершенству.

Страж. — Но думал ли ты когда нибудь, о том, что не случайность царит в потоке становления всех космосов, но вечные законы и предопределение, и что каждое существо ответственно за весь космический процесс? Из этих же непреложных и неизменных законов вытекают, быть может, и законы страдания и несовершенства. Быть может, один из этих законов и говорит нам о том, что ни один творец не знает, насколько законченным и совершенным будет его произведение, и что всякое творчество вытекает не из желания, а из понятия должного, ибо в основе всякого Бытия лежит беспредельное творчество. Быть может, точно также, всякое существо должно искупить тот наследственный грех, который возлагается на него при его рождении.

Дух. — Я знаю, неведомый, что и человек создан не для труда, но для *творчества*. Но если бы в космических процессах существовали те законы, о которых говоришь ты, то все миры и вселенные были бы лишены своего смысла и оправдания. Всякий процесс мироздания был бы случайным и неразумным. Когда же ты говоришь мне, что всякое существо должно искупить тот наследственный грех, который возлагается на него при рождении, то это мне кажется чем то ужасным. Неужели и я должен нести

наказание за те грехи и преступления, которых не совершал никогда? И неужели за те грехи и преступления, что совершал некогда я, будет ответственен кто то другой? Сколько *добровольно* я мог бы принять на себя, если бы только был в силах, грехи даже целого мира, но если в этом принятии есть нечто безусловно *должное,* то разве есть в этих мировых процессах даже самое ограниченное понятие свободы выбора и свободы существования? Если бы это было так, то мне осталось бы только оплакивать умершую справедливость и проклинать ту злую и жестокую Силу, которая управляет вселенной.

Страж. — А если страдание человека является искуплением тех грехов, которые он совершил некогда в своих предыдущих существованиях?

Дух. — Разве можно осуждать того, кто не знает своих преступлений. Это было бы тем же, чем является и осуждение невинного. Я должен знать свой грех и свои преступления, и только тогда, без всякого протеста, я понесу должное наказание.

Часть вторая

Дух. — Не знаю, сколько времени прошло с тех пор, когда я видел тебя, впервые пришедшего ко мне в этом мире. Мне кажется, что я не видел тебя, всезнающий дух, много и много веков. Хотя один раз хотелось мне поговорить с тобой. Безумно и страстно хочется мне найти во тьме моего существования хотя бы один луч света, хочется проникнуть хотя бы на одно мгновение в те вечно непостижимые тайны, что именуются Истиной и Справедливостью.

Страж. — Если бы ты исходил даже все пути, какие только могут быть перед тобою, всё же ты не найдешь того, чего ты ищешь, ибо Истина и Справедливость живут в самом тебе, в глубине твоего духа. Неужели ты всё еще не доволен той жизнью, которая окружает тебя в

этом мире, полном неувядающей красоты, радости и благоухания? Неужели твоя безграничная скорбь еще угнетает тебя своей неимоверной тяжестью, неужели она еще не оказалась преодоленной? Неужели и здесь не успели зажить твои земные раны?

Дух. — О, неведомый дух! Мне очень часто кажется, что всякое родившееся в мире страдание так же безгранично, как бесконечны миры и вселенные. Оно неизмеримее всякого пространства и глубже всякой глубины. Неугасаемый огонь его бывает только не в одинаковой степени палящим и мучительным. Я знаю, конечно, что в этом мире меньше страданий и скорби, но я не думаю, что дыхание этих понятий никогда не касается этого мира, ибо если где нибудь можно найти хотя одно страдающее существо, то нельзя тот мир назвать прекрасным, радостным и совершенным. Я вижу, что и в этом мире, как и в тех низших мирах, где был когда то и я, господствует, Сила и Предопределение. Одна же мертвая и холодная красота не может сделать его законченным и совершенным.

Страж. — Неужели ты думаешь, что на земле так много страданий и печали, что всякое существование человека кажется напрасной и бессмысленной жертвой?

Дух. — Я знаю, дух, что на земле много страданий и зла. И так велики ее злодеяния, что мне начинает казаться, что она отдана во власть Сатане. Всякое земное существование является вечным сгоранием на жертвеннике скорби и страдания. И даже самый путь к этому жертвеннику украшен не цветами и драгоценными тканями, но слезами и кровью. Земная жизнь — это тяжелый крестный путь, который не всякий человек способен пройти до конца, ибо очень часто я слыхал там стоны отчаяния; встречал я там много истерзанных и опустошенных душ, которые не могли уже больше страдать.

Страж. — Я знаю, что слишком много страданий приносит жизнь каждому существу. Но разве эта жизнь имела бы какую нибудь ценность, если бы она приносила только наслаждения, счастье и радость? Разве не дорогой це-

ной покупается всякая жизнь и всякое существование? Но я знаю также, что самое величайшее страдание и горе приносит нам не жизнь, но приносят их сами себе все мыслящие и живущие существа. Так и в душе человека можно найти не только Царствие Божие, но и ужасы Ада. Понятны также мне и все твои страдания. Они вытекают из твоих вечных сомнений, из твоего неверия, из вечно-холодного мрака твоей тоскующей одинокой души, ибо нет еще в ней того божественного начала, которое является обновлением вечной возможности жизни. В твоей померкнувшей и суровой душе нет ни одной искры того небесного огня, который мог бы согреть и утешить тебя в минуты страданий и скорби; в ней нет того великого космического начала, которое принесли некогда на землю духи Любви. Поэтому, быть может, и кажутся тебе такими чужими и далекими все духи, обители и вселенные. Холодный ужас охватывает всё мое существо, когда я встречаю дух, в котором нет ни веры, ни любви, ни жалости, ни сострадания. Его безутешная скорбь и страдание приводят его к тому последнему отчаянию, которое поглощает, словно какая то бездна, всякую отраду, надежду и желания. Может ли после этого жизнь казаться ему прекрасной, разумной и необходимой? И может ли этот дух любить ее так, как любим ее мы, духи более сильные и мудрые.

Дух. — Понятия, о которых говоришь ты, неведомы людям. Быть может, в других мирах они понятны и реальны, если только и там они не являются Великими Мечтами. На земле же все эти понятия являются только пустыми словами, лишенными всякого смысла и содержания, ибо все эти великие и возвышенные понятия являются там Вечной Ложью, которой люди вечно обманывают друг друга.

Страж. — Но разве ты не знаешь, что говорили некогда людям Духи Любви: любовь сильнее смерти.

Дух. — Я знаю эти слова, но я знаю также и нечто другое, перед чем бледнеют всякие слова о любви. В этом

суетном мире я знаю роскошь, богатство и славу. Я знаю, какая ирония скрыта на тех лживых и ядовитых устах, которые произносят имя Любви. Она не вытекает из наших душевных эмоций и не является той самодовлеющей космической силой, если она находится во власти материального мира. Не постоянные начала положены в основу этих понятий, но вечная игра и случайность, не свободная воля, преодолевающая всякую привязанность к материальному миру, но вечное подчинение этим преходящим благам земным... Только вечная *победа* любви над всеми суетными желаниями могла бы быть ее апофеозом. Когда я был на земле, я встречал на своем долгом пути много законченных и совершенных жизней; встречал тех людей, которых поцеловала однажды мечта неземного мира, но и среди них я не мог найти ни одного человека, в душе которого могла бы теплиться хотя одна лишь искра этого божественного огня. Сердца этих людей были полны стремлений к личным удовольствиям, полны обмана, коварства и зла. Они способны отдать все свои лучшие чувства за грубые удовольствия, они способны потерять лучшего друга ради богатства и славы.

Страж. — Значит нет у людей даже любви человеческой, являющейся слабым мерцающим отблеском любви иной и непонятной людям? Нет значит и подруги вечной, которая, преодолевая пространство и время, приходит только к тому, кто достоин ее светлой немеркнущей любви?

Дух. — Не свободный выбор подруги дан на земле человеку, но неизменная игра судьбы и предопределение. На земле нет этого выбора.

Страх. — Если нет у людей этой святыни — любви, то у них есть жалость и сострадание, из которых вытекают чувства самопожертвования. Разве ты не назовешь эти чувства началом любви божественной и человеческой?

Дух. — Как мало значит одно сострадание? Это — то, что ничего не стоит и ничему не обязывает. Разве сострадание и жалость имеют какую нибудь цену, если за ними нет даже самых простых благородных поступков? Одно со-

знание этого сострадания делает бремя жизни еще более тяжелым и невыносимым, ибо это сознание является сознанием своего собственного ничтожества и бессилия.

Страж. — Но в чём же ты можешь найти тогда красоту жизни и смысл Бытия?

Дух. — Красоту жизни и смысл Бытия можно найти только в преодолении мира и безграничной свободе, в неутомимом стремлении своего духа к последнему освобождению и вечному Чертогу, в котором обитала некогда моя изначальная сущность. По этому пути пойду и я, увенчанный тайнами и молчанием, не прося ни у кого ни милости, ни жертвы, не ожидая ни откуда любви и сострадания, ибо они мне больше не нужны.

От автора

Эти диалоги были написаны мною в особых условиях — в русской действительности, которая и до сих пор непонятна, очевидно, западно-европейскому и американскому культурному человеку. Так и на этих страницах лежит глубокий отпечаток этих особых условий, ибо многие образы, понятия и идеи мне пришлось перенести в метафизическую плоскость, несмотря на то, что затронутые мною вопросы являются не только философскими вопросами, но и вопросами социальными. А всякое открытое обсуждение этих вопросов — в России совсем невозможно. О них возможно только думать, пока еще не настало то время, когда люди будут говорить здесь о смелости мысли, как о чём то феноменальном и исключительном.

1923

КАРПОКРАТ

Величайшее проявление гениальности и парадоксальности человеческой мысли следует искать в духовных сокровищницах Древнего Мира. Наша культурная эпоха живет идеалами бесконечно далекого прошлого. Она живет мудростью Индии, а гениальностью Греции. Искусство и философия нашей эпохи являются продолжением прошлого. Впрочем, это, быть может, не продолжение, но слабое подражание прошлому. Наша эпоха может гордиться только великими техническими достижениями, ибо в области науки, искусства и философии она не сказала еще своего слова. Величайшие произведения искусства относятся к прошлому; самые разнообразные научные и философские системы встречаются в бессмертных культурах до-христианской эпохи.

Учение гностика Карпократа можно назвать классической системой мистического анархизма, логически вытекающего из его космогонии и гносеологии. Его как и многих других философов, интересуют прежде всего космологические и онтологические проблемы. Из какого источника вытекают самые разнообразные космические процессы, рождающие и утверждающие всякое Бытие? Имеет ли какой либо смысл не только существование человека, но и существование жизни вообще, если в этой жизни нет красоты и гармонии? Все эти глубокие вопросы, занимающие центральное место во всех философских системах, Карпократ не относит к вопросам Непознаваемого. Ему чужды, как и всякому мистику, понятия скепсиса и пессимизма, когда он разрешает так или иначе все основные вопросы, относящиеся к гносеологии. Его имманентно-космическое

сознание, благодаря которому для него нет ничего Непознаваемого, как нет для него и трансцендентального и интеллигибельного мира: всё познаваемо и всё реально.

Единой и неизменной субстанцией мира является, по мнению Карпократа, Истинное и Вечное Божество, без которого невозможно было бы никакое существование. Эта высшая абсолютная сущность, которую Фалес называл «душой» мира, является тем великим предвечным источником, в котором рождается всякая жизнь и всякое существование. Человек — это часть Божества, это — божественная эманация. После целого ряда существований она возвращается к своему источнику и достигает, как говорили индусы, последнего слияния с этим божественным началом, называемым ими Брахмой; и только в этом великом синтезе она освобождается от своих страданий.

Наше земное существование не является, однако, по мнению Карпократа, результатом творения Высшего Божества; оно создает высших духов. Но несмотря на то, что наш мир был создан, по его мнению, «нисшими звездными духами, возмутившимися против истинного Божества, против безначального Отца», всё же «Его сфере причастны души человеческие». Эти души являются несовершенными, окутанными тьмою и заблуждениями, ибо «через воображение и хотение внешних предметов они пленяются нисшими космогоническими силами и впадают в рабство материальной природе, но всё же и для этих душ возможно совершенство и восхождение к Божеству». Только душа Христа, думает Карпократ, освободилась от этого рабства, от всякой привязанности к материальному миру и указала другим пути освобождения.

Путь этот, по учению Карпократа, состоит «в отречении от мира или в презрении к создавшим его начальным духам». Презирать же этот преходящий мир — это значит «совершать все возможные плотские грехи, сохраняя свободу духа или бесстрастие, не привязываясь ни к какому отдельному бытию, или вещам, и внешнюю законность заменяя внутренней силой веры и любви».

Многие ересеологи, писавшие о Карпократе называют его великим проповедником самого крайнего аморализма, являющегося диаметральной противоположностью всякого религиозного догматизма и канонического права. В действительности же, этот великий имморалист был только критически мыслящей личностью, вечно стремящейся к правде и справедливости. Он отрицает грех, преступление и наказание, он отрицает всякое насилие. Правда, его критицизм философия права могла бы назвать уже не критицизмом или скептицизмом, но философски-правовым догматизмом, который так враждебен и чужд Карпократу, ибо его отрицания не могут быть ограничены ни временем, ни пространством.

Что такое грех? Всякий грех является проявлением в человеке божественной воли. «Каждое мое стремление есть дело рук всемогущего Творца. А если это так, то на каком основании мы можем назвать те или другие действия дурными и нехорошими? Положим, я совершаю прелюбодеяние. Но разве я мог бы совершить его, если бы этот поступок противоречил божественной воле?». Если существуют также и другие преступления, то нельзя думать, что они не разумны и не имеют права на существование. Если они существуют, говорил он, словно предвосхищая мысли великого идеалиста Гегеля, значит они разумны и необходимы. Если мудрый и всемогущий Творец создает эти злые начала, значит и всякое зло имеет право на существование. Если эти начала созданы Богом, значит и они так же разумны и необходимы, как и начала правды и добра. Без них немыслима мировая гармония.

Каким же образом, однако, душа человека может освободиться от всяких грехов и преступлений? Для этого необходимо, по мнению Карпократа, «изведать на собственном опыте все возможности греха», необходимо в этой жизни «испытать все виды человеческих пороков, необходимо смыть свою душу грехом», необходимо пройти этот путь до конца; и только тогда душа человека будет освобожденной и подготовит себя для будущей жизни, в

которой не будет ни страстей, ни увлечений, так как она не только испытает их на земле, но и пресытится ими». Он не мог, как учили некогда древние христиане, платить добром за зло. Он — раб добра. Он слишком любил правду и справедливость и не может поэтому расточать безжалостно эти великие священные понятия.

Такая огромная задача, как прохождение всего пути греха требовала, конечно, для каждой души «целого ряда существований». Надо думать, что Карпократу были известны самые разнообразные эсхатологические учения Древнего Востока (Индии и Египта), когда он говорил, что «истинные гностики или пневматики суть те, которые в прежних существованиях уже прошли через большую часть грехов и, довершая остальные в настоящей жизни, уже не подлежат после смерти дальнейшим воплощениям, а переходят прямо в царство Отца безначального».

Такова, в общих чертах, метафизическая часть учения Карпократа.

* * * *

В чем же выражается социальное учение Карпократа? Основные положения своей анархической метафизики он переносит прямолинейно и на социальные вопросы. Его интересует прежде всего проблема власти и принуждения. Неужели она существует как нечто разумное, неизбежное и непреодолимое? Неужели она является одним из проявлений божественной воли? На эти вопросы Карпократ отвечает отрицательно, ибо природа всякой власти — природа демоническая. Всякая власть реальна в социальной жизни, но она не разумна и не находит себе оправдания, ибо она является установлением злых духов, а не божественной воли. Глубоко ошибался, поэтому, апостол Павел, когда в Послании к Римлянам говорил им:

«Omnis anima potestatibus supreminentibus subjecta esto; non enim est potestas nisi a Deo; et quae sunt potestates, sunt a Deo ordinatae». (Epistola ad Romanos 13 1). (Всякая душа

да будет покорна высшим властям; ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены: (Послание к Римлянам, 13, 1).

Христианская церковь считает апостола Павла одним из величайших проповедников христианства. В действительности же учение Павла не имело ничего общего ни с учением Христа, ни с ранним христианством. Не учение Христа проповедывал Павел, но христианизированный иудаизм, носивший своеобразный глубокий отпечаток римского правосознания. Разве учение Павла не противоречит учению Христа, отрицавшему всякую власть и всякое насилие человека над человеком? Разве он понял слова Сатаны, когда тот говорил Христу, что он (Сатана) является носителем власти во всех земных царствах? Он говорит Христу:

«Тебе дам власть над всеми сими *царствами* и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее». (От Луки, 4, 6).

Карпократ, отрицая все проявления земной демонической власти, признает высшую власть Божества, Бога Творца, волю и заповеди которого исполняет не только человек, но и всякое другое создание Бога. Все люди равны перед Ним, как «равны они друг перед другом». Не раб и господин были созданы Божеством, но создан был *человек,* свободный и разумный. И только благодаря нисшим духам, являвшимся непосредственными творцами человека, проникло в мир злое начало, и люди нарушили божественный закон, закон абсолютной свободы. Поэтому и отвергает Карпократ всякую власть, как нечто злое и неразумное, как самое гибельное проявление человеческих страстей. Не из душевного начала вытекает стремление к власти, а из неутолимых животных эмоций. Величайшее преступление против божественной воли совершает не только тот, кто стремится к господству и власти, но совершает это преступление и тот, кто подчиняется этой власти, кто принимает на себя добровольно это позорное и угнетающее иго рабства.

Каким же образом, однако, можно бороться с этим демоническим началом? «Необходимо для этого отказаться от всякого подчинения существующей власти». Но что же может быть результатом этого пассивного сопротивления? Результатом этого отказа может быть более ужасное рабство, основанное уже не на моральных или правовых началах, но на физической силе. Под палкой погонщика будет жить человек и будет работать на своего господина, если только он не захочет умереть под ударами палки. Несколько человек могут господствовать не только над отдельными нациями, но и над всеми людьми. Если существующие власти, в случае этого пассивного сопротивления им, не откажутся от своего господства, тогда необходимо каждому человеку стремиться к этому господству, стремиться к завоеванию власти. Результатом этого стремления явится *панкратия,* господство всех, господство каждого индивидуума, когда становится невозможным какое бы то ни было господство человека над человеком. Власть будет принадлежать каждому, вернее, никому, ибо немыслимо подобное состояние общества, где *каждый* человек являлся бы правителем, законодателем, судьей и гражданином. Моральными и правовыми нормами этого общества было бы, как говорит один из немецких юристов, превосходство физической силы. Из подобного состояния общества вытекала бы самая жестокая борьба не только за господство, но и борьба за существование; эта борьба, не знающая жалости и сострадания, была бы началом гибели человечества. Война всех против всех — это один из величайших симптомов гибели всякой культуры и цивилизации. Подобное состояние общества оправдало бы слова английского философа Гоббса, говорившего когда то: Homo homini lupus est (Человек человеку — волк). Необходимо, поэтому, каждому человеку отказаться от всякой власти и всякого насилия над человеком.

Аналогичные же размышления встречаются у Карпократа и о собственности. Всякая собственность, по его мнению, это источник всякой вражды между людьми.

Если нет законов и принуждения, то «что же удержит людей от поголовного взаимоистребления, что привяжет их друг к другу?». Всякие столкновения, по его мнению, возникают потому, что человек говорит «мое» и «твое». Признание собственности — это великое зло, с которым необходимо бороться каждому человеку. «Необходимо, поэтому, ввести общность имуществ, необходим полный коммунизм». Ему так враждебны понятия «мое» и «твое», что он отрицает даже и моногамный брак, как отрицал его некогда и Платон, и признает свободное сожительство, основанное на бескорыстности и любви. И глубоко ошибаются, конечно, те писатели, которые называют эти взаимоотношения «общностью жен», являющейся, по их мнению, одним из условий существования всякого социального коммунизма. Индоминистическое учение Карпократа является, таким образом, учением универсальным, без осуществления которого невозможна гармония общества.

Отрицание собственности приводит его и к отрицанию государства. И больше, чем к кому бы то ни было, к нему применимы слова Цицерона: Civis sum totius mundi. (Я гражданин мира). Нельзя, конечно, видеть в его широком идеальном космополитизме того квази-социалистического «интернационализма», который так свойственен некоторым политическим партиям, стремящимся к господству не только над одной нацией, но и к господству над всеми народами мира. Такова была сущность «интернационализма» и некоторых римских пап, когда они стремились к созданию единой церкви, построенной на началах католицизма. Этот «интернационализм» приводит к полному разрушению всякой свободной национальной культуры, обезличивает каждую индивидуальность, превращает ее в человека-солдата, живущего в единой мировой казарме.

Право для Карпократа является мертвым понятием. Законы созданы людьми. Не может он, поэтому, считать их разумными и необходимыми. Всякий закон, исходящий

от человека, преследует только человеческие цели, цели греха, преступления и заблуждений. «А раз не нужен закон, то не нужны и правительства, которые его предписывают, судьи — которые его применяют, тюрьмы — куда сажают его нарушителей. Не нужно вообще всякое принуждение, ибо это противоречит намерениям и заповедям Бога».

Карпократ не ограничивался только словами, но старался воплотить свои идеи в жизнь. «Ученики его, появившиеся в Риме около 160 года, основали здесь, при участии некоей Марциллины, особую секту, которая проводила в жизнь его учение». У Карпократа было довольно много последователей. К сожалению, о жизни карпократиан мы знаем очень мало. Не достаточно серьезными кажутся сочинения отцов церкви (Иринея, Ипполита и других ересеологов), писавших против секты, и обвинявших ее в самых гнусных пороках.

Карпократ был несомненно первым обоснователем коммунистического анархизма, пытавшимся осуществить свое учение на деле. «После него на протяжении нескольких веков возникали секты такого же направления». Различны были их религиозные воззрения, но все они сходились в одном: чтобы избавиться от власти и притеснений, «необходимо постигнуть настоящую волю Бога». «Несчастие людей заключается в том, что они этой воли не знают. Когда же они узнают эту божественную волю, тогда и наступит их избавление».

Такова социально-анархическая метафизика Карпократа.

1923

ДЕТИ ГОРЯ

(Сцена из жизни большого города)

Зима. Сильный мороз. На улице большого города стоит больной, голодный и оборванный мальчик и просит милостыню.

Мальчик. Как холодно! Ах, как хорошо мне было бы, если бы не было этого страшного мороза. Летом ведь так тепло и хорошо! Летом можно спать на улице. Как хорошо сейчас тем детям, которые живут в этих больших домах. Все они, наверно, очень богатые. Они живут в этих больших домах, ходят в таких красивых платьях и не просят у прохожих хлеба...

Прохожий (вынимая из кармана медную монету). Как это ужасно! Ты ведь замерзнешь здесь. Твои родители хуже убийц, если они посылают тебя в такой холод просить у прохожих хлеба. Добрая мать никогда не позволила бы тебе выходить в это время на улицу. Ты ведь посинел от холода...

Мальчик. У меня нет мамы.

Прохожий. Так тебя посылает отец? Я повесил-бы такого отца!

Мальчик. У меня нет и отца.

Прохожий. Где же они?

Мальчик. Они умерли. У меня была бабушка, но и она недавно умерла. Она была очень старая. Бабушка мне говорила, что к нам пришли однажды ночью солдаты, такие злые и страшные, и увели с собою папу и маму. А потом эти солдаты и убили их. Но я об этом ничего не помню. Я помню только маму. Ах, как она плакала тогда и целовала меня...

Прохожий. Гже же ты живешь сейчас?

Мальчик. Сейчас?.. Нигде...

Прохожий. Как это нигде?

Мальчик. Раньше я жил с бабушкой, а когда она умерла, я начал жить на улицах.

Прохожий. Где же ты спишь?

Мальчик. В сараях и в пустых домах.

Прохожий. Бедный!.. Как тебя зовут?

Мальчик. Меня зовут Аля. Но меня сейчас никто не называет так. Дети боятся говорить со мною. Они боятся меня.

Прохожий. Бедный мальчик!.. (Дает ему медную монету и уходит).

Мальчик. Какой хороший этот господин! Я очень долго простоял здесь, но никто не дал мне даже маленького куска хлеба. А он дал мне такую большую монету. Он еще спросил меня: как тебя зовут? (К мальчику подходит другой прохожий).

Прохожий. Ты всё просишь милостыню? Напрасно. Эти люди тебе ничего не дадут. Они пожалеют тебя только тогда, когда сами станут нищими. Ничего не проси у них. Лучше иди воровать. Я тоже когда то просил милостыню, а сейчас ворую...

Мальчик. Я не хочу воровать! Я лучше умру.

Прохожий. Поэтому ты и дурак! Умереть успеешь. (Уходит).

Маленькая девочка (подбегая к мальчику). Зачем ты стоишь здесь? Когда я подхожу к окну, и смотрю на улицу, я всегда вижу тебя перед нашим домом. Ты голоден?

Мальчик. Да, я голоден. Я ничего не ел сегодня.

Девочка. Я принесла тебе немного хлеба и пирожное. Мама меня не пускает на улицу, а я вот всё-таки убежала сейчас.

Мальчик. Ты наверное очень богатая?

Девочка. Богатая? А что такое богатая?

Мальчик. Если у тебя есть хлеб и пирожное, то ты очень богатая. Ты ведь сказала мне, что ты живешь в этом красивом доме. В домах живут богатые. Ах, как хорошо быть богатым!..

Девочка. Но ведь хлеб у всех есть. Есть и дома у всех.

Мальчик. Нет, не у всех, а только у богатых. У меня нет ничего.

Девочка. Я буду приносить тебе хлеб и пирожное каждый день. Ах, нет, не каждый день. Мама меня не пускает на улицу. Она мне говорит, что сейчас так холодно, что я могу простудиться. Но мне сейчас не холодно. Я буду убегать от мамы.

Мальчик. Ты такая добрая. Почему ты такая добрая? Разве ты не боишься меня? Такой доброй я никогда не видел.

Девочка. Нет, я не боюсь тебя. Я никого не боюсь.

Мальчик. Как тебя зовут?

Девочка. Меня зовут Ася. А как зовут тебя?

Мальчик. Меня зовут Аля.

Девочка. Я принесла тебе и маленький цветок. Я очень люблю цветы. Только он очень колючий. Разве он не красивый? (Дает мальчику огненно-красную розу с острыми шипами).

Мальчик. Да, он очень красивый. И ты очень красивая. Я всегда буду помнить тебя. (Берет розу, долго смотрит на нее и глаза его орошаются обильными прозрачными слезами).

Третий прохожий. На этой улице я вижу тебя почти каждый день. Разве тебе дают много денег?

Мальчик. Нет, Здесь мне почти ничего не дают. Сегодня только один господин дал мне большую монету. Я думаю, что он очень богатый. Ко мне прибежала еще одна девочка. Она принесла мне хлеба и пирожное. Прохожие

боятся меня. Они даже не смотрят на меня. Вчера ко мне подошел такой толстый господин и хотел даже прогнать меня отсюда.

Прохожий. Так зачем же ты стоишь здесь, если тебе ничего не дают?

Мальчик. Я очень люблю эту улицу. По праздникам я подхожу здесь к церкви и слышу красивое пение. Я всегда слушаю красивые песни. Я ведь так люблю их! Когда я жил с мамой, я тоже учился петь и знал одну очень красивую песню. Но сейчас я не могу петь. Мне так больно!.. Я так голоден.

Прохожий. Но почему же ты не идешь в церковь? Там много богатых.

Мальчик. Я боюсь идти в церковь. Там всё красивое, а я такой оборванный и грязный. Я видел, что нищие никогда не идут в церковь. А я ведь такой грязный и оборванный, как и эти нищие.

Прохожий. А разве ты не нищий?

Мальчик. Нет, я не нищий. Все нищие — старые. Разве маленькие дети могут быть нищими? Но я скоро выросту. Тогда я не буду просить у прохожих ни хлеба, ни денег.

Прохожий (улыбаясь). Уж не думаешь ли ты возвратить прохожим и те деньги, которые ты получил от них?

Мальчик. Да. Я всё им возвращу тогда. (Смотрит на цветок довочки и задумывается). Я возвращу даже этот цветок той маленькой девочке, что принесла мне хлеба и пирожное. Этот цветок скоро засохнет, но я ей куплю тогда другой... Я ей куплю много цветов. Она очень хорощая.

Прохожий. К тебе приходила девочка? Что же она сказала тебе?

Мальчик. Она сказала, что она будет часто приходить ко мне и приносить мне хлеба.

Прохожий. Разве она тебя не боится?

Мальчик. Нет. Она никого не боится.

Прохожий. Я тоже буду приходить к тебе. А теперь мне надо уходить. (Дает мальчику серебряную монету и уходит).

Мальчик. Как холодно!.. Мама, мама! Зачем ты умерла? Если бы ты была со мною, мне было бы тепло и хорошо. Мама, зачем ты меня забыла? Возьми меня к себе и поцелуй меня. Мне так больно и холодно без тебя. Люди такие злые... Они боятся меня. Я ничего не буду брать у них. Они такие страшные и сердитые. Ах, нет, не все плохие. Девочка очень хорошая. Я буду приходить сюда каждый день и буду ожидать ее. Она ведь придет ко мне... Становится темно. Теперь мне надо уходить отсюда. (Делает с трудом несколько шагов и останавливается). Мама, мама!.. Мне так больно!.. Ноги мои стали такими тяжелыми. Я не могу дальше идти. Мама, мама, зачем ты меня оставила?.. (Закрывает лицо своими маленькими ручонками и начинает плакать)...

Уличная девушка (подходя к мальчику). Где же твоя мама? Разве ты потерял ее?

Мальчик. У меня нет мамы. Она умерла.

Девушка. Зачем же ты зовешь ее, если она умерла?

Мальчик. Я хочу, чтобы она меня взяла к себе. Мне очень больно. Я не могу дышать. Ноги мои стали такими тяжелыми. Мне очень трудно говорить с тобой.

Девушка. О, бедное дитя!.. Где же ты живешь? Я отвезу тебя домой.

Мальчик. Где я живу?.. (Пауза). Я здесь живу... на улице.

Девушка. Ты живешь на улице?.. О, небо! Будь ты проклято! И ты, земля, будь проклята навеки! Я думала, что несчастнее меня нет никого на свете... Где же предел несчастью и страданиям? (Подходит к мальчику и обнимает его). Мой брат страдающий, мой одинокий брат! Я тоже дитя улицы и так же одинока. Люди смеются надо мною и презирают меня. Я тоже некогда просила у них

хлеба, но все они только смеялись надо мною. Пойдем ко мне. Я не хочу, чтобы они смеялись здесь и над тобой! Пусть лучше на меня одну все они смотрят своими хищными и страшными глазами. Тебе у них не найдется места.

Мальчик. А у тебя есть дом? Ты тоже богатая? Да, я пойду к тебе. Мне будет тепло с тобой? Но я буду прибегать сюда. Я буду видеть маленькую девочку.

Девушка. Какую девочку?

Мальчик. Ту девочку, которая мне принесла этот красный цветок.

Девушка. Да, я позволю тебе приходить сюда. Но ты не будешь больше просить у них хлеба?

Мальчик. Нет, никогда не буду. Пойдем, мне очень холодно. (Мальчик держится за руку девушки и делает несколько шагов. Затем внезапно падает. Говорит слабым дрожащим голосом): Мама, мама! Я вижу тебя. Я знал, что ты придешь ко мне...

Девушка (прижимая к своей груди мальчика). Теперь ты счастливее меня, мой милый брат, мой милый одинокий мальчик... (Целует умирающего).

ТРИ КНИГИ

(Легенда веков)

У каждого из вас, друзья мои и недруги, есть в жизни суетной и тихое убежище. Был на земле один лишь Человек, у которого не было никакого убежища. «Птицы имеют гнёзда и лисицы норы, а я не имею где преклонить голову». Эти слова я часто вспоминаю. Я думаю об этом Человеке, думаю о себе, о вас... Никто из вас не может повторить их.

Ваши убежища — убежища разнообразные: одни из них можно назвать богатыми чертогами, где царствуют из века в век и радость и веселье, где слышатся звуки арфы и флейт и где рекой течет бургундское вино. Другие же убежища поистине ужасны; в эти угрюмые и мрачные подвалы не проникает никогда даже луч солнца; там нет ни музыки, ни смеха, ни веселья; там вечно царствуют страдания и слезы. Третьи убежища являются монашескими кельями, куда вход воспрещен и Скорби и Веселию. Четвертые убежища были некогда созданы руками самой Природы. Находит в них приют себе несчастный Агасфер, этот «вечный жид», блуждающий по земле в поисках смерти два тысячелетия; живет в этих убежищах строгий аскет-отшельник; скрываются в них иногда и лев, и леопард.

* * * *

И у меня есть тихое убежище. В минуты горечи, тоски или отчаяния я спешу к этому светлому месту и забываю там всю суету земную.

Это убежище принадлежит царице. Не знаю я ни ее имени, ни ее царства. Много, много лет тому назад, когда я

впервые увидел ее, она мне показалась такою же прекрасной, как Психея, и такою же грозною, как Эринния. Я подошел к ней с благоговением и страхом и спросил ее:

— Скажи, неведомая, кто ты? Как зовут тебя?

Она посмотрела на меня своими страшными и очаровательными глазами и тихо ответила:

— Я — дочь богов. Я здесь твоя царица. Имя свое открою я тебе в веках, в тысячелетиях. Помнишь, кто-то сказал когда-то: «Что в имени тебе моем?». Царство мое — Вселенная и Вечность.

Ни о чём я больше не спросил ее. У меня не было больше ни слов, ни вопросов. Я понял в тот момент, что не мне смертному и нищему духом следует обращаться к ней с подобными вопросами. Я знал, что здесь, в этом убежище, нет места для меня. И я решил уйти оттуда навсегда. Я подошел к ней и сказал:

— Прошу у тебя, царица, прощения за то, что я, сын суеты мирской, нарушил здесь своим присутствием твое царственное спокойствие. Я больше никогда не переступлю порога твоего чертога, никогда больше не спрошу тебя, кто ты и как зовут тебя. Твое грозное и божественно прекрасное лицо я не забуду никогда, но никогда я больше не приду к тебе. Если ты — дочь богов, смертному нет здесь места. Я сам дам тебе имя и этим именем я буду звать тебя. Я буду звать тебя Змеиноокой, ибо в твоих глазах я вижу и мудрость змеи, и кротость голубки, и мстительность Эринний.

— Нет, ты придешь ко мне, — ответила Змеиноокая, — тот, кто пришел ко мне однажды, тот не уйдет отсюда навсегда. Пройдут года, десятилетия, пройдут, быть может, сотни лет, но ты придешь ко мне. Мое царство не знает времени. Кто был в моем дворце однажды, тому уже нет места на земле.

* * * *

Много, много лет прошло и я опять пришел к Змеиноокой. За это время я прочитал много книг. Слушал писателей, поэтов, мудрецов. Хотелось мне узнать тайны земли и

неба. Хотелось отгадать, подобно царю Эдипу, и загадки Сфинкса, и загадки жизни. Прошли года, прошли десятилетия, но, как и прежде, я был нищий духом. Душевные мучения стали еще сильнее и ужаснее. Вся жизнь казалась мне кошмаром и безумием. Тесно и душно стало на земле.

* * * *

И вот опять я у моей царицы. В ее нежной улыбке вижу сострадание. Она не смотрит на меня так грозно. Она идет ко мне, берет тихонько за руку и говорит мне тихо, как во храме:

— Ну, вот ты вернулся. Я знала и тогда, что ты придешь ко мне. Пойдем в мой светлый зал и там ты мне расскажешь, что видел ты там лучшее, и что ты там нашел.

И вот мы в светлом зале. Я становлюсь на колено и говорю ей:

— Прости блудного сына. Теперь я больше не уйду отсюда. Много десятилетий странствовал я по земле, странствовал в поисках Истины, Мудрости и Красоты, но ничего я не нашел в том мире. Вместо Истины я встречал всюду ложь, вместо мудрости встречал я заблуждения, а вместо красоты я видел безобразие.

— Что же ты делал для того, чтобы найти эти святыни жизни?

— Я читал книги, я слушал ученых, слушал писателей, поэтов, мудрецов. Прочел я, кажется, несметное количество самых разнообразных книг. Все эти книги не могли бы поднять с места и двести верблюдов. Целые трагедии и поэмы я изучил наизусть. Я знал всех мудрецов, поэтов и ученых. Я знаю речи их с начала до конца. Страстно хотелось мне проникнуть в тайны жизни и я, прежде всего, старался ее изучить. Но она так и оказалась тайной. Хотелось мне найти мир радости, очарований, но я встречал везде страдания и слезы. Хотелось мне проникнуть и в миры другие, чтобы там жить иною светлой жизнью, но я встречал тогда зловещую улыбку Смерти. Нет ничего ужаснее этой царицы мира. Она

сильнее жизни. Мудрый еврейский царь сказал когда то: «Любовь сильна, как смерть». Но я такой любви не знаю. Я знаю только любовь умирающую. Смерть является завершением того таинственного круга, который все мы называем жизнью. Пред нею все равны. Нет у нее жалости ни к бедным, ни к богатым. Она есть песня равенства. В минуты скорби и отчаяния я думал много раз о том, что она может быть моей освободительницей. Когда же я слышал ее шаги, всё мое существо охватывал какой-то непреодолимый ужас. Некий неведомый ужасный голос шептал мне на ухо в эти минуты: «Глупец, смерть никогда не даст тебе освобождения. Со смертью всё кончается. За нею следует одна лишь пустота». В эти минуты я слышал хохот, хохот злорадный, дикий, торжествующий. Мучительно мне было жить, но умирать было еще мучительнее. И я кричал в эти минуты: «О, нет! Я жить хочу! Пусть эта жизнь будет адом, пусть она будет кошмаром и безумием, но всё-таки я буду жить и мыслить. Я понесу свой крест пока у меня будут силы, а там... ах, там опять всё то же!.. Так вот, моя царица, с каким богатством я пришел к тебе. Душа моя стала какой то страшной бездной: она всё поглощает, всё уничтожает. А сердце же мое не знает ничего, кроме страданий. Эти страдания некогда претворялись в слезы. И когда плакал я, мне становилось легче. Сейчас этого нет. Все мои слезы выплаканы...

* * * *

Молчит Змеиноокая. Ее лицо мне кажется еще более строгим и прекрасным. В ее глазах я вижу что-то странное: в них отражаются и небо и земля. В них отражаются и жизнь, и смерть, и мудрость, и могущество. Только теперь я понял, что она «дочь богов» и что она — царица. Ее имя мне и не нужно знать. Боги, ведь, не имеют никаких имен. Люди дают им имена, но нужно ли богине имя?

Вот она смотрит на меня и говорит мне снова:

— О, бедный сын земли! Только теперь ты понял, куда ведут пути твоих учителей. Читал, учился ты, но всё было

напрасно. И ты пришел ко мне таким же нищим духом. Что ты нашел в их книгах и ученьях? Прочел ты, может быть, миллионы книг, а может быть, и больше, но там ты не нашел трех самых важных книг. Книги эти хранятся у меня. Читают их немногие. Прочтешь и ты здесь эти книги и поймешь тогда, что труд твой на земле был горьким и напрасным. В святынях моего чертога есть только три книги: «Книга Жизни», «Книга Смерти» и «Книга Очарований». Прочти вот эти книги. Когда ты прочтешь «Книгу Жизни» и «Книгу Смерти», тогда раскроется перед тобою книга самой Вечности. Будешь и ты жить в этой Вечности и будешь читать тогда книгу мою последнюю — «Книгу Очарований». В моем дворце никто не умирает. Здесь нет ни времени, ни смерти, ни страданий. Здесь царствую лишь я, дочь Вечности и Неба...

* * * *

И у меня, как и у вас, есть тихое убежище. Вот я живу в нем целые десятилетия, а может быть, и сотни лет, живу я у моей царицы, смотрю я иногда на вашу суету земную, а сам читаю здесь «Книгу Очарований»...

1926

ИСКУССТВО И СВОБОДА

Нет, кажется, в общественной жизни более могущественной силы, чем сила Прекрасного.

Сила искусства так велика, что ей подчиняется всё живущее и существующее. Еще большее значение имеет искусство для человека, который является одним из совершеннейших творцов «вечной красоты», воплощает дух Прекрасного в бессмертные реальные формы. Прав был поэтому Ромэн Роллан, когда писал, что «искусство — это царь жизни, это — преодоленная жизнь. Искусство — это то, что заставляет жить. Где смерть — там нет искусства».

Если многие философы на протяжении многих столетий не могли найти «смысла жизни», ее оправдания, то это объясняется, очевидно, тем, что они не обращали почти никакого внимания на область прекрасного, не понимали, очевидно, того, что каждый человек живет ради прекрасного, вечно стремится к нему, осуществляет прекрасное в различных явлениях реального мира. И только Платон указал на этот великий, непреложный мировой закон, указал и на то значение, которое имеет для человека Прекрасное. «О, дорогой Сократ, — говорил он, — только созерцание вечной красоты дает смысл нашей жизни».

Каждый человек стремится к прекрасному; стремится к нему в жизни общественной, моральной, правовой, семейной, экономической. Он хочет видеть прекрасное во всём.

Если Гёте сказал когда-то, что «властителем дум» является поэт, то с большим основанием можно сказать, что

властителем всего человека является музыка, ибо одна лишь только музыка в состоянии отнять у человека его гордое, его священное Я, может привести его в состояние нечувствования, непонимания самого себя, в состояние Нирваны, Экстаза. Музыка — это язык Богов. Поэтому, быть может, и заставляет она каждого человека забывать свое Я, независимо от того, каков ее дух, каково ее внутреннее содержание. Разве не растворяется душа человека в музыке Бетховена, Вагнера, Шопена и Баха? Разве имеет какое либо значение для человеческого Я внутреннее противоречие в творчестве этих бессмертных людей?

Почти таким же образом действуют на человека и другие виды искусства, художественного творчества. С благоговением мы преклоняемся не только перед гениальными композиторами, но преклоняемся также и перед именами Праксителя, Рафаэля, Леонардо-да-Винчи, Микель Анджело, Тициана, Рубенса, Родэна, Байрона, Шелли, Уайльда.

Когда говорят: что такое прекрасное, то кажется, что в ответ на это можно сказать: это — всё, ибо холодный и бездушный мрамор, принявший неимоверно прекрасные формы, мы в состоянии любить неизмеримо сильнее, чем, например, что либо живое, но безобразное и уродливое. Легенда о Пигмалионе часто может быть действительностью.

Рихард Вагнер говорит в своем очерке «Искусство и Революция», что искусству нельзя предъявлять каких бы то ни было требований, ибо всякое художественное творчество не будет уже в таком случае искусством. Это нечто не должно быть чем то. Иначе это будет не искусство, а что то полезное или целесообразное, что не имеет ничего общего с искусством, ибо в истинном искусстве нет и не может быть ничего полезного, разумного и целесообразного: оно свободно от всего. «Оно и должно быть свободным, — говорит Вагнер, — от государства, власти, политики, организации». Как нечто потустороннее, искусство не может быть средством, в искусстве не может быть цели, ибо оно — самоцель.

«В искусстве отсутствует элемент полезного», — говорил Оскар Уайльд, как бы отвечая сторонникам самого утонченного утилитаризма, желающим смотреть и на искусство сквозь пальцы. Вполне последовательный утилитарист должен придти к тому вполне логическому, заключению, что «искусство — совершенно бесполезно»; следовательно оно не находит себе оправдания.

В одном из своих писем к французскому другу Ж. Бизе указывает также на ту опасность, которая грозит искусству со стороны разума. «Если ваш проклятый рационализм, — говорит он, — охватит своим веянием всё человечество, тогда — прощай, искусство!». Разум, польза, целесообразность неразрывно связаны друг с другом. Насколько в искусстве нет этих элементов, настолько оно и может быть враждебно этим понятиям. Вот почему опасения разума у Бизе имеют глубокое основание.

Искусство может идти только «дорогой души», а не «дорогой разума», возражал когда то Пшибышевский Тэну.

Не было, кажется, в истории философской мысли ни одной школы, которая не предъявляла бы искусству каких либо требований. Так, например, еще Гораций считал, что искусство должно быть синтезом двух элементов: «приятного и полезного». Эта же утилитарно-гедонистическая точка зрения положена в основу философии эстетики многих самых разнообразных новейших мыслителей. Более этические требования предъявлял эстетике Гердерн, стремившийся положить в основу художественного творчества три элемента: Истину, Добро и Красоту. Эти же элементы были положены впоследствии в основу неоплатонической философии Владимира Соловьева.

Более объективное определение искусства можно найти у Канта, когда он видит в прекрасном «бесцельную целесообразность»; и более глубокое понимание искусства и его назначения встречается только в системах трансцендентального идеализма Шелинга и Фихте, являвшихся представителями «идеалистической эстетики».

Философ-анархист — М. Гюйо говорит, что «высшая задача искусства — произвести эстетические эмоции общественного характера», изуродованного различными аномалиями современной цивилизации.

Стремление к прекрасному — это вечный и непреложный закон; он так же непреложен, как и закон стремления к радости и удовольствиям, как и законы «небесной механики». И если Пифагор говорил, что «всё небо есть гармония и число», то и вся жизнь есть гармония, симметрия. На это стремление указывал и Эпиктет, говоря: «главная цель природы — укреплять, делать прочным в нас стремление к прекрасному и полезному».

Колыбелью истинного искусства следует считать древнюю Грецию: только у эллинов можно найти самое глубокое понимание искусства. Они смотрели не только на искусство, как на божественную игру, но и вся жизнь им казалась прекрасной игрой[1].

Во главу угла греческой жизни была положена красота, поклонение ей. Аполлон и Дионис — это два начала греческой религии: начала красоты духовной и физической. Поэтому, быть может, искусство древней Греции и было тем искусством, к которому стремился Вагнер и другие творцы красоты; оно было абсолютно свободным и независимым, благодаря чему очень многим мыслителям оно казалось слишком демократическим. Характерной чертой этой свободы была его красота, исключающая всякие понятия «бедный» и «богатый». В своем совершенстве оно исключало всякие понятия богатства и бедности, добра и зла. Красота — это единственный критерий всякого творчества, всякой оценки. В моральном отношении оно находилось «по

---

[1] Оскар Уайльд стремился к тому же в жизни. Устами лорда Генри он говорит: «Я рад, что ты никогда ничего не сделал, не изваял статуи, не написал картины, и вообще ничего не создал. Твоим искусством была жизнь. Твои дни были твоими сонетами» («Портрет Дориана Грея»). Поэтому он прав был, когда говорил, что «жизни он отдал свой гений, а произведениям только талант».

ту сторону добра и зла», к чему стремился в этическом отношении Ф. Ницше. Не даром одна из гетер послужила моделью для Венеры Пракстителя.

К эллинизму, к золотому веку искусства!

Таков был лозунг Дж. Рескина, В. Морриса и других прерафаэлитов, стремящихся создать из нашей угрюмой и сумеречной жизни картину гармонии и красоты. — Даже «всякий труд, — говорил Моррис, — должен быть праздником».

Еще дальше ушел в этом отношении «король жизни» Уайльд; он стремился не только к эллинизму, но возвращался также и к Шеллингу и Фихте, когда говорил, что истинное искусство идеалистическое, ибо только это искусство предшествует жизни и увлекает эту жизнь «к горнему, а не земному», увлекает ее к неведомым берегам всего совершенного, прекрасного. Даже больше того: он хотел видеть «мистическое в жизни, мистическое в искусстве». Нельзя назвать творцом прекрасного того человека, который воспроизводит в своем творчестве различные явления жизни: это сизифов труд, бесплодная работа, ибо природа сама по себе еще более прекрасна и разнообразна и лицо ее открыто для всех... Быть коллекционером мертвых вещей — это неблагодарная работа. Следует быть творцом новых ценностей.

Из всего предыдущего видно, что анархист (в широком смысле этого слова, а не в политическом его значении) не может предъявлять искусству каких либо требований, хотя бы и для достижения анархического идеала, ибо искусство — это самодовлеющая жизнь, с которой можно стремиться только слиться воедино, приобщить свою жизнь к этой великой жизни, ибо, только достигая нескольких жизней и нескольких смертей, можно достигнуть бессмертия. Не даром говорил Уайльд: «кто жил не жизнь одну, а больше, не раз один умрет».

Всякие требования в искусстве были бы напрасными, ибо искусство — это, выражаясь словами Платона и Гегеля,

«Вечная Идея» и «Абсолютный Дух». Нельзя, тем более, предъявлять искусству тех или других требований по одному лишь тому, что оно никогда не было и не может быть коллективным творчеством, о чем мечтают наивные люди. Художественное творчество индивидуально.

Вот почему воззрения эллинов, Шеллинга и Фихте, Морриса и Уайльда могут быть названы более всего анархическими; они могут быть положены в основу анархической философии искусства и при дальнейшем изучении этого вопроса, могут избавить нас от различных превратностей и заблуждений в понимании искусства, его назначения.

Часть вторая

СТАТЬИ И ФЕЛЬЕТОНЫ

БЕССМЕРТНАЯ ПОШЛОСТЬ

С глубоким интересом относится сейчас, очевидно, Западная Европа к происходящим в России событиям. Так много здесь новизны, так много здесь самых разнообразных превратностей, так много здесь «чудес», что вся мировая история начинает казаться какой то неудачной прелюдией к этим феноменальным событиям. Мы пережили здесь божественное вдохновение французской революции, очаровавшей своими идеалами даже реакционных писателей, мы пережили также какую то доисторическую эпоху, когда всякий дикарь центральной Африки или Австралии считал бы себя здесь великим человеком, мы пережили здесь целую эпоху какого то кошмарного азиатского «социализма», выражающегося в моральном идиотизме, кровавых вакханалиях, грабежах и убийствах; мы испытали точно также все прелести парагвайского общества иезуитов, мы видели здесь в действительности все ужасы и безумия Инквизиции. Но умерли к нашему счастью многие ужасы русской действительности и мы начинаем уже гордиться величием Рима и Греции. У нас уже не только что считаются с понятиями права, но создаются даже *новые* гражданские и уголовные кодексы; у нас глубоко чувствуется также стремление римских цезарей к мировой гегемонии, стремление к провозглашению всемирной «социалистической монархии».

Мы переживаем в настоящее время эпоху цветущей Эллады, когда искусство и философия достигли величайшего совершенства, увенчав себя ореолом бессмертия, когда всякое проявление жизни казалось божественным проявле-

нием красоты и мудрости. И только в наши дни, в России, можно было бы жить королю жизни и слова Уайльду, стремившемуся создать из своей жизни произведение искусства. У нас так много появилось всевозможных «писателей», «художников» и «музыкантов», что перед их гениальным творчеством начинают бледнеть уже в России бессмертные имена Фидия и Праксителя, Софокла, Эсхила и Эврипида, Рафаэля, Тициана, Микель Анджелло и Леонардо да Винчи. Забыты уже нами имена Байрона и Шекспира, Гёте и Шиллера. Музыка Вагнера и Бетховена нам кажется уже каким то «идиотским карканьем». Такие же люди, как Данте и Мильтон, считаются навеки умершими для России. Что же касается Толстого и Достоевского, то «всякий средний гражданин большевистского государства равен этим писателям».

Бедные философы! Разве выдерживают какую либо критику ваши понятия времени и пространства, когда мы сумели пережить в течении 5-ти лет несколько целых эпох и столетий? И разве не подтверждаются мысли «безумного» Ницше о «вечном возвращении».

В последнее же время у нас так много появилось самых разнообразных фокусников и балаганных клоунов, что находящиеся здесь китайцы не находят уже благодатной почвы для своей деятельности. Больше всего появилось, конечно, этих фокусников и балаганных шутов среди «политических» деятелей, а в частности и среди анархистов. Они не обладают, конечно, чудесной техникой китайцев и не встречаются, поэтому на улицах и площадях. Они стараются занять роли придворных шутов. Так, например, были некогда анархистами, словно свалившиеся с Неба, «братья Гордины», но очень скоро ушли от анархистов: шутами быть выгоднее и интереснее. И одному Богу известно (даже и сами Гордины не знают этого), сколько всевозможных метаморфоз и сколько перевоплощений пришлось пережить этим людям. (Впрочем, очень виноват перед ними: они уже называют себя «бывшими человеками»). Но слава этих шутов уже, повидимому, поблекла, так как, в занятом ими Пан-

оптикуме (разве не подходящее помещение?), они принимают в последнее время «вид размышляющих» и начинают читать «лекции о любви» и «изобретальни сверхчеловечества».

Так умерли увеселения московских анархистов. И всюду царило уныние. И было жаль отошедших шутов. Мы, ведь, привыкли к зрелищам.

Но, к нашему счастью, вместо ушедших «братьев Гординых» появился в Москве целый цирк. Хотя злые языки и говорят, что пестрота их одежд производит на зрителя не очень приятное впечатление, но они опровергают эти слухи торжественными клятвами, что никакой пестроты не может быть в этих идеологических одеждах, ибо их объединяет единая классовая и профессиональная воля.

Имена этих актеров не говорят, разумеется, ничего ни уму, ни сердцу. О многих из них не знаем ничего даже и мы, москвичи. Главные актеры следующие: Базыльчук (Шидловский), Белковский, Виноградова, Гейцман, Гопнер, Лепин, Михайловский, Ротенберг (Элик), Симонович и Тиновицкая. Но какое значение имеют имена в сравнении с творчеством, логикой и мышлением человека? Ведь мы интересуемся больше всего не именами, а поступками, творчеством и деятельностью носителей тех или других имен.

В своей декларации «Анархо-синдикализм и коммунизм» («Известия В. Ц. И. К.», 9 сентября 1923 года, № 203) они удостоили нас чести узнать кое что о «жизни и деятельности» этих «замечательных людей».

Они, «русские анархисты-коммунисты и анархо-синдикалисты, активные участники Октябрьской Революции, работали рука об руку с большевиками, как в период подготовки Октября, так и в разгар борьбы за власть советов». Они «несли на себе вместе с большевиками всю тяжесть труда на всех фронтах империалистической интервенции и в повседневной борьбе с буржуазно-монархической и псевдо-социалистической контр-революцией».

Это всё, что они говорят нам о себе. Но, думая, что

каждый из них равен Толстому, Бакунину, Штирнеру и Кропоткину (так думать принято у нас), они занялись «серьезной» «переоценкой ценностей». К этому великому и благородному подвигу они призывают и нас. «Мы призываем, — пишут они, — товарищей анархистов со вниманием рассмотреть наши тезисы, которые вкратце суммируют наши взгляды, сложившиеся в результате шестилетней работы в огне величайшей из революций».

В чем же выражаются их взгляды? Они выражаются в том, что коммунистическая партия является истинной богиней Свободы (не даром эти трубадуры поют ей такие восторженные гимны), и что большевистский Интернационал есть истинный Мессия, пришедший на русскую землю для осуществления своего тысячелетнего царства. Разве не забавными шутами кажутся они нам, когда сообщают в своей декларации о тождестве «идей Коминтерна с лучшимы заветами социалистической мысли и творчества»? Разве не хочется смеяться, когда они стараются доказать нам, что черное есть белое, а белое есть черное? Разве не балаганный клоун может доказывать в наше время, что есть какая то разница между фашизмом и большевизмом?

Для того, чтобы придать своим утверждениям некоторую серьезность, они рисуют перед нами всевозможные картины «буржуазной реакции». Они стараются запугать нас тем, что, в сущности, и не кажется уж таким страшным.

«Волна реакции, — пишут они, — всё более и более ширится, и во многих странах создалось весьма угрожающее положение. Уничтожаются рабочие организации, беспощадно подавляется всякое стачечное движение, а локауты подвергают вымиранию от голода десятки тысяч рабочих семейств. Буржуазия стремится в корне подорвать все усилия рабочего класса к организации, пытаясь довести его до полного распыления, чтобы, пользуясь его разрозненностью, окончательно покончить с ним, как с самостоятельной силой, вернув рабочий класс в правовом отношении к временам рабства».

Нет никаких сомнений, что авторы этого «страшного» сообщения не так уж хорошо знакомы с правом, как этого можно было бы ожидать, от этих государственных и политических «деятелей». Что же касается этой страшной буржуазной реакции, то ею нас уж так не запугаешь (не так, ведь, страшен чорт, каким его малюют). Мы переживаем в России такую реакцию, какая и во сне не снилась европейским и американским рабочим. Мы переживаем эпоху реакции дикой, свирепой и разнузданной, напоминающую собой какую то азиатскую чуму, сметающую с лица земли всякие проявления свободной мысли и всякие попытки свободного творчества.

В Европе уничтожаются рабочие организации, а у нас их совсем нет (кроме казарменно-государственных профессиональных союзов). Там подавляется стачечное движение, а у нас всякая стачка является *государственным преступлением;* там умирают от голода *десятки тысяч* рабочих, а у нас умерли и умирают от того же голода *сотни тысяч*; в буржуазных тюрьмах томятся *сотни* рабочих, а у нас *сотни тысяч,* в буржуазных странах были расстреляны и повешены *десятки,* а может быть и *сотни лиц,* а у нас за время большевистской диктатуры было убито около *двух миллионов* человек; в буржуазных странах существует желтая пресса (существует даже и анархическая!), а у нас издаются только правительственно-большевистские «Известия». Впрочем, Васька, ведь, этого не видит: он только слушает да ест.

И, тем не менее, они считают всё таки, что это и есть подлинная революция, что это и есть та новая культура, культура гармонии и свободы, к которой стремилось человечество в течение целых столетий. Это и есть, по их мнению, тот золотой век, о котором грезили только поэты. И эти люди думают, ведь, так серьезно. Чем же можно им ответить на это, как не подозрительным отношением к их психической деятельности? Было бы полезно, пожалуй, побывать им в институте психиатрической экспертизы. Кто

знает, быть может это и опасное заболевание, если только не особый вид какого то морально-политического кретинизма?

С другой стороны, они стараются доказать нам, что никаких аномалий в их психике не наблюдается. Они, ведь, пробуют говорить языком социологов, понимая, конечно, по своему все социальные явления. Но вся их «социология» оказалась почему то несостоятельной. Не потому ли, что эти социологи «верили» и «ждали». А, ведь, помнится, что ни один из социологов не учил нас надеяться, верить и ждать. «Мы ждали и надеялись, — пишут они, — на установление диктатуры пролетариата во всех капиталистических странах Европы и Америки, так как мы признали эту диктатуру неизбежной исторической фазой по пути к достижению безвластного общества».

Но вот прошло шесть лет и не оправдалась их вера, ибо делу революции изменил «европейский пролетариат, руководимый антикоммунистическими партиями». Да, очень досадно, что так безразлично отнесся европейский пролетариат к нашим социологам. Отчего бы ему и не оправдать их веру? Отчего бы ему и не устроить у себя какую либо кровавую вакханалию, чтобы доставить хотя бы временное удовольствие разным глашатаям «мерзости и запустения»? Очень жаль!..

«При таких обстоятельствах, — читаем мы далее, — говорить о современности анархической революции не приходится». Даже более того: «в такое время совершенно недопустимой со стороны анархистов тактикой является пропаганда распыляющего силы рабочего класса федерализма, критика Красной армии, как агрессивно-милитаристической силы и защита от преследований со стороны рабочего государства псевдо-социалистической русской конрреволюции, ориентирующейся на восстановлении капиталистического строя. Особенно же ошибочным является консервирование пережитков индивидуализма, приведших к отрицанию целесообразности диктатуры пролетариата в

переходный исторический момент, как будто этому реальному боевому лозунгу можно противопоставить что либо другое».

Да, трудное положение! Придется всем анархистам отказаться от анархизма, если только невозможно завтра же осуществить свои идеалы. Придется, значит, перейти к большевикам и быть шутами Его Величества... Сначала нам будет неудобно в шутовских нарядах, а затем все мы привыкнем к своему положению и будем устраивать такие увеселения, что даже и буржуазия преклонится перед нами. Достаточное количество балаганов нам предоставят великодушно большевики.

Отчего же не сделать этого еще и потому, что, ведь, и «октябрьская революция следует лучшим традициям I Интернационала, и что руководящая ею коммунистическая партия давно уже размежевалась с социал-демократией»? Эта партия, ведь, тоже... анархическая. «Базируясь на теории революционного марксизма, она в то же время впитала в себя всё то, что не являтся пережиточным в теории безгосударственного социализма. Коммунистическая партия четко определила свое отрицательное отношение к государству». (Здесь речь идет, очевидно, о государстве *правовом,* которое безусловно неприемлемо для большевиков).

Вот почему они твердо «уверены в том, что... нет другого пути, кроме тесного объединения вокруг Коминтерна и Профинтерна». А мы слона и не приметили! Мы не знали того, что наступил уже «тот момент, когда пересмотр программы и тактики и переоценки различных ценностей становится настолько насущной потребностью, что только малодушие или сектантская узость могут воспрепятствовать некоторым товарищам анархистам сделать это».

Разве мы не должны выразить этим актерам нашу сердечную благодарность за это «великое» открытие?

«Нельзя, — поучают они нас, — мечтать о недостижимом». Впрочем, об этом говорил даже и Козьма Прутков: «не пытайся объять необъятное». Разве подобная мудрость

может умереть когда нибудь в нашем сознании? Напрасно также «анархическая мысль стремится к синтезу взаимоисключающих идей», как, например, учений Годвина, Толстого, Штирнера, Бакунина и Кропоткина. Зачем всё это подвергать какому-то анализу или синтезу, когда можно поклониться единому Марксу? Это, ведь, значительно проще и легче.

И вот они кланяются: кланяются непогрешимому Марксу, кланяются своей владычице Коммунистической партии, кланяются Коминтерну и Профинтерну, имея достаточно наглости призывать к этому и других анархистов. Это уже не что иное, как самая отвратительная бессмертная пошлость.

К Ваське лучше подходит шапка, когда он, этот Васька, с единой коллективной и профессиональной волей, обращается к своим братьям анархо-синдикалистам, убеждая их «понять неизбежность диктатуры пролетариата». «Признание ими этого факта, — говорят они синдикалистам, — ознаменовало бы собой наступление поворотного момента в анархо-синдикалистском движении и стерло бы постепенно грань между коммунизмом и анархо-синдикализмом». Вот что значит говорить близкому человеку: здесь и слова их звучат как то нежнее и интимнее.

Давно, давно пора, — можем сказать и мы, — разве вы не близкие братья по духу? Добрый путь вам, несчастные актеры! В рядах анархистов вам нечего делать! Давно пора вам получить членские билеты Р. К. П. и служить «верой и правдой», как и подобает истинному патриоту, своему большевистскому отечеству, хотя вы и «не считали, однако, до последнего времени целесообразным слиться с ними (коммунистами) в единой партии». Значит, напрасно люди клеветали на вас, напрасно они говорили, что вы ходили с челобитной к большевикам и просили их, чтобы они вас приняли к себе, а они вас прогнали! Но пусть эта клевета не угнетает вас! Если бы даже всё это и случилось так, то всё же большевики не оставят своих верно-

подданных безутешными: они назначат вас хотя бы прокурорами по политическим делам, а в частности, и по делам анархистов. И вы, конечно, не откажетесь от этого, ибо вы «до конца последовательны». В крайнем случае, вы будете незаменимыми помощниками большевикам в ловле всевозможных контр-революционеров и социалистов.

Вот до какой пошлости могут дойти иногда люди!

Но кто знает, быть может прав был и Софокл, говоривший когда то, что рано или поздно, но все же отомстят Эвмениды тому, кто не только своими злодеяниями, но даже и своими мыслями мог наложить позорное клеймо на величие человека. Так и за всякие пошлые мысли

«Постигнет безумца великая скорбь
И мудрости поздней научит».

1923

КРОПОТКИН И АНАРХИЗМ

Греческий философ Гераклит говорил когда-то, что «всякая гармония есть результат вечных противоречий». Нельзя сказать, что Бытие существует или не существует. Оно находится в бесконечном потоке вечного становления, вечного созидания.

Точно так же и жизнь общественная, как и жизнь каждого человека полна «трагических антитез», ибо в этой жизни встречаются утро и полдень, и ночь. Эти исторические утра характеризуют собой различные эпохи Возрождения, когда всякая творческая личность (а также и общество), создает в своем безудержном порыве новые ценности, пишет на скрижалях истории в своей творческой опьяняющей радости новые заповеди. Это происходит тогда, когда каждый человек чувствует себя свободным гражданином земли, когда его творческие порывы не встречают на своем пути различных преград и препятствий.

Но встречаются также в этой многообразной жизни и «исторические сумерки», когда вся жизнь человеческая напоминает собой какой то невидимый хаос, в котором трепещет и содрагается всякая мысль, вечно ищущая свободы, света и радости; когда всякое усилие, направленное к достижению каких либо прекрасных и возвышенных целей, остается бесплодным. В эти исторические моменты господствуют всюду бессилие, скорбь и отчаяние. И только немногие личности являются в эти моменты ярко светящимися маяками, к которым стремится каждый человек, которого житейские волны бросили в холодную бездну исторического

тумана. Только эти немногие личности освещают своим божественным светом эту угрюмую и молчаливую жизнь и ведут слишком жестокую и непримиримую борьбу с окружающей тьмой, насилием и заблуждением.

Но уходят и эти немногие, и вся жизнь после этого является еще более мучительной и ужасной. «Любимцы богов умирают рано», — сказал когда-то Ницше.

К числу этих великих людей принадлежал и П. А. Кропоткин, всю жизнь свою посвятивший служению человечеству, великому идеалу добра и красоты. Вся его жизнь, наполненная глубоким внутренним содержанием, являлась какой то «героической симфонией» великой и благородной борьбы с торжествующим злом, на котором основаны все проявления нашей общественной жизни. Его же личная жизнь могла служить самым ярким примером для всякого идеалиста, для всякого апостола Правды и Добра.

Поэтому, быть может, и склонил когда-то перед ним свою гордую голову один из величайших поэтов нашего времени Оскар Уайльд. В своих тюремных записках (De profundis) он называет его «вторым Христом, идущим из России» и говорит также, что жизни более совершенной, чем жизнь Кропоткина, он не встречал никогда.

Точно также он завоевал себе самое видное место среди всех мыслителей и ученых нашего времени, ибо, обладая громадной эрудицией почти во всех отраслях знания, он устранил в этих отраслях знания различные глубокие аномалии и создал новую глубоко-научную социологическую систему — систему научного анархизма. Кропоткин был для нашего времени тем, кем был в свое время для классической философии Иммануил Кант.

Всякая общественная мысль, как и мысль каждого человека, имеет свою историю, переживает свою эволюцию. Элементы анархической мысли мы встречаем еще в религиозных учениях древнего востока (Будда, Чарвака, Конфуций, Лао-Дзы), в учении циников, киренаиков и стоиков (Антисфен, Диоген, Аристипп, Зенон, Эпиктет), в учении

Эпикура, в раннем Христианстве, в некоторых философских системах эпохи Возрождения, в различных религиозных средневековых движениях, в учении Гельвеция в английском утилитаризме и в утопическом социализме новейшего времени.

Если же анархический идеал не был идеалом господствующим, то это объясняется исключительно тем, что этот анархизм был слишком беспочвенным, был романтическим. Он был либо религиозным, либо схоластически-метафизическим, либо строго рационалистическим. (В последнем был грешен даже Бакунин).

Вот почему анархическая мысль — этот величайший критерий для «переоценки ценностей» — не могла завоевать себе права гражданства и пальму первенства среди всех социальных наук. Если даже величайшая истина не имеет под собою научной почвы, но базируется лишь только на абстрактных, спекулятивных началах, то эта непреложная (кажущаяся) истина может обсуждаться с различных точек зрения, результатом чего и является противоположность выводов и заключений. Это было с учением Гегеля, это было с естественным правом, из которого вытекает, по мнению одних, всеобщая и индивидуальная свобода, а по мнению других — bellum omnium contra omnes (война всех против всех). Вот почему Гоббс и пришел к заключению о необходимости железной монархии, которая только и в состоянии обеспечить каждому индивидууму его естественную свободу, вытекающую из естественного права.

Среди всех анархистов продолжала господствовать вера в человеческий Разум, Добро и Справедливость, как на присущие каждому человеку душевные качества, благодаря которым и вытекает вневременная и внепространственная возможность переустройства общества на новых началах — началах «всеобщего блага». И эта вера продолжала господствовать и тогда, когда рушились уже основы всякого философского рационализма и социального оптимизма, когда всякая «метафизика права» уступала место научно-позитивному мышлению и эмпирическим системам.

Вот почему и можно сказать об анархизме прошлого словами д'Аннунцио: «Ты ветвь прекрасная, без цвета и плодов».

Величайшая и неоценимая заслуга П. А. Кропоткина заключается в том, что он создал систему научного анархизма, отвечающего не только на вопросы жизни социальной, но охватывающего собою все проявления человеческого духа и человеческого познания и творчества. Своим глубоко-критическим умом он произвел слишком суровую, но вполне справедливую переоценку схоластико-анархической мысли, открыв анархические начала в законах биологии, антропологии, истории и зоологии.

Его учение о взаимной помощи среди людей и животных настолько научно и убедительно, что с ним не могли не согласиться очень многие даже реакционные ученые — бесчисленные ученики и последователи Дарвина, сумевшего слишком подробно осветить худшую сторону жизни — борьбу за существование.

Кропоткин осветил ту сторону жизни, которая стремится к Гармонии, интегральной свободе, к Новому Возрождению человеческой жизни и общечеловеческой культуры. Анархизм, таким образом, после этой переоценки, не является только философией, но является наукой, широкой и всеобъемлющей. Тот же, кто говорит в наше время о несостоятельности и ненаучности анархизма, не читал, очевидно, ничего, кроме Талмуда, Корана или Евангелия.

И скептикам, и противникам анархизма Кропоткин доказал также, что анархизм стремится не к упрощению жизни, к чему стремились когда-то Ж. Ж. Руссо и Толстой, но стремится к более разумной и более высокой культуре. Анархизм имеет кое-что общее с учением Толстого и не имеет ничего общего с учением Руссо. Анархизм не декаданс, но вечный прогресс.

Если же Кропоткин и Толстой были проникнуты глубоким уважением друг к другу, то это еще не значит, что в учении великих людей нет никаких противоречий. Так, на-

пример, такие великие люди, как Байрон и Шелли, в своих социально-философских убеждениях не имели ничего общего, но дружбы более трогательной и прекрасной не встретим мы, кажется, никогда.

Кропоткин был слишком ученым, слишком оригинальным, слишком самостоятельным. И никто не служил так долго человечеству, не сделал для него столько добра, чем этот Великий Разум — творец новейшего научного анархизма, этот никем не превзойденный человек.

АНАРХИЗМ И СКЕПТИЦИЗМ

В одном из анархических журналов («Анархический Вестник», № 3-4) появилась статья Волина («О синтезе»), которую нельзя, по нашему мнению, обойти молчанием. Если бы эта статья была написана кем-либо из наших идейных противников и напечатана была бы в каком-либо «толстом» журнале, об этой статье можно было бы и не разговаривать. Поскольку же эта статья написана человеком серьезным, известным в анархических кругах, поскольку в этой статье подвергаются своеобразной критике не только анархические принципы и идеалы, но и важнейшие вопросы философии (этики и гносеологии), постольку мы и считаем необходимым подвергнуть некоторому анализу основные положения этой статьи.

Прежде всего следует указать на то, что для автора этой статьи не существует тех понятий, которые мы называем *вечными*. Всё временно, — думает он, — всё преходяще. Эту мысль блестяще развивали некогда древние греки. Преходящи были, по их мнению, даже боги Олимпа, о чём так ярко свидетельствует греческая мифология. Но всё же и у греков, так не любивших ничего вечного и постоянного, встречаются некоторые понятия, которые слишком нелепо было бы называть временными, случайными и преходящими. Одним из этих величайших начал и понятий являлось в греческом сознании понятие вселенной и всемогущей Судьбы. На той же точке зрения стоял и Гераклит Эфесский, мысли которого (не упоминая об этом) так вдохновенно излагает наш уважаемый автор. Ему враждебны, очевидно, великая мудрость Египта, враждебны все вели-

чественные пирамиды, от которых веет каким то дыханием Вечности, враждебен также образ Сфинкса, взоры которого устремлены к Небу, враждебна также вся Египетская культура, в которую воплотил, как иногда нам кажется, какой-то «теологический демон» всю бесконечность нашего Бытия. Не менее близок ему, повидимому, и философский гений Древней Греции, зовущий нас к какому-то великому Преображению, к новой вселенской культуре. Ему враждебно всё постоянное и бесконечное. Нет, с его точки зрения, даже и таких понятий, как вечные понятия Истины и Справедливости. Нет точно также ничего достоверного в нашем познании. Всё изменчиво и относительно.

«Мы на каждом шагу забываем, — пишет автор, — о постоянном моменте *движения и изменения;* забываем о том, что статической истины нет, что «panta rei» (всё течет), что жизнь и истина — динамичны. Обычно, мы совершенно не принимаем в учет этого огромного фактора — *Непрерывной динамичности жизни и истины.* Между тем, подобно тому, как ошибкой было бы принимать данную форму движения амебы за ее постоянную форму, так и с существом истины: то, что только сейчас было, или могло быть истиной, — через минуту уже не есть истина». Происходит, таким образом, «вечное, непрерывное *движение, изменение, преображение.* Следовательно, устойчивой, постоянной, определенной истины нет; вернее, если и существует общая, целостная истина, то основным ее свойством является постоянное ее движение и видоизменение, постоянное перемещение всех составляющих ее элементов».

То же самое говорил некогда и Гераклит Эфесский. «Нет ничего постоянного. Каждая вещь существует и вместе с тем не существует. Всё протекает, — говорил он печально, — всё идет и ничего не останавливается». Для пояснения своих оригинальных мыслей, он приводит нам следующий пример: «нельзя, — говорит он, — погрузиться два раза в одну и ту же реку; во второй раз вода будет уже другая: она расходится и вновь собирается, ищет и поки-

дает нас, приближается и удаляется». Мы и сами непостоянны, как эта речная вода: «мы существуем и не существуем».

Нельзя, поэтому говорить о жизни, как о некоторой неподвижной сущности. Нельзя точно также говорить нам о каком-либо понятии, о том или ином проявлении жизни, как о чём то самостоятельном, самодовлеющем и постоянном. Через мгновение всё изменяется, всё принимает новые формы, становится чем то другим. Основным принципом вселенной является таким образом вечное *становление и изменение*. «Бытие есть лишь единство вечного движения». Итак, философия Гераклита сводится к двум положениям: *к вечному непостоянству и к постоянству этого непостоянства.*

Каким же образом рождается в этом космическом потоке великая мировая гармония, эта по выражению Лейбница, «harmonica praestabilita»? Каким образом преодолела эта гармония стихийный изначальный хаос? — Соединение противоречий, — по мнению Гераклита, — создает гармонию. В потоке вечного становления жизни происходит борьба противоположных сил: сил разрушающих и созидающих. Заметим, кстати, что эти же мысли, еще до Героклита, были блестяще выражены в религиозно-философском сознании индусов. По космогонии индусов, Брама (высшее Божество) является творцом всего сущего. Всё это сущее не знает смерти и разрушения. Но рядом с ним возник и разрушитель Шива. «Шива иссушает листья, благодаря ему стареет юность, реки поглощаются в морях, проходят годы. Если бы этого бога Смерти предоставить самому себе, то мир сейчас исчез бы; но другая сила спасает мир, бог спаситель Вишну». Таким образом, Брама, Шива и Вишну, представляющие собою созидание, разрушение и возрождение, и образуют гармонию мира. Точно также и у Гераклита эта гармония вытекает из противоречий, враждебных друг другу начал: начал созидания и разрушения.

Само собою разумеется, что для этой гармонии недостаточно слепой игры стихийных сил. В подобном случае это была бы не гармония, а какой-то бесконечный хаос, являющийся Бытием и вместе с тем Небытием. Но для Гераклита, так же, как и для индусов, есть некая Высшая Сила, которая и претворяет этот космический мир в какую-то великую гармонию и симметрию, в какую-то божественную музыку. Высшая Сила для Гераклита — это «божественный огонь, огонь разумный и живой; этот огонь и управляет, — по его мнению, — всеми вещами». Для него существует, следовательно, некая Высшая Сущность, некая непреходящая мировая субстанция, лежащая за пределами всякой космической эволюции. «Всё преходяще», — говорил Гераклит, но Платон отвечал ему: «да, всё преходяще; не преходяще только мое мыслящее Я» и, можем добавить мы, не преходяща также эта субстанция, этот божественный огонь, этот космический Логос.

Теперь перед нами возникает вопрос чисто гносеологического характера, как возникает он и перед нашим автором. Достоверны ли наши суждения о мире, достоверны ли наши познания? На все эти «проклятые вопросы» он отвечает отрицательно, не подозревая, повидимому, того, что этим отрицанием автор приводит все свои мысли и утверждения просто к логическому абсурду. Спрашивается: какое же суждение мы можем иметь о мировом процессе, об этой великой «небесной механике», если наше познание мы не считаем достоверным?

Если бы автор повторял мысли Гераклита и в области познавательной, тогда его теория познания не представляла бы собой того агностицизма, который преподносит нам автор в качестве какого-то... знания. Преподносит *незнание* в качестве какой-то *познавательной* системы. Можно, конечно, не соглашаться с Гераклитом в его суждении о познании, но всё же следует сознаться, что его гносеологическая точка зрения вполне соответствует всей его философской системе и не приводит нас к подобному абсурду. Всё преходяще, —

по его мнению, — всё относительно. Не относительно только мое познание в этой относительности, ибо оно является предвечной эманацией той мировой субстанции, субстанции разумной и божественной, которая и является по Гераклиту, мировою Душою, мировым Разумом. Ему *имманентно,* таким образом, познание *космическое,* которое нельзя также, и по мнению Платона, считать недостоверным и относительным. *Это* познание — абсолютно. Поэтому, быть может, гносеологическая проблема и занимает в учении Гераклита самое последнее место.

Подобную точку зрения не мог, повидимому, защищать автор в силу своих материалистических верований и убеждений. Нет, очевидно, для него никаких трансцендентных познавательных начал в нашей душевной деятельности, но всякое познание является, повидимому, какой-то «особой функцией нашей материальной сущности», подверженной всевозможным эволюционным и инволюционным процессам. Может ли, таким образом, человеческое познание, созданное материей, быть достоверным и абсолютным, когда причина, порождающая это познание, так бесконечно изменчива и относительна?

К этой точке зрения пришел и наш уважаемый автор. Несмотря на то, что, развивая учение Гераклита, он утверждал некоторое «подлинное бытие вещей», тем не менее, он говорит нам далее, что «мы не знаем подлинной жизни, мы не знаем истины», ибо «средства нашего познания слишком несовершенны». «В качестве примера из области познания, — говорит он также, — достаточно указать на постоянное крушение одних теорий и замену их новыми», ссылаясь, в частности, и на «теорию относительности» Эйнштейна. «Единственное, что я знаю *непосредственно,* — повторяет он мысли Декарта, — это — что я существую («cogito, ergo sum»), и что вне меня существует какая-то реальность». Но и в этом отношении автор, к своему трагизму, не идет дальше вслед за Декартом (и всей картезианской школой), но возвращается со своими сомнениями, со

своим ограниченным, недостоверным познанием к древним софистам и скептикам, для которых подобные же сомнения были *целью* познания. Для Декарта же всякое незнание было *средством и методом знания.* Возвратимся же и мы, вместе с автором, к этой классической философии незнания и неведения; не станем ли и мы тогда, как это делает автор статьи, преподносить людям наше незнание, наши сомнения *утверждая их в качестве истинного знания?*

В качестве реакции против механических и динамических теорий ионийских философов, а в частности и против выдающегося учения пифагорейцев, была элеатская школа. Так, например, одним из выдающихся представителей этой школы, Зеноном (из Элен), проповедывалась (в противоположность гераклитовской динамичности) абсолютная статичность Бытия. «Движение относительно, — говорит Зенон, — и существует лишь в воображении». Не существует для него также и гераклитовских изменений. «Изменяться, — говорит он, — значит, не быть ни тем, чем был, ни тем, чем будешь». Быть в состоянии вечного изменения, это значит быть *чем-то* и вместе с тем *ничем.* Недопустимо, с его точки зрения, всякое движение, как некоторая действительность. Всякое движение есть только кажущееся явление. Для подтверждения своих мыслей Зенон приводит нам следующие аргументы:

«Летящая стрела неподвижна. В месте, где она в данный момент находится, она не движется, ибо теперь в нём пребывает; она не движется и в другом месте, ибо в нём ее еще нет. Где же она движется? Нигде. Она неподвижна во всякой точке в данный момент времени, и кажущееся движение ее на самом деле есть ряд состояний покоя».

Бытие, таким образом, по Гераклиту, является «огненным океаном», находящимся в вечном движении, элеатам же (главным образом Зенону) оно представляется каким-то ледяным океаном, навеки застывшим.

Что же касается софистов и скептиков, то эти школы ушли еще дальше в своих сомнениях и отрицаниях. Но эти

сомнения и отрицания относились больше всего к сфере этических и онтологических проблем. Когда различные философские школы Греции пришли к противоречивым выводам и происходившая между ними борьба (особенно в Афинах) уничтожила понятие *абсолютной* истины, софисты (Протагор, Горгий) заключили отсюда, что «всё *верно* для того, кто умеет доказывать, или же, что *нет ничего верного*». Добро и зло перестают ими различаться, подобно истине и лжи. Абсолютное изгоняется из всякой политики и морали. Пользуясь выводами ионийского сенсуализма, Протагор, в своей книге об «Истине» развивает свое учение следующим образом: «Человек есть мерило всего существующего по способу его существования; он же есть мерило и всего несуществующего по способу его несуществования».

Пиррон, ученик мегарской школы, заимствовал у нее способ рассматривать всё «с двух противоположных точек зрения» и, в конце концов, стал сомневаться во всём. Он ничего не утверждает. Основное положение его суть следующее: «одно настолько же верно, насколько и другое». Теоретическая мудрость, по мнению Пиррона, состоит «в воздержании от суждений». Добро и зло, богатство и бедность, здоровье и болезнь, юность и старость — понятия суть равнозначущие. Необходимо только достигнуть для этого той величайшей мудрости, которою является «невозмутимое состояние духа и полная атараксия».

Новая академия представляет собою еще большую реакцию скептицизма против всех положительных учений, а в частности и против эпикуреизма и стоицизма. Глава этой школы, Аркиселай, не довольствовался тем, что говорил, как Сократ: «Я знаю, что ничего не знаю», но прибавлял к этому следующее: «даже этого я не знаю наверное». «Ни чувства, ни разум не могут, по его мнению, познать абсолютно реального». В теории необходимо поэтому воздержаться от суждений, а на практике нужно довольствоваться *вероятным*. Кариссад проповедует подобное же учение, стараясь доказывать и pro и contra. Вполне понятно, следовательно,

почему он произносит в один день (в Риме) речь в защиту справедливости, а на другой день говорит в защиту несправедливости.

Мы видим, таким образом, что для софистов, скептиков, пробабилистов (Аркиселай) нет ничего абсолютного, нет ничего верного. Он сомневается в своем познании. Не сомневается он только в своих сомнениях. Обманчив для него сенсуализм, не убедителен и рационализм, чем то подозрительным кажется критицизм и неприемлемым, конечно, феноменализм, как некоторая «метафизика»; об интуиции Бергсона, о «религиозном опыте» Джемса уже и говорить, конечно, не приходится. Являясь в этом отношении скептиком и софистом, он утверждает то, что отрицает и отрицает то, что утверждает. В одном месте он говорит нам, что вне его «существует какая-то реальность», в другом же месте он называет эту *реальность* своим *представлением*. «Мир может быть для нас только нашим о нем представлением». Здесь отрицается уже и гносеологический скептицизм, который до сих пор был более близок автору, и утверждается уже особый род солипсизма или... спиритуализма. «Реальность, — говорят нам солипсисты, — составляю я с присущими мне свойствами сознания». «Существуют, — мог бы сказать нам спиритуалист Беркли, — только души, а весь видимый мир является их представлением».

Мы видим, таким образом, что этот автор вошел в какой-то заколдованный круг, в какой-то лабиринт понятий, из которого, надо думать, никогда не выведет его его-же собственная философия.

В нашу задачу не входит в данном случае даже самый поверхностный анализ гносеологических учений. Нельзя писать об этом в рамках газетной статьи. Сейчас же мы постараемся сделать только некоторые выводы из этого скептицизма и агностицизма.

После того, когда мы рассмотрим основные космологические (гераклитовские) и гносеологические (скептиков и софистов) предпосылки миросозерцания автора, нам кажет-

ся сейчас даже совсем неуместным следующий вопрос: «Что есть истина?» Этот вопрос и делает нашего автора несколько «оригинальным». Мы знаем, что для софистов и скептиков всякая истина есть мертвое понятие, всякая истина есть ничто. Что же является истиной для нашего автора?

«Истина, — говорит он нам, — есть, в сущности, великое существующее Всё: то, что *в действительности есть*. Познать истину, значит познать *то, что есть*». Жизнь и истина — это синонимы. «Как и жизнь, истина неделима. Истина (как и жизнь) это — великое *Всё*. Познать те или иные части истины еще не значит познать истину. Познать истину — значит, в сущности, познать всю вселенную — всё бытие, всю жизнь, все ее пути, силы, законы и устремления... Но познать то, что есть, — говорит он также, — познать подлинную правду вещей («вещь в себе») — представляется ныне, по многим соображениям (!), невозможным, и едва ли когда-либо станет возможно».

Итак, мы знаем, что есть истина. Истина — это великое Всё. Этот ответ, конечно, нам ничего не говорит и ничего не доказывает. Так отвечают (всё, ничего) только дети. Ответить так — это значит ничего не ответить. Если Всё является правдой и истиной, значит, необходимо тогда и оправдывать *всё то, что есть*. Необходимо в этом случае стать целиком на точку зрения Гегеля и оправдать *всё существующее* в нашем суетном мире. «Всё существующее разумно, — по Гегелю, — и всё разумное существует». Поскольку истина не является для автора некоторой суммой этических норм и эмоций, а является чем то реальным, является Всем, постольку он и должен оправдывать всё существующее *зло* и всю *несправедливость*. Необходимо в этом случае *оправдывать* все ужасы и злодеяния, творящиеся на земле и называть их Истиной. Неужели автор не знает того, что *не сами по себе вещи являются Истиной, а только их существование является истинным,* т. е. реальным. Всё существует, таким образом, но не всё является Истиной. Всё существует, но не *всё* разумно. Впрочем, возможно ли говорить даже об Истине, если она является этим

великим Всем, а то великое Всё есть ни то, ни другое, а только бесконечный поток *становления,* какого то временного бывания? Об этом вспомнил, кажется, и автор и начинает отказываться уже от всякой возможности знания истины.

Здесь он становится уже на точку зрения крайнего фатализма, преклоняясь перед «великолепной, но односторонней» теорией «исторического материализма», и говорит нам следующее. «Мы не знаем этой подлинной жизни, мы не знаем истины»... Мы не знаем подлинной истины, объективной правды вещей. Мы не только до сих пор не раскрыли истину, но даже не знаем, откроем ли ее когда нибудь». «Жизнь — в ее целом — для нас загадка, великая тайна». «Объять вселенную, — говорит автор печально, — познать жизнь и постичь ее смысл представляется в настощее время (!) невозможным и, пожалуй, никогда возможным не станет». Очень смешно становится, конечно, в то время когда человек, достаточно серьезный (homo sapiens) пишет серьезную статью, строит некоторую «систему» и говорит нам, что «в настоящее время» «по многим соображениям» невозможно узнать ни того, ни другого. Нельзя в таком случае, — сказали бы мы, — браться за перо и играть так легкомысленно всевозможными словами и понятиями, расставляя их в определенном грамматическом порядке.

Вместо *знания* истины, вместо *незнания* этой истины, автор преподносит нам, в конце концов, *кое-какие* знания о ней. Он говорит нам далее, что не самую истину, но нечто *похожее на истину* мы знаем. «*Мы знаем кое что*» об истине. «Мы ищем истину». Вот это искание и есть нечто похожее на истину. Мы ищем эту истину «веками, тысячелетиями. Ищем упорно, напряженно, мучительно». Какую же частицу истины нашел в своих исканиях наш автор? — Частицей этой истины является — по его мнению, — «некий великий синтез» жизни. Он знает точно также, что этот синтез есть синтез «*вечно движущийся, вечно меняющийся*». «*Сам синтез не неподвижен*»; не неподвижны, следовательно, и эти частицы истины. Всякая истина (даже частицы ее)

является поэтому чем то неуловимым. Мы приближаемся к ней, она же удаляется от нас: она становится чем то другим. И так до бесконечности. Поток жизни уносит от нас эту истину и наша погоня за ней, наше искание ее, оказывается чем-то бесплодным и бессмысленным. Для того, чтобы познать, постигнуть эту истину, необходимо было бы, с этой точки зрения, остановить хотя бы на мгновение весь мировой поток, как думал, по преданию, Иисус Навин остановить некогда солнце. Следовательно, не искать нужно истину, а создавать ее. «Если бы ты исходил даже все пути, — писали мы в другом месте, — какие только могут быть перед тобой, всё же ты не найдешь того, чего ищешь, ибо Истина и Справедливость живут в самом тебе, в глубине твоего духа». («Мгновения вечности». Диалоги).

Говоря о синтезе жизни, автор не говорит нам, однако, какой здесь происходит синтез, и что является для него тезисом и антитезисом. Вполне логично построена в этом отношении система Гегеля, одну частицу которой и хочется развить автору. Он забывает, очевидно, что жизнь есть не только «некий» синтез, но и некий великий анализ. Если слово «синтез» он понимает в смысле нового творчества и созидания (во вселенной), в смысле какого-то качественного улучшения материи, то эта точка зрения является в данном случае каким-то недоразумением. Наряду с законом *сохранения энергии* существует, ведь, в естествознании и закон *энтропии,* или обесценения энергии. «Количество ее остается прежним, но ценность ее для нас исчезает. Это происходит потому, что всякая энергия склонна переходить в тепловую (химическая — электрическая — кинетическая — тепловая), а теплота может распределяться только в одном направлении: от более теплого тела к более холодному, но не обратно». Когда вся мировая энергия перейдет данным образом в теплоту, а последняя повсюду равномерно распределится, то в мире прекратится всякое доступное восприятию движение, всякая физически выражающаяся жизнь. «Материя, согласно принципу энтропии, стремится к вечному успокоению».

Можно ли после этого отыскивать истину в мире физическом, как это делает автор статьи? И неужели он способен думать, что истина есть нечто реальное, нечто физическое, какой-нибудь «кусок жизни», или же целая жизнь, именуемая Всем?

Мы видели, что в мире физическом нет и не может быть никакой истины, нет ни добра ни зла. Материя не знает нравственных норм и, как таковая, не может быть доброй и злой. Сама по себе, она не может быть разумной и неразумной. Все же эти понятия относятся, следовательно, к категориям духовного порядка, к миру трансцендентальному. Нельзя поэтому *искать истину,* как это делает автор статьи, а нужно *создавать* ее, как создали мы и другие этические и эстетические ценности. Если же мы будем *искать* ее, мы *никогда* ее не найдем. Ведь только в этом случае мы будем оправдывать и утверждать нашу *свободу воли,* которую, повидимому, автор отрицает. В мире физическом господствуют ведь всюду законы причинности и необходимости, железные законы детерминизма, не совместимые ни в коем случае с основными предпосылками *идеалистической* анархической мысли и философии. И мыслимо ли после этого великую *гетерогенную духовную* структуру человечества вложить в рамки какого то нелепого «синтеза»?

Что же касается области чисто социологической, то в качестве этого синтеза автор преподносит нам типичнейших эклектизм, о котором не стоит, по нашему мнению, и разговаривать.

Не похож ли после этого автор статьи на того человека, «который строит свой дом на песке». Если автор вошел в этот заколдованный круг только по своей философской необразованности, тогда, быть может, он и сумеет выбраться когда нибудь из этого проклятого места. Если же он думает сознательно внести некоторое «разложение» в анархическую мысль, проповедуя свой синтез и свое незнание (что мог бы сделать самый жестокий враг анархической философии творчества и утверждения), то этой цели

ему не достигнуть. Если же он проповедует свое «учение» в качестве чего то *искреннего* и серьезного, то как похож он на того человека, о котором говорит в том же журнале его сотоварищ, цитируя слова индусской писательницы Анаиды Кумарасвами:

«Тот, кто не знает, к какому пункту плыть, не знает и того, какой ветер ему попутен, какой нет».

Анархисты же знают, что «истинный абсолют — это, по выражению Фихте, понятие нравственное, и что истинно абсолютного следует искать не в том, что существует, а в том, что *должно* существовать».

1924

НОВОЕ В ЭТИКЕ

Вопросы этики (а также и гносеологии) являются в истории человеческой мысли теми вопросами, которые занимают всегда в этой области самое важное, самое центральное место. Они занимают это место не только по своей важности, но занимают его также и по своей сложности. Кто только не писал о нравственности? Писали, кажется, все, кто только мог писать. Писали философы и ученые; писали религиозные проповедники и государственные деятели; писали поэты и беллетристы; писали даже многие политические филистеры, дилетанты и болтуны. Этим вопросам посвящено таким образом много книг и статей, много поэм и романов. В последнее же время эта громадная этическая литература обогатилась еще одним оригинальным произведением. Этот новейший труд принадлежит перу великого человека и анархиста П. А. Кропоткина[1].

Книга Кропоткина занимает в этой громадной литературе какое то особое место. Очень жаль только, что Кропоткину не удалось довести до конца свою оригинальную работу: она была оборвана Смертью. Ему удалось написать только *краткий исторический обзор* (тоже несколько не законченный) нравственных учений. Самая же важная часть этой работы — *часть теоретическая* — так и осталась не написанной. Перед нами имеется таким образом не система, не философия этики, а имеется только некоторая история нравственной мысли.

Если бы эта работа являлась только простым и объективным изложением разных учений о нравственности, тог-

---

[1] *П. А. Кропоткин.* «Этика». Том I. Происхождение и развитие нравственности. Издание второе. Издание Издательской Комиссии при Рабочем Союзе «Самообразование». Нью Иорк. 1923. Стр. 254.

Петр Кропоткин

да она и не представляла бы для нас, пожалуй, никакой ценности. И без этой книги имелось бы в нашем распоряжении много подобных работ. Но книга Кропоткина не является в данном случае только простым изложением разных учений. В этой книге мы знакомимся и с точкой зрения автора, хотя и не совсем детально, благодаря чему, быть может, многие мысли и положения его и кажутся нам несколько странными, спорными и непонятными. И, может быть, только поэтому мы и не можем согласиться с ним в некоторых отношениях.

Свою этическую систему Кропоткин думал построить на началах естествознания, на началах позитивизма. «Мы стремимся установить нравственные начала, — говорит Кропоткин, — *как проявление эволюции, согласные с законами физическими, биологическими и социальными*». Задача Кропоткина сводится, следовательно, к созданию «этики реалистической». Следует, конечно, сознаться, что одно уже это стремление делает автора оригинальным и интересным. Опыт создания (если только это возможно логически) этой (реалистической) этики не принадлежит, конечно целиком Кропоткину. О нравственной *природе* человека говорили некогда стоики, говорили Сократ и Аристотель, говорили об этом также и представители естественной теории права; подобные же мысли блестяще развивал некогда и французский философ Ж. Ж. Руссо. Правда, эти учения нельзя назвать строго реалистическими; они являются в такой же степени учениями и рационалистическими. Они вытекают скорее всего не из изучения природы, а из изучения социальной жизни. Если бы мы захотели дать более точное определение этим учениям, то их следовало бы назвать в этом случае социально-нравственным оптимизмом.

Наряду с этим многие ученые нашего времени производили много исследований в области нравственного в природе. Но все эти опыты и исследования приводили их к чему то противоположному: эти исследования приводили ученых к тому, что они начали отрицать, в конце концов, всякие нравственные начала в природе. Многие из них, как, напри-

мер, дарвинисты, начали убеждаться в том, что природу следует понимать только как некоторое «громадное поле битвы, на котором видно одно истребление слабых сильными и наиболее ловкими, наиболее хитрыми». Всё существующее, с этой точки зрения, ведет какой то «гладиаторский образ жизни». На почве этого учения о жестокой борьбе за существование появился и *звероподобный* Сверхчеловек Фридриха Ницше, и то полуживотное классовое учение, которое проповедывал некогда Маркс. Нет ничего нравственного, с этой точки зрения, нет ничего священного. Всё человеку дозволено. *Право и справедливость на стороне того, у кого крепкие когти и острые зубы.* И только в лучшем случае некоторые из этих ученых становились на точку зрения софистов, для которых нравственность и безнравственность имели только относительное значение, и находились таким образом «по ту сторону добра и зла».

Нельзя было думать, следовательно, о существовании нравственности в природе; нельзя было думать также и о том, что ту или иную систему этики можно построить на началах естествознания. Поэтому, быть может, не только философы-идеалисты, но и многие ученые-материалисты начали говорить впоследствии о сверхприродном происхождении нравственности. Природа — безнравственна. Она является продуктом материальной космической эволюции. Всякая же материя является только материей. И было бы слишком наивно говорить о том, что этой материи свойственны какие то нравственные начала (чувства любви, сострадания, жалости, справедливости). Следовательно, нравственность имеет какое то другое происхождение. Но если бы этих нравственных начал не было даже и с этой точки зрения, отсюда не следует еще делать те выводы, что и человек должен быть безнравственным. Если бы природа учила человека только злому, если бы и в самом человеке не было никакого нравственного сознания, то и в этом случае нельзя было бы примириться с этими жестокими и бессмысленными законами природы, а необходимо было бы *создать* (даже выдумать) нравственные понятия, что мы и

находим до некоторой степени в праве, являющемся в сущности некоторым минимумом этических норм и взаимоотношений. Такова была точка зрения некоторых идеалистов.

Если Кропоткин говорит нам, что «начиная со времен древней Греции вплоть до настоящего времени, метафизическая философия находила высоко-талантливых последователей», то это не объясняется, очевидно, любовью их к идеализму, а объясняется, повидимому, большей убедительностью и состоятельностью нравственно-идеалистической философии. Если человек является сторонником того или иного учения, то он является таковым совсем не потому, что это учение является идеалистическим или материалистическим; он является его сторонником потому, что оно кажется ему более истинным и достоверным. Трудно, ведь, представить себе человека, который был бы идеалистом или материалистом только потому, что ему *нравится* идеализм или материализм. Нельзя *влюбиться* в науку, нельзя *влюбиться* также и в философию. Нельзя поэтому думать, как думают иногда об этом религиозные атеисты, что идеалистическая философия является служанкой теологии, и что философы идеалисты, как думают об этом некоторые анархисты, оказывали своим учением какую то сознательную услугу господствующей Церкви, Власти и Государству. Эта точка зрения не выдерживает никакой серьезной критики, так как то же самое можно сказать и о материалистах, а главным образом об органистах.

Кропоткин понял ошибки и недостатки позитивистов, он понял также и значение религиозного сознания человечества, на котором строятся иногда целые великие исторические эпохи. В таких великих народных движениях, как, например, движения Альбигойцев, Гуситов, Моравских братьев, Анабаптистов, мы находим глубокое духовное пробуждение человечества, стремившегося, как говорит и Кропоткин, «не только очистить христианство от той накипи, насевшей на него вследствие светской власти духовенства, но и изменить весь общественный строй в смысле равенства и коммунизма».

Само собою разумеется, что Кропоткин не находит *истинного* прогресса во всяком идеалистическом и религиозном движении человечества. Он отрицает всякое учение о прогрессе, основанное на началах идеализма и метафизики. Вполне понятно, таким образом, почему и учение о нравственности он старается перенесть из идеалистической плоскости в плоскость реальную и конкретную. Начала научные, а не метафизические, должны являться, следовательно, основами всякого нравственного учения. И эти нравственные начала существуют, по его мнению, только в Природе. «Природа, — говорит он, — может поэтому быть названа *первым учителем этики, нравственного начала для человека*». Что же является для него нравственностью? — Начала взаимопомощи, равенства и справедливости.

В этой реалистической этике нет ничего законченного, нет ничего должного (в противоположность Канту), нет ничего абсолютного. Она также изменчива и динамична, как изменчив и динамичен весь исторический процесс (физическо-социальный). «Тот самый факт, — говорит Кропоткин, — что каждая новая система могла внести (в этику) новый и важный элемент, уже доказывает, что наука о нравственных побуждениях далеко еще не сложилась. В сущности даже можно сказать, что этого никогда не будет, так как новые стремления и новые силы, созданные новыми условиями жизни, всегда придется принимать в соображение по мере дальнейшего развития человечества». Вот вследствие то этой относительности реалистической этики, ни одна позитивистическая система, быть может, и «не смогла удовлетворить даже образованную часть цивилизованных народов». Несмотря на то, что в конце XIX века мы видели великие открытия в области естествознания, с этого же момента мы наблюдаем, как говорит об этом и Кропоткин, какой то «определенный возврат к идеализму».

«Отсутствие поэтического вдохновения в позитивизме Литтрэ и Герберта Спенсера и их неспособность дать удовлетворительный ответ на великие вопросы современной жизни; узость некоторых взглядов, которою отличается

главный философ развития Спенсер; мало того, — тот факт, что позднейшие позитивисты отрицают гуманитарные теории французских энциклопедистов 18-го века, — всё это способствовало сильной реакции в пользу какого то нового, мистически религиозного идеализма». Нам думается, что этого объяснения еще не достаточно. Развитие этого идеализма кроется, очевидно, в чём то другом. Этот возврат к идеализму объясняется, вероятно, той относительностью реалистической этики, которая рассматривалась позитивистами не как некоторое духовное и абсолютное начало, а как некоторые нравственные *инстинкты,* на которых нельзя, по мнению идеалистов, строить никакую этическую систему. Этика, построенная позитивистами на началах инстинкта, не может считаться идеалистами даже наукой о нравственности, ибо в ее основу положены не начала разума или мышления, а некая *подсосзнательная* сущность, которую можно назвать и волей, и интуицией и инстинктом. Вполне понятно, следовательно, почему эта этика «нам не указывает строгой линии поведения». Это противоречило бы ее органической сущности.

Не следует забывать также и того, что утверждением этой этики отрицается ее же автономность и независимость; должна отрицаться, следовательно, и свобода воли. «Наши понятия людей о нравственности, — говорит Кропоткин, — вполне зависят от того, в какой форме сложилось их общежитие в данное время, в данной местности. Основано ли оно на полном подчинении центральной власти — духовной или светской — на самодержавии или на представительном правлении, на централизации или на договорах вольных городов и сельских общин, основана ли экономическая жизнь на власти капитала или на трудовом начале, — всё это отражается в нравственных понятиях людей и в учениях о нравственности данной эпохи». Даже больше того: «этика всякого общества, — говорит Кропоткин, — бывает отражением установившихся в нем форм общественной жизни». Вот в этом то положении и кроется, повидимому, величайший трагизм органическо-реалистической этики. С точки

зрения теории органической эволюции эта теория нравственности является, конечно, вполне естественной и логичной. С точки же зрения идеалистической философии (и социологии) подобное учение о развитии нравственности почти ничем не отличается от того дарвинизма-марксизма, против которого Кропоткин написал в своих других работах довольно много блестящих страниц. А ведь подобное учение о развитии нравственности и является в сущности тем *историческим материализмом,* против которого боролся так Кропоткин. Здесь уже не сознание определяет бытие, а бытие определяет сознание. Под этим утверждением подпишется с удовольствием каждый марксист.

Разбирая учение о нравственности известного дарвиниста Гексли, Кропоткин говорит нам, что Гексли не нашел в природе никаких нравственных начал. В действительности же мы видим, что нравственный процесс всё-таки существует. И этот нравственный процесс не является в нашей жизни чем то второстепенным и незначительным. Наоборот: он занимает в нашем существовании какое то первостепенное место. В нас проявляются чувства любви, сострадания, жалости и сочувствия, чувства равенства, справедливости и солидарности; в нас проявляются иногда чувства самопожертвования не только «ради сохранения вида», но и ради других, более возвышенных, нравственных целей. Даже больше того: не испытывая лично никаких страданий, мы знаем иногда, что многие люди страдают; знаем об этом даже тогда, когда это относится к страданиям духовным, а не физическим. И всякое *сознание* этих страданий отражается точно так же *в нашем* духовном сознании, заставляя нас таким образом переживать уже не свои страдания, а страдания ближних и дальних. «В сознании мук есть горечь мукам равная», — говорит где то Софокл в одной из своих бессмертных трагедий о царе Эдипе.

«Но где корни, — спрашивает Кропоткин, — где начало этического процесса? Он не мог родиться из наблюдения природы, так как, по утверждению Гексли, природа учит противоположному; и он не мог быть унаследован из

дочеловеческих времен, так как среди скопищ животных, раньше появления человека, не существовало этического процесса даже в зародыше. Его происхождение, стало быть, лежит *вне природы*». «Он имеет сверх-человеческое, мало того — сверх-природное происхождение». Таковы мысли Гексли.

Кропоткин не может в данном случае согласиться с Гексли. Правда, и он утверждает, что основы органической нравственности — общительность, равноправие и справедливость — являются еще не достаточно прочными. Признать всё это «основными началами нравственных суждений мешают до сих пор хищнические инстинкты, сохранившиеся у людей со времени первобытных ступеней их развития». Здесь и Кропоткин не отрицает того, что человек, как некоторая *материальная,* а не духовная, сущность ведет иногда борьбу за существование «свойственную тигру и обезьяне». Тем не менее, всё-таки существуют нравственные начала в природе. И все эти начала «вырабатываются таким образом по мере совершенствования животного», а следовательно, и человека. Здесь Кропоткин учитывает также и значение религиозных факторов, вносивших в человеческую этику новый элемент, «придававший ей некоторую стойкость, а впоследствии вносивший одухотворенность и некоторый идеализм».

Мы видим таким образом, что, при всём своем отрицательном отношении к религиозному сознанию, Кропоткин сам нам указывает на значение этих могучих религиозных факторов. Что же касается Буддизма и Христианства, то эти великие религиозные учения составили, как мы знаем, самые величайшие эпохи во всей мировой истории; с этим согласен также и Кропоткин. Не понятно нам только одно: чем объясняет он это великое нравственно-религиозное сознание человечества, так ярко проявившееся в этих учениях? На этот вопрос Кропоткин не дает нам, к сожалению, ответа. Во всяком случае, это великое пробуждение человечества нельзя считать, повидимому, простым продуктом органической эволюции. Кропоткин предвидел также, что

ему будет задан и следующий вопрос: «Возможно ли, чтобы из полуживотной общительности могли развиться (вернее, появиться) такие высоконравственные учения, как учения Сократа, Платона, Конфуция, Будды и Христа, без вмешательства сверх-природной силы?» И на этот вопрос Кропоткин не дает нам ответа.

Само собою разумеется, что ни в коем случае нельзя отождествлять истинное учение Христа с теми религиозными учениями, которые проповедывают ныне официальные христианские церкви. Это относится также и к Буддизму. В сущности же, можно с уверенностью даже сказать, что и в раннем Христианстве и в раннем Буддизме нет еще истинного учения этих великих Учителей. Эти полные, истинные учения, являющиеся учениями эзотерическими, известны, очевидно, только некоторым *тайным* сообществам. Мы знаем, например, что Христос имел не только явных учеников, но и учеников тайных, мы знаем также, что Христос имел тайные беседы и со своими явными учениками (Тайная Вечеря), но *содержание* этих бесед совсем не известно историческому христианству.

Нечего, конечно, говорить уже об апостоле Павле, который являлся в сущности не христианином, а антихристианином. По его стопам пошло и современное христианство, уродуя и извращая всевозможнейшими способами учение своего Учителя.

Можно, конечно, согласиться с Кропоткиным в том отношении, что инстинкты взаимопомощи и солидарности играют очень большую роль в развитии животных видов, а также и в социальном развитии человека. Нельзя только, с нашей точки зрения, строить этическую систему на наших *чувствах и инстинктах*. Наша природа — слишком разнообразна. Она нас учит не только добру, но учит также и злу. Ведь и Кропоткин соглашается с тем, что в природе господствует по преимуществу жестокая борьба за существование. И если в душе человека проявляются иногда добрые (нравственные) начала, то из его *инстинктов* вытекают также и начала злые, начала имморальные. И отсюда не следует так-

же делать те выводы, что эти злые начала необходимо оправдывать потому, что они являются продуктом нашей природы.

Мы же не можем оправдывать зло. Откуда бы оно ни исходило, в каких бы формах оно ни проявлялось, чем бы оно ни оправдывалось, — всякое зло является для нас злом. Его нельзя оправдывать также ни временем, ни пространством. Если бы, в конце концов, злые начала являлись единственными законами природы, то и в этом случае мы не могли бы примириться с ним. Нам необходимо было создавать, как мы упоминали уже об этом выше, даже искусственным образом некоторые нравственные понятия. Без этих понятий наше существование было бы каким то чудовищным, а может быть, и невозможным.

Наряду с этим, мы не должны забывать и того, что у некоторых людей нет никаких нравственных понятий даже в потенции. В качестве яркого примера в этом отношении являются разные Джеки-потрошители, профессиональные убийцы, палачи и русские большевики. Трагичнее всего то, что эти кровожадные животные, носящие образ и подобие человека, *и не хотят знать* никакой нравственности. Что же можно сказать о нравственной эволюции этих «людей»? Надо думать, что на этих животных не повлияет в нравственном отношении никакая органическая эволюция. Для подавления господства этих новейших ассисинов, а также и для прекращения их деятельности понадобилась бы уже не историческая эволюция, а какие то более активные и могущественные силы. Этой великой силой были некогда Рыцари Ордена Тамплиеров, прекратившие ужасную опустошительную деятельность средневековых ассисинов (не следует смешивать этот Орден с американскими Тамплиерами, которые едва ли имеют что-либо общее с этим великим историческим Орденом). Очень трудно, конечно, сказать, найдутся ли подобные силы теперь, когда они так необходимы...

Нельзя, следовательно, по нашему мнению, строить этическую систему на том первобытном хаосе, который таится

в душе человека. Всякое воспоминание об этом хаосе пробуждает в нашем сознании всё более и более хаотические начала. Прав был поэтому Тютчев, когда говорил:

«О, страшных песен сих не пой
Про *древний хаос*, про родимый.
Как жадно мир души больной
Внимает повести любимой.
Из смертной рвется он груди
И с *беспредельным* жаждет слиться.
О, бурь заснувших не буди,
Под ними *хаос* шевелится».

Этого хаоса мы и боимся. Боялись его также и все философы-идеалисты. Нам более близок поэтому нравственный идеализм. Нам ближе поэтому нравственность абсолютная, нежели относительная; нравственность непреходящая, нежели временная и относительная. Нам дороже так же, как и Платону, красота духовная, нежели красота физическая.

«Красота, находящаяся в одном каком-нибудь теле, — говорит Платон, — сродни той красоте, которая находится во всех других телах; поняв это, человек должен полюбить всякие прекрасные формы... и должен душевную красоту ценить гораздо выше, нежели красоту телесную, и таким путем он придет к созерцанию красоты, которая состоит в исполнении своих обязанностей и тогда он уразумеет, что прекрасное везде тождественно, и тогда красота формы не будет для него чем то значительным». Достигнув такой степени понимания красоты, человек «увидит нечто удивительно-прекрасное по своей природе» — красоту вечную, не сотворенную и не погибающую красоту, которая не увеличивается, но и не оскудевает, красоту неизменную во всех частях, во все времена, во всех отношениях, во всех местах и для всех людей». То же самое можно сказать и о нравственности вообще, ибо эта духовная красота является только одним элементом нравственности. Такова же была точка зрения и гениального немецкого философа Фихте, на учении которого Кропоткин, к сожалению, почти не оста-

навливается, боясь, отчасти, вследствие «варварской терминологии немецких философов», передать в точности это учение.

Подводя краткий разбор этой книги к концу, перед нами появляется еще несколько важных вопросов. Если под нравственностью Кропоткин понимает только некоторые *социальные* взаимоотношения между людьми — начала равенства и справедливости — то не может ли ответить нам на это какой либо философ права, что и задачи *права* сводятся в сущности к этому? Второй вопрос следующий: если мы станем даже и на точку зрения Кропоткина, то не являются ли, в конце концов, и сами по себе нравственные *инстинкты* чем то духовным, а не физическим? И возможно ли, наконец, чтобы человек, этот царь жизни, мог научиться чему-либо у животных, стоящих, в сравнении с ним, на такой низкой ступени развития?

На все наши вопросы, сомнения и несогласия, Кропоткин, к сожалению, нам ничего уже не ответит. Если бы его работа была доведена до конца, тогда, быть может, мы и согласились бы с ним.

Тем не менее, книга его настолько интересная, что закрываем мы ее с каким то большим сожалением, зная, что продолжения его оригинальных мыслей мы не прочтем, очевидно, нигде.

1924

П. А. КРОПОТКИН В МОЛОДОСТИ

В «Записках Революционера» П. А. Кропоткин сказал о себе несравненно больше, чеме мог бы сказать о нем какой-нибудь биограф. Поэтому, с нашей точки зрения, нет никакого смысла повторять всё то, что читателям известно о жизни и деятельности Кропоткина из его же «Записок». В «Записках Революционера», этом одном из лучших произведений современной литературы, есть только один пробел: в них Кропоткин очень мало говорит о своей работе в Сибири, после окончания Пажеского корпуса. А между тем, во время пребывания в Сибири, в душе Кропоткина появились первые ростки тех революционных идей, которые он проповедывал в течение нескольких десятков лет в Западной Европе. (К сожалению, ему суждено было вернуться на родину только перед смертью).

Этот пробел заполнен до некоторой степени его «Дневником», изданным несколько лет тому назад Государственным Издательством (Москва-Петроград). В этом дневнике очень ярко отражается душевное настроение молодого Кропоткина: мечты, надежды и стремления как в области личной жизни, так и в области жизни общественной.

Дневник начат Кропоткиным в июне 1862 года, при отъезде из Петербурга, а закончен в ноябре 1867 года. В 1874 году дневник был отобран у Кропоткина при обыске и с тех пор хранился в архивах Охранного Отделения.

Чтобы не исказить, в своей передаче, ни мыслей, ни слов Кропоткина, мы приводим полностью важнейшие места из его дневника.

Дневник Кропоткина начинается следующими словами: «Наконец то, навсегда я выбрался из Петербурга. Пора,

давно пора». (24 июня 1862 года). По приезде в Москву, Кропоткин писал: «Да, я радовался, выезжая из Петербурга. Чего мне было там жалеть?.. В Петербурге мне было жаль оставлять только одно здание — Большой театр. Сколько дивных, приятных, грустных, веселых минут, я провел там!»... Эти строки свидетельствуют о том, что Кропоткину нечего было жалеть в Петербурге, кроме Большого театра. Ему, видимо, надоели и придворные балы и вся петербургская «знать». Поэтому из его души, по приезде в Москву, и вырвался вздох облегчения.

В Калуге (17 июля) Кропоткин говорит о «бедной русской женщине». «Бедная русская женщина!» — восклицает он. «Несчастная, и вся жизнь так». Там же он вспоминает Николаевское (родовое имение Кропоткиных в Калужской губернии) и какую-то девушку Лидию: «Я расстался с Николаевским... но хладнокровнее, чем когда либо. Лидия? Для меня это не более, как первая девушка, которая, кажется, питает некоторое сочувствие, — но не более». В записи от 1-го декабря он говорит о ней следующее: «Сейчас, роясь в портфеле, я напал на записку Н. В. Кошкаревой к Елизавете Марковне; рука удивительно похожа на руку Лидии, и я припомнил ее чудный веселый смех, улыбку, иногда очень милое наморщивание бровей... Милое создание! И я в ней, вовсе того не подозревая, разбудил впервые нетронутые, незнакомые чувства. Милая! Она за меня мучилась, думала обо мне, грустила, и за меня впервые поплатилась неприятностями, — в ней заметили перемену, и это вызвало шутки, первые недетские неприятности в жизни. Конечно, это не любовь, это не серьезно, это чувство переходное от детства к жизни, это приятно».

В записи от 28 декабря того же года, он говорит: «Вообще говоря, я создан не для женщин, женщины не для меня. Я могу понравиться женщине, заинтересовать ее, но только... Лидия... но она потому до сих пор любит меня, что меня нет, что видела она меня 3 недели, а через год еще две, и я уехал в такую даль, она ищет причин этому, милая. Потом это ее первая любовь. Не довольно быть не глу-

пым, не довольно быть подчас и энергичным, и горячо любить всё святое, — женщине этого мало. Нужно многое, многое, а главное все-таки физическая сторона должна быть хороша. А я?!»...

30 июля (1862) он видит на Волге женщин-мещанок, таскающих дрова (5 сажен в 28 носилок) и снова вспоминает о тяжелой судьбе русской женщины.

9-го августа, после выезда из Перми, Кропоткин рассуждает о «казни». Поводом к этим рассуждениям ему служат плохие дороги. «Это шоссе, пишет он, остается порядочным, пока оно в ведении обывателей, но лишь только переходит в казну, как становится невыносимым, — «все зубы выколотишь», как сказал ямщик». Здесь уже Кропоткин сомневается в способности «казны» (властей) сделать что-нибудь хорошее.

26-го августа он высмеивает томских и других провинциальных барышень, дочерей разных чиновников, за их увлечение французским языком.. «По-русски, пишет он, сколько раз я ни начинал говорить, не удавалось»...

В Красноярске, 30-го августа, Кропоткина приводит в негодование враждебное отношение его спутника Петрова к евреям: «...он страшно глуп и бесит меня своей дикостью: вчера оставил на станции человека, с которым ехал в перекладной, только потому, что он жид, не спал всю ночь, потому что: «что с жидами за спанье». А этот человек столько же жид, сколько и я, на жида нисколько не похож, говорит по-русски без всякого акцента и имеет все русские замашки, но имел глупость заявить Петрову, что отец его жид и сам он некрещен». Затем он говорит о самом себе, о своем характере: «И что я за отвратительная натура! Вспыльчивая, капризная до нельзя. И неужели я буду когда-нибудь иметь глупость жениться, чтобы сделать несчастною ту, которая согласится на это?».

После этого он говорит о том, что в Восточной Сибибири «большое количество политических преступников», и первый раз упоминает имя Бакунина, в связи с его побегом.

Из этой записи видно, что имя Бакунина, равно как и его деятельность, Кропоткину было хорошо известно.

В записи от 31 августа он высказывает ту мысль, которую высказывал десятки лет спустя в изгнании — о возможности отделения Сибири от России. «Сегодня попадались транспорты с ружьями, — везут 146 нарезных драгунских ружей в Камчатский каз. полк; тронулись с весной, а теперь стоят на Енисее, скоро ли дойдут? Это еще раз заставило меня вспомнить о том, как возможно Сибири отделиться и составить отдельное царство. Что связывает ее, особенно восточную, с Россией? Ничто. Россия много в ней потеряет, Сибирь ничего».

Иркутск произвел на Кропоткина лучшее впечатление, нежели другие сибирские города. Его очень удивило то, что даже в доме губернатора Забайкальской области Кукеля говорят свободно обо всем, в том числе и о Герцене. В Иркутске в то время господствовали другие настроения, отличавшиеся от настроений других городов некоторой революционностью. По окончании Пажеского корпуса, Кропоткин решил поступить на службу в Амурское казачье войско, а поэтому он и уехал в Сибирь. В Иркутске же к этому отнеслись недоверчиво и спрашивали его: «скажите, Кропоткин, по правде, за что вас сюда назначили?».

Самое лучшее впечатление произвел на него губернатор Кукель. Так, например, 16 сентября он пишет: «А Кукель сам восхитительная личность. Он всегда говорит, например, одну из своих любимых мыслей: «всякое насилие есть мерзость, давайте свободу»... При Кукеле читается «Колокол», который получается очень исправно, не разрозненными нумерами, а всем годом. Встречается ли это в губерниях Европейской России?».

В Чите 10 октября Кропоткин говорит о «сумасшедших припадках» правительства в связи с арестами политических ссыльных. «Ужасно! Зашлют сюда, отнимут всякие средства действовать и всё-таки дрожат, трусят, как какого то фантома, и посылают арестовать, — боятся, что Михайлов и из-за 7.000 верст может быть им опасен, не

сознавая, что это есть признание в своей собственной слабости, что и это может быть им опасно. Боже, когда это кончится? Ведь трудно утешаться, как Кукель, что чем хуже, тем лучше».

В 1863 году Кукель был смещен со своего поста, вследствие перехваченного письма, в котором его просили оказать содействие польскому восстанию. Кропоткин провожал Кукеля со слезами на глазах, так как он предчувствовал, что его ожидает в Петербурге суровая расправа. 18 февраля 1863 года он пишет: «Мне жаль, страшно жаль бедного Кукеля. За что поплатился этот человек?... А какой это человек! Сколько перешло от него денег бедным, сколько небогатым чиновникам выданных в виде пособия, а по настоящему, из его денег».

На Опикинской станции Кропоткин записывает в дневник известное стихотворение Генриха Гейне:

«Брось свои иносказанья
И гипотезы пустые.
На проклятые вопросы
Дай ответы на прямые:
Отчего под ношей крестной
Весь в крови влачится правый?
Отчего везде бесчестный
Принят с почестью и славой?
Отчего? Иль силе Бога
На земле не всё доступно?
Или Он играет нами...
Это подло и преступно.
Так мы спрашиваем жадно
Целый век, пока безмолвно,
Не заткнут нам рта землею...
А ответ ли это? Полно»...

В тот же день он заносит в свой дневник мысль, что если сердца нет у людей, то «никакие законы им не помогут».

7-го мая он следующим образом описывает жизнь и нравы бурят: «Снова 2 бурятские юрты, вечный огонек, щели, в которую руку просунешь, на полках несколько винтовок, несколько мисок, над огнем котел с грязным кирпичным чаем, — жалкая жизнь, но ею довольны, — чего же? Пробовали им дома строить, живут; потом рядом с домом выстроят себе юрту, и в ней живут. Мне говорили, что для бурята нет ужаснее наказания, как арест, и аресту надо подвергать их осторожно, — продержать бурята неделю в каталажке, это слишком жестокое наказание, против которого надо восставать с такой же силой, как против розог Маркевича».

В Благовещенске он присматривается к тяжелой работе пильщиков и 18 июля пишет: «Вообще во всем малоценность труда, бездна трудолюбия и низкие цены, оттого богатые живут хорошо, но рабочие живут в нищете, бедно и грязно».

Запись от 4 июля 1864 года свидетельствует о том, что Кропоткин не верил в возможность «устрашения народа» при помощи смертных казней. «Двух расстреливали здесь, за острогом, чтобы весь острог вывести смотреть на экзекуцию. В саловаренном заводе то же будет. Думают этим устрашить народ, прекратить подобные вещи (убийства) на будущее время. Едва ли».

В Хабаровске 27 июня он описывает «религиозность» китайцев. «Китайцы очень нерелигиозны. Главный бог — бог богатства, Шень-Фу. Les-Tartares религиозны, с ними лучше дело иметь. Начнет он проповедывать китайцам, — во всем согласны, а своей религии не переменят. Les-Tartares, — те лучше, простые люди, и когда уже примут христианство, то ни весть как верят во всем слову своего духовного отца, — всё готовы исполнить».

В Уссури 15 июля Кропоткин впервые задумывается о том, что не то он делает, что нужно. «Больно мне, нехорошо... Читал «Христиане в Турции». Возмутительно! Что делать? Не то я делаю, что бы нужно. С кем переговорить? Саша (брат), — и его нет, да и знает он мало».

16 июля он продолжает свою мысль о страданиях народа и о своей работе: «Где та польза, которую я мог бы приносить. И что же мои мечтания? Бесполезны? Бесплодны, по крайней мере. И с каждым днем, с каждым разом, как я встречаюсь с этим народом, с его жалкою нищенскою жизнью, как читаю об этих страшных насилиях, которые терпят хоть христиане в Турции, — боль, слезы просятся. Как помочь? где силы? Не хочу я перевернуть дела, не в силах, но я хотел бы тут, вокруг себя, приносить хотя микроскопическую пользу им — и что же я делаю, чем приношу? И умру я, видно, ничего не сделав, и все мы помрем, проживши также бесполезно. Дети? В силах ли мы детям внушить ненависть, омерзение к этой силе, которая давит их. Мы, да, мы сами их давим. Чорт знает, что это!».

В записи от 29 августа есть две строки о духовенстве. «Если попы не будут вмешиваться, постепенно будет распространяться оседлость, за ней христианство». О духовенстве он говорит и в другом месте дневника. «Церковь очень красива, ряд маленьких колоколен (деревянных), *но монахов нет ни одного,* это очень хорошо. Сибирь вообще молодец на этот счет».

В начале 1865 года Кропоткин снова возвращается к вопросу о чистых науках. Так, например, он пишет: «Наконец, это становится невыносимым, — с каждым днем хуже, а выхода не вижу. Специализирование занятий постепенно вертится на уме. Так, но если я к нему неспособен? Не так давно я утверждал — математика, физика. Да, но закралось сомнение: не напускное ли это? Мне пришлось много позаняться в последнее время в корпусе математикой. Меня увлекла стройность, логичность математического мышления, те горизонты для анализа, которые открылись при занятиях. Приятно было сознать, что вот какой громадный арсенал оружия в моих руках, — только умей прикладывать. Так, но теперь то я и стал в тупик. — к чему?». «Вот недавно накинулся на геологию. Однако и это напускное. Не вижу тут цели, — не может же быть *целью* изучение данной местности, а завтра изучение другой, третьей и т. д.

Это либо средство, либо побочная работа. А без цели нет и интереса. Одним словом, так скверно, что уже не знаю, чем это кончится. То же самое высказалось и в прошлом году в Чинданте, хоть не так отчетливо-скверно. Ведь в том то и беда, что есть боль, да неведомо, где эта боль, — тогда бы, пожалуй, придумались другие средства ее лечить. Где же исход? Такая скверность, ей-Богу, хуже еще в жизни не было».

В Иркутске, в ноябре 1866 года, Кропоткин заносит в дневник следующие слова: «Жизнь в этом обществе с каждым днем заметно становится неприятнее, даже и при здоровом настроении духа. Противно сознавать, что видишься с людьми, говоришь с ними, как с порядочными, в то время как они плевка не стоят, и чувствуешь себя не в силах, не в праве плюнуть им в рожу, когда сам ничем не лучше их, носишь ту же ливрею, выделываешь те же штуки, — чем же я лучше, где основание, на котором я мог бы действовать, сам несамостоятельный человек, к тому же мало развитой. Не менее утопичным становится толчение воды в виде службы».

Следующая, *последняя,* запись сделана в Петербурге ровно через год — в ноябре 1867 года. Начинается эта запись рассуждениями об альтруизме, а кончается следующими словами: «...И всякий, кто умственные силы свои, которые бы могли быть обращены на настоятельно необходимые услуги человечеству, посвящает на умозрения и исследования, без которых можно было бы обойтись, достоин порицания, как человек, мало заботящийся о человечестве. Но кто в состоянии (положительно) сказать, чтобы умозрение, руководимое правильными научными методами и касающееся предметов, действительно доступных человеческим способностям, могло не быть полезным?».

Вскоре после возвращения из Сибири, Кропоткин, как известно примкнул к революционному движению и начал совмещать в своей деятельности служение науке со служением человечеству. Кропоткин, таким образом, разрешил тот вопрос, который его долго мучил в Сибири.

Так складывалось революционное миросозерцание Кропоткина. Так выростали в его сознании ростки того великого анархического учения, которое он разработал впоследствии заграницей, обосновав его на строго научной почве.

Дневник Кропоткина является, таким образом, наилучшим пособием для изучения его духовной эволюции. В дневнике, словно в зеркале, отражается мятежная душа молодого Кропоткина. Помимо этого, в дневнике есть целый ряд чисто поэтических страниц и искорки того милого и простодушного юмора, который сохранился в душе Кропоткина до последнего дня его жизни.

РЫЦАРЬ ДУХА И СВОБОДЫ

Тебе, Альвитра, посвящаю.

После великих социальных бурь и сильных потрясений наступают обычно в истории эпохи жуткого и странного затишья. Какое то царственное бозмолвие охватывает в это время всё человечество и нет в этом торжественном молчании даже и признаков жизни. В эти моменты всё кажется мертвым: и все порывы человечества, и все его искания. И даже больше этого: в душе всякого человека гаснет в эти моменты искра божественного прометеевского огня и замирает, кажется, биение столь трепетного сердца человеческого.

Но вечного нет ничего в природе. Нет ничего вечного и в жизни человечества. После подобного затишья и безмолвия опять рождаются порывы и искания. Преображается как то в один момент земная атмосфера, преображается так же и весь духовный облик человечества. Вновь открываются пред умственными взорами людей новые лучезарные горизонты, вновь проявляется в людях их вечное величие и голоса их звучат в этот час торжественнее и мощнее. Проходит весь экстаз, проходит сон минутный и слышится всюду опять величественная симфония жизни.

В состоянии подобного же пробуждения находимся и мы сейчас, люди двадцатого столетия. Войны и революции были для нас громадным потрясением. Эти чудовищные по своим размерам катастрофы расшатали с вершины до основания всю нашу сложную грандиозную культу́ру. Многие вещи после этих бурь показываются нам уродливыми и смешными. Многие системы и учения кажутся нам сейчас самой обыкновенной схоластикой. Многие идолы,

которым кланялось так долго человечество, разбиты страшной бурей.

Но всё это длилось недолго. Опять воскресла жизнь, опять проснулись люди. И слышны в этом пробуждении и песни новые, и новые призывы.

* * * *

К числу этих новых и мощных голосов относится сейчас голос немецкого писателя Генриха Манна. После всеобщего затишья и молчания никто еще не мог приблизиться к таким высотам мысли, куда взошел сейчас этот подлинный рыцарь духа и свободы. Никто не мог, повидимому, оценить так прошлое. Никто не мог так заглянуть и в будущее. Но Генрих Манн прекрасно понял прошлое. Предвидит также он и наш грядущий день.

Всему нашему прошлому выносит Генрих Манн самый жестокий приговор. Не знает он ни жалости, ни сострадания. Все его приговоры — приговоры смертные. И, как это ни странно, но его приговор относится больше всего к Германии. Этот писатель любит свою родину, но еще больше любит человечество. Ему враждебны разные филистеры и патриоты, которые готовы оправдать даже всякое зло, если только оно немецкого происхождения. Принадлежит он к числу тех людей, которые не смотрят в глаза своего брата. Он смотрит лишь на самого себя. Несчастье своей родины не хочет он приписывать каким то другим людям. Старая истина — amicus Plato sed magis amicus veritas est — является для него абсолютной истиной.

Истина для него выше всего. Читая его книгу «Сила и Человек» («Macht und Mensch»), каждый культурный человек должен будет сказать, что его устами говорит сама истина.

* * * *

Свобода для Генриха Манна является душою жизни. Если не будет на земле свободы, не будет на ней никогда ни радости, ни счастья.

«Свобода, — говорит он в своей книге, — это совокуп-

ность всех целей духа, всех человеческих идеалов. Свобода это движение, освобождение от земли, вознесение над животным: прогресс и человечество. Быть свободным это значит быть справедливым, справедливым в такой степени, чтобы неравенство стало невыносимым.

«Да, свобода есть равенство. Неравенство делает несвободным даже того, кому оно на пользу. Тот, кто применяет силу, является ее рабом не в меньшей степени, чем тот, к кому она применяется. Тиран (а тираном может быть каждый!) страдает под гнетом людей не меньше, чем они под его гнетом; унижая людей, он унижает в них самого себя. Его может спасти лишь бегство в гущу человечества. Пусть же он спасется, хотя бы рискуя погибнуть! Ибо свобода есть воля к тому, что сознано, как добро, хотя бы и зло являлось спасительной силой. Свобода — это любовь к жизни, включая в нее и смерть. Свобода — это вакхический танец разума. Свобода — это абсолютный человек».

Эта свобода, по мнению Манна, не может быть продуктом эволюции, как думают об этом разные социалисты и политики. Свобода не есть организм, подверженный законам эволюции. Свобода есть идея и понятие. Ее не может дать людям природа, ее не может дать им эволюция. «Строить что либо на эволюции, — говорит Манн, — это значит поставить себя в зависимость от природы; а она не бывает расточительной».

Под понятиями «необходимости» и «эволюции» созревают, говорит он, «только минимальные условия человеческого существования». Продуктом эволюции может быть не свобода и не справедливость, а «лишь возможность существования». Возможность же существования не есть возможность жизни. «Человек же создан для чего то большего, — как выразился некогда Оскар Уайльд, — чем для копания в грязи или же подметания улиц». А всякое существование в духовном смысле есть нечто худшее, чем подметанье улиц. Во всем должна быть полнота, во всем нужно предельное.

* * * *

Но что же нужно делать для того, чтобы все наши лучшие мечты претворились в живую действительность? Социалисты приведут нас к этому? А может быть какие-нибудь гении?

Не верит Генрих Манн в подобное освобождение. Нет и не может быть подобных благодетелей. И даже больше этого: великие люди и гении приводят нас обычно к страшным катастрофам. И все они обходятся людям необычайно дорого.

«Не полагайтесь — говорит Манн, — на великих людей — тогда не будет у вас этих катастроф. Ни перед чем не преклоняйтесь, но никого и не презирайте. Старайтесь познать человека и охраняйте его — тогда у вас будет и культура, и цивилизация».

Говоря о великих людях, Генрих Манн указывает, что таких людей было в Германии необычайно много. Были просто культурные работники. Были философы, поэты и художники. Но многие из них либо стояли в стороне от социальной трагедии нации, либо оказывались подлинными ренегатами. «Ни разу, — говорит он, — в этой стране, где так много было передумано, нация не напрягла своих сил, чтобы претворить познание в действие. Ничья рука не шевельнулась, чтобы низложить неправую власть». В душе многие были анархистами, но шли рука об руку с правящими классами, и «брали на себя роль адвокатов дьявола». «Возможно, — говорит он далее, — что и теперь найдутся двадцатилетние молодые люди, которые уже родились дряблыми и весь свой маленький разум употребят на то, чтобы приспособиться к власть имущим». Культурный же работник, в подлинном смысле этого слова, не может следовать за дряблыми мозгами. «Культурный работник, который идет рука об руку с кастой власть имущих, является ренегатом духа».

Нужна прежде всего борьба за человеческое достоинство. Эта борьба является залогом будущей свободы. «Борьба за человеческое достоинство — это путь духа святого.

Смотри на себя, как на человека получившего посвящение, и не допускай, чтобы тебя оскорбляли. Тогда ты научишься уважать других, как самого себя». Эта борьба — борьба самая истинная. «Тот, кто сознает себя существом высшего типа и чувствует, что он унижен жизнью, может дать миру самое высокое: образец человеческого достоинства». Поймут люди свое достоинство — и будут свободными. В ком нет подобного сознания, тот никогда не может быть свободным человеком. Духовный раб будет вечным рабом. Освобождение от цепи и кнута не может этого раба сделать вполне свободным.

* * * *

Не верит Генрих Манн и в нынешних социалистов. «Если социализм, — говорит он этим политикам, — будет осуществлен лишь благодаря вашей силе, а не в результате убеждения и морального сочувствия большинства, — это не даст вам ничего. Диктатура даже наиболее передовых элементов есть все же диктатура и должна окончиться катастрофой. Злоупотребление силой всюду являет один и тот же лик смерти».

Социалисты нашего времени стремятся прежде всего к власти. А ведь «при строгом соблюдении справедливости, — как выразился Питт, — немыслима никакая власть». Это желание «роднит их со старым типом воина, который они хотели бы воскресить». Вместе с этим воинственным стремлением к власти, у них имеется стремление к насилию. У них нет никаких великих идеалов. Быть может скажут многие из них, что высшим идеалом их является экономическое равенство, но ведь и этот идеал, по словам Манна, является пустой фикцией.

Социализм, если только он не желает умереть позорно и бесславно, должен вполне осознать свои задачи, цели и стремления. «Он был бы всегда убогим, если бы его питала исключительно борьба за материальные блага. На него налагают путы те, кто отождествляет политику с экономикой». Плохую услугу самому социализму делают те люди, которые даже и человека, «являющегося духом и содер-

жанием всякой политики, продолжают изображать, как продукт экономических условий».

Истинный социализм должен приучать человека не к стадности, а к индивидуальности. «Его дух должен победить материю». Все его «классовые» предрассудки должны быть на второстепенном месте. «Классовая борьба происходит лишь на поверхности, а в глубине всё едино». Не должно быть господства богачей, но «не должен господствовать и пролетариат; он вообще должен перестать существовать, как класс. Он борется, чтобы преодолеть самого себя, а не чтобы всех растворить в себе».

Точно также «и богатство небольшой кучки людей не должно обрекать на бедность большинство; даже в интересах самих богачей этого не должно быть». «Не допустимо также, — говорит Манн, — чтобы неимущие приносили на алтарь капитала даже свои жизни». «Социалистическая хозяйственная политика должна поднять уровень пролетария, превратить его в гражданина; точно также и буржуа, освободившись от самоуничижительного преклонения перед исторической властью, должен стать гражданином. Люди труда без различия происхождения должны встретиться на полпути и слиться воедино».

Такого рода идеал — идеал чисто анархический — является, по Манну, истинным социализмом. Только такой социализм может родиться в будущем. В такой социализм Манн верит. «Только с победой Кантова духа, социализм, — говорит он, — через слияние классов должен стать борющимся человечеством: пусть будет в нем идеал более высокий, чем стремление к повышению заработной платы, пусть будет в нем любовь, а не вражда и ненависть».

Только такой социализм может быть счастьем человечества. Но ведь этот социализм не есть социализм Маркса. Этот социализм близок к учениям Толстого и Кропоткина.

Где же в конце концов выход? В насилии или непротивлении? В реформах или революции? Нельзя, по Манну, быть пассивным человеком, но нельзя также быть и аполо-

гетом насилия. Ибо насилие порождает насилие, ненависть порождает ненависть. Ужасно примирение со злом, но ненависть и месть являются безумием. Все эти «качества» свойственны людям низкого порядка, людям бессильным и ничтожным, но не творцам новой культуры и цивилизации. Все эти качества исходят не от величия и силы личности, а от ее убожества и горького отчаяния.

Как может человек говорить о любви будущего человечества, если сегодня его сердце пропитано желчью ненависти? Как может говорить он о свободе, когда готов в любое время расстерзать в клочья инакомыслящего человека или же политического противника? Как может говорить он о новой культуре, когда в его духовном облике нет ничего, кроме «мерзости и запустения»? Как может говорить он о строительстве нового общества, если он одержим манией разрушения, если в нем проявляются одни лишь стихийные и хаотические силы? Всё это ложь, всё это вечная иллюзия. Как нельзя восстановить путем какой-нибудь «экспроприации экспроприаторов» подлинного экономического равенства, так и «насилием не создать нового человека».

Люди заражены военной психологией. Первое место занимают в этом отношении различные социалисты. Все нынешние социалистические партии, со всеми их партийными уставами и дисциплинами, являются солдатскими казармами. Свободный человек в них может задохнуться. Солдат не знает жизни человеческой. Он знает лишь казарменную дисциплину. Вопросы же его желудка являются для него самыми важными вопросами. К числу таких солдат принадлежат и все наши социалисты.

Все вы, социалисты, говорит им Манн, «желающие быть «последним криком», людьми завтрашнего дня — со своим социальным материализмом возвращаетесь вспять к девятнадцатому столетию; а если милитаризм должен быть вашим орудием, то вы возвращаетесь к самому скверному, что было в этом столетии». Этот путь не может быть путем культурного человека.

«Только крайние меры, только уничтожение всех пережитков прошлого может еще помочь вам, люди; только тогда вы пройдете через мрак и смерть, только тогда вы воскреснете к свету»...

⁂

Примером этой лжи и этих роковых ошибок является для Манна германская революция. «Она вырвалась без посторонней помощи из окровавленных обломков империи, сама не зная, как ей жить». Отсюда, может быть, и появилось ее страшное наследие. «Ее наследие — грубый материализм, воля к власти, привычка к насилию». «Она не сознает, что ее призвание — начать новую эпоху в духовной жизни Германии. Она не допускает мысли о том, что могла бы преобразовать человека, а не только имущественные отношения. Душевная жизнь — это не ее область. Классы борются теперь за власть, как в былое время империя боролась за мировое владычество, и в этом будто бы — вся революция». «Повсюду, куда ни глянешь, господствует способ мышления милитарстов и фетишистов государства».

Эта революция имеет и своих врагов, и своих поклонников. Но все они стоят друг друга. Ни все ее друзья, ни все ее враги не могут быть друзьями человечества. Одни из них желают большевизма, другие же стремятся к прошлому.

К числу врагов ее принадлежит военное сословие. Но это ведь военное сословие и есть, по существу, германская коммунистическая партия. Между российскими большевиками и немецкими империалистами нет никакой разницы.

Духовный большевизм пережила Германия. Не может, следовательно, быть в Германии другого большевизма. «Этот призрак, — говорит Манн, — возникший из кровавых испарений и логарифмов, явно не реален; для всякого ясно, что у нас его никогда не будет, не то у нас было бы светопреставление». Раз удалось Германии освободиться от

своего собственного палача, она не может принять уже и палача большевистского.

Примером служит русская действительность. Русская революция длилась недолго. Недолго люди видели свободу. Она спустилась лишь на землю, коснулась своим крылом несчастного народа — и улетела прочь... «Столько духовной энергии потрачено было втечение десятилетий, столько пережито мучительных вспышек, революций, столько крови пролито за всю эту долгую войну, — и что же? — свобода, эта душа всякой революции, покинула революционную Россию уже спустя несколько месяцев после ее рождения».

«Мистика старой власти нашла себе новое воплощение. Новая чудотворная доктрина, новые цари. Снова пытки, снова убийства, массовые убийства, истребление целых классов. Эксплоатация осталась, переменились лишь лица. Обнищавший народ и сотни тысяч новых собственников; «коммунизм» во благо американских миллиардеров, которые явятся его наследниками». «Из радикальных социалистов они превратились в радикальных империалистов. Впрочем, — говорит Манн, — они были империалистами и раньше: они ведь верили некогда в победу Германии!» Они, говорит он дальше, работали рука об руку с старой Германией. Не надо забывать, что массовые убийства заложников и потопление «Лузитании» свойственны только большевикам и германским империалистам.

«Главный германский штаб, — подтверждает этот немецкий писатель, — послал когда-то против слабой демократии Ленина и его штурмовую колонну», а Ленин в свою очередь оказывал помощь Германии. «Им не в чем укорять друг друга. Они так тесно связаны друг с другом общей чертой — зловредностью, что у них одно влечет за собою другое: пан-германская авантюра влечет за собою большевизм с такой же неизбежностью, с какой этот последний ведет к реставрации монархии. Они могли бы даже сочетаться браком».

Гражданскую войну, оскалившую свои зубы и пожирающую всякую культуру, они называют истинной револю-

цией. Свою же бешенную и разнузданную диктатуру, связанную с массовыми убийствами, они считают почему-то подлинной победой пролетариата. Победа ли это? И над кем победа? Если это есть подлинная диктатура пролетариата, то и дни этого пролетариата скоро будут сочтены. Эта победа есть самоубийство. «Пусто в голове у такой революции».

Таково отношение Генриха Манна к разным политикам, социалистам и большевикам.

***

В чем же спасение человечества? Спасение его лишь в духе и свободе. Свобода для Генриха Манна является альфой и омегой жизни. Истина и свобода являются великими святынями. И горе тому человеку, который оскверняет иногда эти великие святыни жизни. Свобода для Генриха Манна — это Прекрасная Дама, а он — ее верный и надежный рыцарь.

В людях он хочет видеть подлинных республиканцев. Но «республиканцами, — говорит он, — мы называем тех людей, для которых идея выше пользы, а человек выше власти». Его республиканец — больше всего анархист. Как не существует для него авторитета власти, так нет для этого республиканца и авторитета государства. «Государство, говорит он, — зависит только лишь от нас самих». Настанет время, — говорит он далее, — и «прахом» развеется представление о государстве, как о чем-то стоящем над людьми и не считающемся с их жизнью и счастьем». Демократия является для него лишь средством, а не целью: «Жизнь имеет только одну цель: она должна стать духом и свободой».

Таков духовный облик этого писателя.

1925

МОГИЛЬЩИКАМ РОССИИ

(Ответ нью-иоркским большевикам-новомирцам)

Не так давно был напечатан в «Американских Известиях» мой маленький фельетон о признании большевиков западно-европейскими государствами. Это была легкая критика большевизма, написанная даже в несколько юмористическом духе. Но эта критика вам не понравилась, великие могильщики России. И это для меня понятно. Хотя вы и живете в Америке, вы всё-же дышете духом российского большевизма. Вы, вероятно, и в Америке хотели бы набросить петлю на шею того человека, который говорит здесь против вас какую то страшную правду. Вы ненавидите правду. Вы — фарисеи и лицемеры. Все вы скрываете свои великие злодейства и не хотите допустить того, чтобы о ваших злодействах говорили и другие люди. И это вам в России удалось. Вы задушили лучших сыновей великого народа. Вы осквернили святыни этого народа. Вы изнасиловали там всё чистое, невинное и девственное. Вы разрушили до основания всю русскую культуру. Вы стали «великими инквизиторами» и палачами нашего ужасного столетия. Даже ваш Мартов, этот искренний и честный человек, назвал вас «людоедами и палачами». И вам хотелось бы, конечно, превратить и весь мир в эти зловещие развалины. Хотелось бы вам также и в Америке задушить живую мысль, хотелось бы «поставить к стенке» всякого мыслящего человека. Но здесь вам это не удастся. И всякий человек имеет здесь возможность говорить страшную правду о вас.

Но эта правда приводит вас в исступление. Если бы это было в России, вы и не подумали бы там писать против меня статью. Вы мне набросили бы на шею веревку и дело было бы окончено. Но здесь — не ваше царство. И вы не можете этого сделать. И вы, в своей газете от 8 июля, пишете против меня статью, «разносите» в этой статье и анарихстов вообще, разносите даже и то, что не имеет никакого отношения ни к моим мыслям, ни к моей статье. И ваша статья — статья очень жалкая и убогая. Вы не умеете ни мыслить, ни писать. Ваша статья — это творчество какого то Дон-Кихота. Вы не опровергли в ней ни одного моего слова. Вам нечего сказать по существу вопроса. И, вместо всяких возражений, вы называете меня и монархистом, и патриотом, и религиозником. Но всё это говорит только о вашем ничтожестве, о вашей душевной нечистоплотности. Этими именами вы называете сейчас всех людей, ибо все люди против вас. Вы можете называть, конечно, этими именами и всех анархистов, вы можете писать их имена в кавычках, но положение дел от этого нисколько не изменится. У вас и нет ведь других аргументов. Но все ваши аргументы — пустые и бессодержательные. Они — пустые звуки. Никто не слышит их в наше время. Вы можете называть всех ваших противников и монархистами, и патриотами, и националистами. Но люди знают сейчас, что истинные контр-революционеры — это вы. Монархизм породил вас и все вы — его дети. Вы — новые самодержцы и новые деспоты. Между вами и монарихстами нет, в сущности, никакой разницы.

О патриотизме я не говорил в своей статье ни слова. Но вы обвиняете меня в этом «тяжелом» преступлении. И я могу только гордиться этим. Я — патриот, ибо я люблю свою родину, люблю я свой народ и вовсе не желаю, чтобы мою родину попирали ногами своими разные свиньи и хамы, разные деспоты и злодеи. В этом заключается мой патриотизм.

Не писал я ничего и о национализме. Но вы меня и в этом обвиняете. И в этом грешен я. Я не желаю гибели и

смерти. Я не желаю хаоса и разрушения. Мне дорога вся русская культура. Но вы не знаете русской культуры. Вы не знаете, впрочем, и никакой культуры. У вас ее никогда не было и никогда не будет. И вы желаете поэтому разрушить всё до основания, желаете стереть с лица земли всякое творчество человека. И все национальные культуры хотите вы, большевики, вычеркнуть из всемирной истории; хотите превратить эти культуры в какие то зловещие развалины, в груды какого то мусора и думаете после этого создать из этих жалких обломков свою «интернационально-пролетарскую» культуру, культуру дикую и безобразную. Вам, дикарям, чужда эстетика, вам не понятна ни красота формы, ни красота содержания. И весь ваш хлам и мусор вы называете каким то интернационализмом. И я, конечно, националист, если речь идет о вашем «интернационализме».

Религиозность моя заключается в том, что я считаю себя человеком. Я признаю жизнь человечества. Для меня существует понятие нравственности. А вы — вы отрицаете всякую нравственность. Для вас нет ничего святого. И вы друг другу говорите, что вы не люди, а животные, не знающие ни греха, ни нравственного преступления. Вам всё дозволено. Впрочем, и многие из вас — люди религиозные. Только религия ваша — другая. Многие из вас верят не в Бога, а верят в Сатану; многие из вас находятся в ордене Сатанистов и совершают во имя своего бога-Дьявола все ваши ужасы, все ваши злодеяния. Быть может, вы, нью-иоркские большевики, еще и не знаете этого, ибо не все из вас могут быть достойными слугами Дьявола, не все из вас могут получить это ужасное посвящение. И все вы лжете людям, когда им говорите, что вы не верите в Бога, что вы не признаете никаких религий. Ваша религия — тайная. Ваш бог — ужасный бог и отвратительный. Я против вашей религии, я против вашего бога. И в этом есть моя религиозность.

Ваша попытка поставить на одну доску и анархистов и Пуришкевича — попытка самая смешная. То, что анархисты имеют «мало последователей» это не так еще важно. Анар-

хистам необходимо качество, а не количество. Анархизм — это не «классовое» учение, а учение всеобщей справедливости. Вполне понятно, следовательно, почему в рядах анархистов имеются аристократы и дворяне, имеются крестьяне и рабочие. Анархизм не учит убивать рабочего или аристократа. Для анархизма существует человек, существует и человечество. Вы же не знаете ни человека, ни человечества. Ваша «многочисленная» партия — толпы рабов, бессмысленное стадо. В числе этих рабов имеются, конечно, и несознательные рабочие и крестьяне. И всё ваше «количество» — это подонки общества. Вся ваша русская партия является сообществом разных убийц, бандитов и грабителей. И вы, преступники, гордитесь еще вашим количеством!

Содружество анархистов с буржуазией есть ваша ложь и ваши вымыслы. Вы не способны говорить правду. Эта способность у вас атрофирована. Вы ненавидите Окунцова, вы ненавидите и всякую газету, которая клеймит вас вашими же собственными преступлениями.

Да, анархисты — ваши враги. И вы, конечно, правы, когда говорите, что ни Керзон, ни Пуанкарэ, ни Юз не вели с вами подобной борьбы. Все эти лица вас знают очень мало. Если бы они знали вас лучше, все они говорили бы с вами другим языком. Но анархисты знают вас лучше. И от этой жестокой борьбы анархисты не откажутся до тех пор, пока ваши злодейства будут господствовать на земле. С злодеями и палачами анархисты будут бороться в веках и в мирах. В России победили вы. А здесь вы, вероятно, потерпите поражение. Анархисты будут разрушать вечно ваши змеиные гнезда, которые вы называете вашими партиями и союзами.

Вы говорите, что я протестую против ограбления русских церквей. Да, я протестую против этого, как протестует и русский народ. Я знаю лучше вас, на какие цели были израсходованы вами в России эти великие народные сокровища. Вы говорите, что эти ценности тратились на голодных крестьян и рабочих, а я вам говорю, что эти ценности тратились на другие цели. Они тратились на ваши личные цели, тратились на содержание агентов-провокаторов и па-

лачей, тратились на вашу армию, на ваших комиссаров, тратились на ваш воздушный флот, тратились на вашу злодейскую пропаганду. Церковные богатства вы продавали на московских базарах; церковными бриллиантами вы украшали своих сожительниц-проституток. Вы и сами еще, вероятно, помните печальную каменевскую историю с бриллиантами, когда он думал, что на эти народные ценности можно купить всю лондонскую прессу. Если бы вы тратили эти деньги на нищих и голодных, никто не мог бы протестовать против этого. Но вы ограбили Россию ради своего кармана, ради укрепления своего варварского самодержавия, а нищие и голодные умирали в это время на улицах и на бульварах Москвы. По всей России они умирали, но вы, слепцы, не видели ни нищих, ни голодных. Их видели американцы и другие люди.

Вы говорите еще и о том, что все рабочие, все политические партии всюду оказывают друг другу посильную помощь. Вы хотите сказать этим, конечно, что надо оправдать и все ваши расходы по содержанию ваших агентов заграницей, по содержанию всей вашей большевистской прессы. И против этого никто не мог бы протестовать, если бы вы на все ваши преступные деяния могли бы отдавать те деньги, которые вы сами зарабатываете. Но вы для этой цели грабите других, вы грабите рабочих и крестьян России; вытаскиваете вы у них последние гроши из карманов и посылаете всё это заграницу. И этот грабеж и это воровство вы оправдываете своими сатанинскими целями. И всё это вы называете «товарищеской» помощью.

После вашей октябрьской революции работали с вами все революционеры. Но это сотрудничество окончилось очень скоро. Вам удалось обмануть не только крестьян и рабочих, но и многих русских революционеров. Когда вы укрепили несколько свое самодержавие вы стали убийцами, грабителями и палачами. И все честные русские люди отошли от вас, от ваших преступлений. Вы начали убивать всех людей, которые не поклонялись вашему пророку — Марксу. И вы убили русскую интеллигенцию. Убили русских рево-

люционеров. Оставшихся в живых вы добиваете сейчас в тюрьмах. Но сейчас у вас очень мало работы. Буржуазию вы убили и заняли места этой буржуазии. Теперь вы убиваете рабочих и крестьян, именем которых вы прикрываетесь, иезуиты.

И вы, нью-иоркские большевики, не знаете русской действительности. Пять месяцев тому назад я жил еще в этом ужасном аду. Я видел там многих из вас, приехавших из заграницы. И большинство из них, не потерявшие еще свой облик человеческий, уходили от вас с проклятием и отвращением. Но многие из вас злорадствовали и торжествовали. Их цель была достигнута. Они величественно созерцали это великое пожарище, эти великие развалины. Эти люди сознательно делают свое дело. И многие из вас поняли ужасы и трагедию этой действительности, но всё же не могли расстаться с вашей господствующей партией. Эти люди продают свою душу за золото. И большинство из вас — лишь нравственные проститутки. Вы любите золото и бриллианты. За это золото вы продаете и свою честь и свое человеческое достоинство. Вы — люди самые дешевые. Вас может купить каждый человек; может купить тот, кто имеет золото. Во время европейской войны даже ваших «идейных» вождей купили за золото немцы. Вчера вы — монархисты, сегодня же — большевики. Не служите вы идеалу, не служите вы вашему «пролетариату», а служите золоту. Имели бы и анархисты золото, и вы сегодня же назвали бы себя самыми идейными анархистами. И среди анархистов были люди вашего порядка, вашего склада ума, ваши родные братья; но они поняли, что золота у анархистов нет и очень скоро перешли к вам. И вы поете гимны этим анархистам. Они — ваши родные братья. Вы — члены одной и той же семьи. Посмотрите на самых «идейных» ваших товарищей, которым доверяются даже и тайны Чеки. Посмотрите, как они торгуют вашими секретными документами. Кто больше? И продают эти документы тому, кто дает им больше золота.

Вы не политическая и не рабочая партия. Вы — партия особая — нечеловеческая. Вы только пользуетесь иногда не-

сознательностью рабочих и крестьян и говорите им, что вы — социалисты. Именем рабочих и крестьян вы хотите оправдывать все ваши кровавые вакханалии, все ваши оргии и преступления. Но этих же рабочих и крестьян вы убивали за кусок хлеба. Вы топили в Волге их целыми баржами, как контрреволюционеров. Рабочие Европы и Америки, быть может, и не понимают ваших целей. Но русские рабочие и крестьяне вас понимают прекрасно. Нельзя вечно обманывать людей. И напрасно вы говорите, что эти рабочие и крестьяне ваши друзья и товарищи. Когда настанет час сведения счетов, когда наступит день суда над вами, вы только тогда поймете, вероятно, как относятся к вам эти рабочие и крестьяне. Вы — ядовитые змеи. И они будут очищать мечом и огнем свою поруганную землю от всяких змей и скорпионов. Не минет эта участь и ваших невинных детей. Но вы не понимаете этого. И вы не делаете ничего решительно, чтобы предотвратить эту грядущую трагедию. Как и всякие другие животные, вы не хотите подумать о судьбе ваших собственных детей. Вы сейчас царствуете в России. И вы способны думать, вероятно, что ваше царство — тысячелетнее царство. Но ваше царство — временное. Оно построено на крови и на костях человеческих. Оно построено на вашем собственном безумии. В вашем творчестве и в вашем царстве нет ничего вечного. В вашем творчестве нет жизни. В нем имеется временное начало. В самом себе оно носит смерть.

Вы говорите еще, что анархисты — сторонники пьянства, а вы, большевики, — сторонники трезвости. В этом заключается еще и ваш идиотизм. Это вы ведь начали в России торговать разными спиртными напитками; это ваши сановники и комиссары устраивают разные оргии, разные афинские ночи; это ваши большевики торгуют шампанским и коньяком. И в это время вы расстреливаете русских крестьян за всякую выделку «самогонки». Все вы — кокаинисты и алкоголики. И вы осмеливаетесь еще обвинять других людей в пьянстве. Вся ваша партия — сообщество бандитов и убийц, злодеев и воров. И ваше призрачное царство построе-

но на трупах 30 миллионов человек. Ваши руки — кровавые руки. И напрасно вы думаете смыть эту кровь слезами и кровью новых 30 миллионов. Всех ваших злодеяний не простят вам люди, не простит их и история.

Знаю, что вы опять назовете меня и монархистом, и националистом, и патриотом. Но на вашем бедном большевистском языке и нет других слов. Вы не умеете даже и разговаривать. Вы знаете только свой большевистско-советский воровской жаргон. И ничего другого я не ожидаю от вас. Вы это говорите всем людям. У вас нет своих слов. Ваши фразы — заученные фразы, фразы вашего начальства. Всем не нужны даже и собственные головы: за вас думает ваше начальство. И все вы — жалкие, ничтожные созданья. Все вы — бездушные паяцы. Вы только не понимаете этого, ибо у вас нет своих собственных мозгов. И не вам следует делать попытку разговаривать с теми или другими людьми.

Знаю еще, что при чтении всех этих строк на ваших Каиновых устах появится кровавая пена, пена бешеной собаки. Но вы не люди для меня, а адские чудовища и с вами я не в состоянии разговаривать более вежливо и корректно. Эти понятия вам неведомы. Вы можете пениться сколько угодно, но ваша ядовитая пена здесь не коснется меня. Здесь нет вашей Чеки, здесь нет ваших пыток, здесь нет и ваших палачей.

1924

КАРНАВАЛЫ СМЕРТИ

Гениальный безумец Ницше говорил когда-то, что все мировые явления нельзя рассматривать как виды эволюции. Во всех социальных процессах, как и в процессах космических, нет ничего нового, они являются лишь повторением того, что уже было однажды[1]. Эту «теорию вечного возвращения» нельзя, конечно, назвать новой, ибо подобные же мысли встречаются также и в древне-индийской и египетской мистике и философии. Подобное течение мысли наблюдается также и в философии права.

Можно, конечно, не соглашаться целиком с основными положениями этого учения, но всё же следует признать, что в этом фаталистическом и детерминистическом учении есть некоторая доля правды. Не всегда наблюдается эволюция не только в мире духовном, но и в мире материальном. Всякая же социальная жизнь, подобно организму, подвержена всевозможным заболеваниям. Во всех социальных явлениях наблюдаются иногда периоды упадка, разложения и смерти. Быть может, прав был поэтому и Шпенглер, когда сравнивал с живым организмом целые культуры и государства[2].

Всякая культура рождается и умирает. Умерла египетская культура; железные когорты римских солдат снесли с лица земли греческую культуру; величественный Рим погиб в том бешеном потоке развращенности, когда всякая мысль о справедливости считалась преступной; арабская культура погибла под невежественным владычеством турок; изменилось также и лицо Европы за несколько последних столетий. Пройдут века и карта ее будет, быть может, картой неведомой нами. Трудно, конечно, сказать, какие судьбы правят вселенной.

Изучая также всевозможные формы социально-политической и государственной жизни, можно с большими основаниями утверждать, что история нас ничему не учит. Нельзя предвидеть, при современном духовном сознании человечества, ее даже ближайшего будущего; нельзя направить течение жизни к тому золотому веку, о котором мечтали поэты. И как это ни абсурдно, как это ни бессмысленно, но всё же кажется иногда, что не люди создают историю, а история создает людей, и что они являются каким то жалким ничтожеством в ее жестоких и кровавых руках[3].

И если Шопенгауэр и Ницше отрицали историю, как науку, то в этом отрицании есть, очевидно, глубокий смысл и содержание. Достаточно для этого бросить беглый взгляд на те карнавалы безумия и смерти, которые *повторяются* очень часто в истории, и которые нас ничему не учат. Достаточно взглянуть на историю тех кровавых вакханалий, именуемых иногда революциями, чтобы убедиться в бесполезности истории.

Так, например, многие революционеры считали слишком тенденциозными и консервативными труды Карлейля и Тэна о французской революции, они идеализировали эту революцию и не находили в ней тех ужасов и кошмаров, которые были вскрыты этими историками. Для тех же лиц, которым пришлось пережить большевистскую революцию в России, более понятной кажется и французская революция. Понятен образ Робеспьера, бывшего фанатического противника смертной казни и такого же фанатического ее апостола и вдохновителя; понятна «деятельность» трибуналов, казнивших людей сотнями и целыми тысячами только за то, что они были инакомыслящими, казнивших людей за то, что они продавали на улицах «контр-революционных» паяцев, казнивших за то, что люди предоставляли в своем доме право ночлега и убежища какой-нибудь несчастной проститутке, казнивших людей за то, что они, *находясь в тюрьме,* устраивали заговоры против Республики[4].

Нельзя, конечно, отрицать тех культурных общечеловеческих завоеваний, достигнутых в эту кровавую эпоху, но

нельзя также и проходить мимо тех убийственно-отвратительных зрелищ, которые устраивались республиканцами и революционерами. Правда, эти французские карнавалы смерти несколько бледнеют, когда мы бросим беглый взгляд в глубину истории, в историю древнего Египта, где революция протекала (около 2000 лет до Р. Х.) в более мрачных и зловещих формах[5].

Папирус некоего Ипувера говорит нам об этой революции следующее:

«Почтенные обитатели страны в горе, а некоторые ликуют. Законы попраны, их нарушают на улицах нищие. Нищие дошли до положения богов. Золото, ляпис-лазурь, малахит на шеях рабынь, а знатные женщины говорят: если бы нам поесть! Они печальны, ибо ходят в лохмотьях. Сын знатного происхождения не отличается больше от человека простого происхождения. Князья страдают и голодают, а бывшие слуги имеют слуг. Имевшие платья — в лохмотьях, не ткавшие на себя — обладательницы виссона. Не строившие для себя лодок — обладатели кораблей, а тот, кто владел ими, смотрит на них, но они уже не его. Тот, кто не мог построить себе погреба, теперь хозяин палат. Не имевший хлеба владеет теперь закромами, его амбар переполнен чужим достоянием. Бедняки стали богатыми, а владельцы собственности нищими. Тот, у кого не было раньше подчиненных, имеет рабов, знатный же человек исполняет чужие поручения. Одевавшие виссон подвергаются побоям, благородные дамы страдают как рабыни. Дети князей выбрасываются на улицы и разбиваются о стены домов и камни мостовых. Вчерашний раб покоится на роскошном ложе бывшего господина, пьет из драгоценных, чудно изукрашенных сосудов. Батрак, не помышлявший о лютне, владеет арфой.

«Убийства и ограбления стали обычным явлением. Людей убивают в домах, на крышах и погребах. Запоздалых путников убивают ночью в дороге. Земля залита кровью. Покраснела от крови даже вода в Ниле. Человек выходит

пахать вооруженный щитом. Птицеловы шествуют в боевом порядке.

«Всё гибнет. Раскрыто делопроизводство высшего суда. По великим палатам толпа ходит взад и вперед. Судьи убиты, чиновники разогнаны, их бумаги унесены, свитки писцов уничтожены. Общественные учреждения раскрыты настежь и налоговые листы похищены оттуда. Начальники стражи бегут. Порядок нарушен. Искусство и религия в упадке. Смех стал смехом от горя и о смерти перестали плакать».

Когда же мы вспоминаем наши русские революционные события, они нам кажутся в настоящее время какими то легендарными. Никакая человеческая фантазия не могла бы нарисовать нам те жуткие картины, которые были в России действительностью.

Шайка каких то разбойников управляет государством. Всевозможные уголовные преступники стоят во главе всевозможных общественных учреждений. Садисты, идиоты и дегенераты являются вершителями русских судеб. Они господствуют в трибуналах. Одним своим присутствием они наводят панический ужас на подземелья Лубянки. Они убивают людей десятками, сотнями, тысячами. Одних убивают за их благородное происхождение, других убивают за то, что они были учеными, были носителями культуры; убивают людей также за то, что они не хотели поклониться пришедшему «зверю из бездны»; бедняков убивают за то, что они приносили голодным детям кусок хлеба, чтобы они не умерли от голода. Людей, сколько нибудь состоятельных, эти убийцы топят в реке целыми сотнями, как заложников, а всё их имущество делят между собой. Снимают перед казнью одежды с осужденного и «об одежде его метают жребий». Убиваются также и бывшие революционеры; их подвергают всевозможным пыткам и побоям даже в тюремных казематах[6].

Общественные ценности разграблены. Культурные ценности уничтожаются. Творцы этих ценностей разогнаны и убиты.

Искусство погибло. Свобода растоптана их грязными ногами. Храмы осквернены дикими полчищами этих убийц и грабителей.

Разве не повторяются, таким образом, многие социальные события? Разве не наблюдаются в мировой истории эти победоносные шествия смерти, безумия и разрушения. И разве все эти кровавые карнавалы можно назвать человеческим прогрессом и революциями? И разве можно оправдать все эти события только потому, что они существуют?

Надо думать, что все эти события являются не эволюцией, но являются неизбежной гибелью и смертью для каждой нации, для каждой культуры. И если даже и существуют какие то исторические законы, ведущие человечество к этой великой мировой агонии, необходимо противопоставить этим кровавым законам (войны, подобные революции, казни, убийства) новую силу, которая могла бы повернуть эту безумную колесницу истории в другую сторону.

Но для этого необходимо уже одухотворение личности, необходимо этическое сознание, необходима борьба за новую гуманитарную культуру, борьба за интегральную свободу, борьба против того тысячеликого чудовищного дракона, имя которому — большевизм.

1924

Примечания: [1] *Ницше.* «Так говорил Заратустра». [2] *О. Шпенглер.* «Закат Европы». [3] *Хвостов.* «Теория исторического процесса». [4] *А. Франс.* «Боги жаждут». [5] *A. Gardiner.* «The admonitions of an Egyptian sage». Leipzig. 1909. [6] *Мельгунов.* «Красный террор в России».

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ

На душе каждого современного человека, независимо от его социального положения и от его образования, лежит много пороков, грехов и преступлений. Преступления эти — слишком разнообразны. И ни одно преступление не остается в нашем мире безнаказанным. Современное правосудие относится слишком жестоко ко всякому человеку, совершившему то или иное общественное преступление. Если причина того или другого преступления кроется даже и не в самом человеке, а в общих условиях нашей социальной жизни, даже и в этом случае современное правосудие никогда не оправдывает этих общественных преступлений. И в этом положении кроется истинная трагедия этого правосудия. С одной стороны, это положение надо оправдывать, с другой же стороны, это положение необходимо отрицать. Здесь мы имеем две стороны правосудия: сторону правды и сторону лжи.

Оправдывать его необходимо потому, что всякая форма суда должна преследовать идею правосудия, идею справедливости; и с этой точки зрения нельзя идею права ставить в рамки каких то ограничений и исключений. Необходимо в данном случае считаться только с фактами преступлений. В противном случае идея права окажется мертвым понятием, как это наблюдается сейчас в России, где суд не руководствуется теми или иными правовыми нормами, а руководствуется классовыми и государственными интересами. Само собою разумеется, что нельзя в данном случае говорить о какой бы то ни было справедливости этого правосудия. Здесь руководствуются судьи «личным усмотрением». Здесь господствует их личный произвол. Если ты — «пролетарий», если ты избранник Божий, к тебе эти судьи отно-

сятся снисходительно. Ты можешь убить человека почти безнаказанно. Но если ты не «пролетарий», а кто нибудь другой, если ты простой смертный, тебе этот суд вынесет смертный приговор за самое ничтожное преступление. Впрочем, тебя могут убить в России даже и без этой судебной комедии. Если ты не пролетарского, а более высокого происхождения, тебя убьют как заложника; убьют за то, что ты родился дворянином. Вполне понятно, следовательно, что в основу всякого суда должна быть положена идея права, а не идея классовых и государственных интересов. И не может, следовательно, истинный суд ограничивать идею права разными причинами и условиями тех или иных преступлений. В противном случае и этот суд превратится в то же злодейство и варварство, которыми отличается так русская (большевистская) судебная действительность.

Ложь этого абсолютного правосудия заключается в том, что очень многие преступления вытекают непосредственно из нашей социальной несправедливости. И никакие суды, и никакие наказания преступников, не будут никогда в состоянии достигнуть в этом отношении хотя бы самого минимального правопорядка. Но в этом виновата уже не сама по себе идея права, а виновата наша общественная несправедливость. Ложь кроется здесь не в идее права, а в некоторых правовых нормах, оправдывающих эту общественную несправедливость. И в правовом порядке трагедия этих преступлений почти неразрешима. Для этого необходимо преобразование общества на началах социальной справедливости; и только в этом случае возможно будет разрешение этих великих трагедий. С преобразованием общества происходит также и преобразование права. И только в этом случае возможно будет думать об истинном правосудии.

Есть точно также и другие преступления, преступления внутреннего и духовного порядка. И большинство из них совершается в какой то другой плоскости, в каком то другом плане, где невозможно какое нибудь внешнее и принудительное наказание. Но, в сущности, и в этих случаях, все эти преступления не остаются безнаказанными. Все

эти преступления искупляются человеком в том же духовном внутреннем порядке. И это самонаказание, это искупление своих грехов, бывает в большинстве случаев более ужасным и мучительным, нежели всякое внешнее наказание. Раскольникову Достоевского было бы, вероятно, легче перенесть каторгу, нежели сознание своего греха и своего преступления. Вот почему и можно думать, что внутреннее искупление тех или иных грехов и преступлений есть несравненно большее наказание, нежели всякое наказание внешнее и принудительное. И, как это ни странно, но не было, кажется, в истории ни одного преступления, которое осталось бы безнаказанным. Таковы уже, вероятно, законы космической жизни, что вслед за преступлением идет и наказание, наказание внешнее и наказание внутреннее.

Теперь появляется следующий вопрос: совершают ли те или иные преступления уже не отдельные личности, а целые нации, общества, государства, а также и всё человечество? На этот вопрос следует ответить положительно. Великие преступления совершают иногда и целые нации и государства. Для этого не нужно становиться даже и на точку зрения анимистов и органистов, учения которых логически дополняют друг друга, и представляющих себе всякую нацию, общество и государство какими то живыми одухотворенными организмами, живущими той же жизнью, какою живет и всякий другой организм и всякая другая личность. Хотя представители этих теорий и видят всё зло в человеке, надо признать, тем не менее, что это зло свойственно и этим общим организмам, именуемым этими мыслителями нациями, обществами и государствами. И все эти «естественные организмы» можно сравнивать во всех отношениях с отдельными людьми, с отдельными личностями. И надо признать также, что положительные и отрицательные качества этих организмов — совершенно разные. И в этом отношении встречаются в истории своеобразные «преступные типы», хотя об этом и не подумали до сих пор ни органисты, ни анимисты. Но вся мировая история подтверждает это положение.

И спрашивается еще после этого: имеется ли Высший судия, который осудил бы иногда *этих* преступников и мог бы вынести им достойный приговор? На этот вопрос очень трудно, разумеется, дать сколько нибудь удовлетворительный общий ответ. Всё это зависит от того, как понимает каждый из нас весь мировой процесс и сущность этого процесса. На этот вопрос могут быть разные ответы. Один из французских мыслителей говорит, например, что всякие несчастья нации, общества или государства есть роковая «расплата за грехи прошлого». Все эти бедствия и несчастья и есть суровый приговор Неведомого Судии. Быть может, это приговор Истории, а может быть, и приговор Судьбы. Но раз эти бедствия и несчастья обрушиваются иногда на человечество, нельзя, конечно, думать, что они обрушиваются совсем беспричинно. В этом есть какой то глубокий смысл, есть какая то великая Тайна, есть вечная Правда Истории.

Одним из величайших преступлений человечества является смертная казнь. И надо думать, что этого преступления никогда не простит людям история. Когда смертные казни совершаются в некультурных странах или же среди каких либо дикарей, ведущих полуживотный образ существования, все эти нечеловеческие явления не кажутся еще такими кошмарными и зловещими. От дикаря и зверя нельзя требовать ничего человеческого, нельзя требовать слишком многого. Понятны еще эти ужасы и в тех случаях, когда они освящаются, например, некоторыми религиями и совершаются во имя Божие — «око за око и зуб за зуб». Заповедь «не убий» более позднего происхождения.

Когда же смертные казни совершаются в мире христианском, это приводит в негодование всякого мыслящего человека. И большинство людей этого христианского мира осуждает это злодеяние, указывая в данном случае на то, что эти убийства, именуемые смертными казнями, устраиваются не народом, а правящими классами. Так думал и Толстой, так думал и Владимир Соловьев... «Не могу молчать!» Эти слова были обращены ведь главным образом к

правительству, а не к народу, все лучшие сыны которого убивались с неподражаемым мастерством русским правительством. Известное выступление против смертной казни Вл. Соловьева, лишившее его университетской деятельности, было не только обращением к народу, но и пламенным протестом против творимых правительством злодеяний. Но в этих ужасах и преступлениях виновны не одни правительства. Кровью убитых обагрены руки и всего народа, где только применялись и применяются эти убийства. Повинен в этом преступлении и каждый человек. Если тот или иной народ не может укротить зверские инстинкты своего правительства, этот народ не имеет права и называться народом. Это ведь не народ, а молчаливое стадо рабов. И человек не имеет права называть себя человеком. Это была бы насмешка над самим собою. Правда, находятся люди, особенно среди правящих классов, которые оправдывают смертные казни именем Христа и христианством, но это ведь не что иное, как самое ужаснейшее кощунство над христианством. И истинный христианин не может этого сказать. Это говорит сатана, называющий себя христианином.

Борьба против смертной казни ведется, в сущности, очень немногими людьми. И очень немногие народы достойны имени народа. Это те народы, которые раз навсегда отменили эти кровавые зрелища. Все остальные люди молчат и до сих пор и косвенно оправдывают эти злодеяния. Молчат и представители культуры. Молчат все люди до тех пор, пока палач не занесет над ними меч и не покажет им веревку. Только тогда они и протестуют. Но это уже не протесты, а жалкие крики отчаяния. Поздно протестовать в это время. Протестовать же раньше они не могут: у них нет смелости для этого.

В числе этих бесстрашных борцов против смертной казни имеется мало имен. И, к чести русского народа, большинство этих имен принадлежит России. Великим человеком считается Виктор Гюго. Его величие — удел немногих. Его «Последний день осужденного» будет являться вечным

осуждением этого великого преступления человечества. «Баллада Редингской тюрьмы» Оскара Уайльда будет вечно передавать нам весь ужас и всю потрясающую трагедию этого кошмарного преступления. В России больше этих имен. Здесь и Толстой, и Соловьев, и Кропоткин. Здесь Леонид Андреев со своим «Рассказом о семи повешенных»; здесь Короленко с «Бытовым явлением»; здесь Герцен со своей замечательной исторической монографией; здесь А. Карелин со своими речами и со своими работами. Много имен, много и литературы.

Но как смеется над людьми История! В стране, где имеется много активных борцов против смертной казни, где осуждается это великое преступление целым народом, в этой стране совершается больше казней, нежели во всей Западной Европе и Америке. Когда было в России царское правительство, тогда была возможна еще некоторая статистика этих убийств. А сейчас невозможна никакая статистика. Официальные отчеты главного штаба русских палачей являются пустыми фразами. Люди убиваются тайно. И ни один историк не в состоянии будет выполнить более точную статистическую работу. Число убитых этими палачами останется тайной для будущих поколений. В этой несчастной стране совершается Пляска Смерти. И музыкальная поэма Сен-Санса кажется в этой русской действительности не Пляской Смерти, а Пляской Безумия. Безумие бледнее Смерти. Трагедия Безумия есть слабый отзвук трагедии Смерти. Картина Беклина «Остров Смерти» кажется в этой действительности каким то полушутливым, полусерьезным наброском. Эта картина производит на многих людей очень сильное впечатление. Но эта картина — пустая картина. Подлинным «Островом Смерти» является в наше время Россия. Там подлинное торжество Безумия и подлинное торжество Смерти. В творениях Беклина и Сен-Санса нет этой подлинности, нет истинного пафоса Смерти.

И всё это совершается в той стране, где властвуют люди, именующие себя защитниками правды и справедли-

вости. И все эти вакхические оргии устраиваются ими этими социалистами не во имя Бога и не во имя религии, а во имя «пролетариата». В кровавых подвалах своих штабов они убивают безоружного человека, убивают виновного и невиновного, и называют эти злодейства «классовой борьбой» Всё это ложь, конечно, ибо они убивают не только аристократию и интеллигенцию, но убивают также и «пролетария». И вся их «классовая борьба» — великая ложь и подлог. У них имеются цели другие. И все их злодеяния имеют другую природу. В России имеется много лиц и много тайных организаций, задавшихся целью сносить с лица земли всё мыслящее, разумное и духовное. В России есть иезуиты. В России есть и Орден Сатанистов. Есть много оснований думать, что многие из нынешних властелинов России принадлежат к этому Ордену Сатанистов. Некоторые из них, будучи еще в эмиграции, посещали сатанинские Черные Мессы в Париже. И все свои вакхические оргии они устраивают не во имя «пролетариата», а во имя каких то других целей. Они совершают их во имя Дьявола, во имя своего Светозарного бога. Если бы они были самыми ужасными преступниками и негодяями, они всё же не устраивали бы подобных сатанинских оргий. Их может устраивать только сатанист. Эту правду начинают понимать уже очень многие люди в России.

И трудно, разумеется, бороться с этими темными инфернальными силами. Для этого необходимы могучие светлые силы, необходима воля и энергия. Необходима новая рыцарская борьба, борьба за полное уничтожение этих демонических сил. Эта борьба ведется, разумеется, в России; она ведется всеми лучшими людьми. Средства борьбы этой — разные. Трудно сказать, конечно, чем кончится эта борьба, кто будет в этой борьбе победителем. Но эта борьба — борьба жестокая и роковая — борьба на жизнь и смерть. В этой борьбе должны погибнуть или одни, или другие силы. Никакого примирения в этой борьбе быть не может. Борьба с этими темными силами определит будущие судьбы России.

Года три тому назад, во время самого свирепого и дикого разгула этих черных сил, казалось иногда, что всё уже потеряно безвозвратно, что всякое сопротивление этим силам будет только великим и героическим самопожертвованием. Это был период упадка сил России, период некоторого пессимизма. И в это время одно русское общество обращалось за помощью к культурным людям Западной Европы. Этим обществом были написаны обращения к некоторым писателям (А. Франсу, Р. Роллану, Г. Гауптману, Г. Уэллсу, Р. Тагору), в которых указывалось на необходимость протеста со стороны западно-европейского культурного мира против этих неслыханных в истории злодеяний. Трагедия этой борьбы с этими черными силами заключалась в том, что это несчастье обрушилось на Россию совершенно внезапно. Всё было разбито и уничтожено. Многие думали также, что все эти несчастья — явления временные. Но оказалось, что это проклятие повисло над страной на долгое время. На этих великих развалинах собирались последние силы России. В это же время и слышен был этот зов о помощи. В настоящее время внутренние силы России значительно окрепли. И эти силы будут крепнуть с каждым днем. Россия понимает сейчас истинную природу большевизма. А раньше были скептики. Многие думали, что большевизм — это благо и справедливость. Многие думали, что это равенство, свобода и социализм. Теперь эти иллюзии рассеялись. Теперь Россия видит, что большевизм — это истинная демонократия (а не демократия), что большевизм — это слезы и кровь, что большевизм — это мрачное шествие безумия и смерти. И если большевизм задался целью совсем уничтожить Россию (в официальном языке большевизма России уже нет), то все его цели и замыслы окажутся, в конце концов, разбитыми и уничтоженными. Быть может, и сейчас уже он чувствует свою гибель.

Волна убийств и казней, прокатившаяся сейчас по России, несколько свидетельствует об этой агонии большевизма. Но все эти казни и убийства не спасут их от приближающейся гибели. Не спасут их и те утопические сред-

невековые пытки, которые проповедуют эти «социалисты» в своих официальных органах. На трупах человеческих никто не может строить своего царства; его не может построить даже и сам дьявол.

В борьбе против восстановления большевиками смертной казни в России первые выступления принадлежат А. Карелину и покойному Ю. Мартову. Эти люди имели смелость выступить открыто против этого подготовляющегося истребления всех лучших сыновей великого народа. И когда партия социалистов-революционеров протестует сейчас против этих убийств и казней, в этих протестах чувствуется какая то глубокая ложь, какое то гнусное лицемерие. Ведь эта партия поддерживала большевизм в восстановлении смертной казни. Искренний и честный человек не может оправдывать это злодейство ни временем, ни пространством. Он отрицает его догматически. У этих же социалистов-революционеров нет никакого идеала; не может быть у них и искренности. Они — реальные политики. Всякая же реальная политика не знает идеалов, не знает никакой морали. В этой политике нет места идеалам; в ней есть мещанская идеология. Ее мораль — мораль бушменов и большевиков. Вопросы смертной казни для них не принципиальные вопросы, а вопросы тактические. Если казнят их противников — это хорошее дело. Если казнят их самих — это плохое дело. Желают сами быть палачами и не хотят, чтобы казнили их. Так поступают и большевики. Когда их арестовывают иногда в Европе и Америке, они называют даже эти аресты «неслыханными злодеяниями буржуазных правительств». Когда же они сами дробят людям головы раскаленным свинцом, это считается подвигом, героизмом и справедливостью. Когда к ним попадает в руки какой нибудь бывший агент-провокатор, они убивают его, как подлеца и негодяя. Когда же эти провокаторы говорят им о том, что и у них есть эти люди, есть еще в большем количестве, нежели в царской охранке, они им говорят на это, что эти люди — герои. Они достойны почестей и славы. Все они — кавалеры ордена Красного Зна-

мени. Есть эта ложь и в партии социалистов-революционеров. Впрочем, эта великая ложь и должна быть у реальных политиков.

Эта же ложь и это лицемерие имеются даже у некоторых анархистов, примыкающих к «классовому» движению. Они протестуют против всех большевистских злодеяний, протестуют против расстрелов «политических», но у них нет смелости выступить в защиту жизни *человека*. Неужели жизнь «политического» оценивается золотом, а жизнь «человека» оценивается грязью? Жизнь «политического» и жизнь «человека» — вполне равноценны. Они требуют свободу слова и печати для себя, для разных социалистических партий и ничего не говорят об этих свободах для других людей. Судьбы политических партий для них важнее судеб человечества. Сущность общественной жизни кроется ведь не в этих политических и социалистических партиях, а в чём то другом и в чём то более глубоком. Все эти социалисты и политики являются пеной общественного моря. Удельный вес этого моря нельзя ведь сравнивать с удельным весом этой пены. Все эти политики и социалисты — вечные фикции, а не живые организмы. В них нет соли жизни. Но эти анархисты думают, вероятно, иначе. Они хотят свободы для себя, для своих «классов» и для товарищей социалистов. Свобода человека и человечества их, очевидно, мало интересует. У них нет смелости выступить раз навсегда против всяких убийств человека. Они протестуют против большевистских разнузданных оргий, против преследований «политических» и сами, может быть, готовы применять подобные убийства в своей «жестокой классовой борьбе с буржуазией». Но это ведь — реальная политика. Это — ложная логика большевизма. Это жалкая мещанская защита своих партийных интересов и интересов «социалистов». Истинный анархист не может думать так, как думают реальные политики и мещане от социализма. Истинный анархист не может бороться за «классы», за те или другие новые сословия. Для него нет этих понятий.

Для него существует человек и человечество, как абсолютные ценности.

И вот теперь, когда устраиваются некоторыми лицами целые походы против того человека, который отдал почти все годы своей жизни на алтарь Освобождения, кто был самым неутомимым борцом против смертной казни, всё это кажется сейчас какой то не человеческой, а сатанинской дерзостью. Эти пигмеи мысли, знания и дела доходят даже до того, что называют его ренегатом. Я не согласен с мнением Карелина о большевистском боге. Это мнение противоречит русской ужасной действительности. Эта действительность противоречит мнению Карелина. Творчество этого бога — зловещее творчество. Быть может, у этого бога и были намерения создать что нибудь доброе, но результаты его творчества всегда оказывались злыми. Гётевский Мефистофель характерен тем, что «вечно хочет зла, но лишь добро творит». А этот большевистский Мефистофель был, вероятно, другим: хотел добра и зло творил. И я не защищаю в данном случае позицию А. Карелина. Она достойна осуждения. Но нельзя осуждать этого человека так, как осуждают его эти лица. Мы можем осуждать его мнение, мы можем критиковать его. Но имеем ли мы какое нибудь право бросать в этого человека камнями? Никто из нас не сделал ведь и сотой доли того, что сделал этот человек. И только плебей духа может злиться и негодовать в том случае, если с ним не согласны другие. Чувства обиды, злобы и мести есть проявления духовного плебейства. И не шипеть, и не пениться нужно в этих случаях, а побеждать своим величием всякую неправду и всякую несправедливость. Плебеи духа — жалкие созданья. Они думают победить других своим шипением и камнями. Но это жестокое заблуждение!

Анархисты — люди будущего. Анархизм — это подлинный духовный аристократизм. И в совершенном анархическом обществе немыслимы люди убогие духом, немыслимы никакие плебеи. Природа будущего — аристократическая природа. И в настоящее время, когда безмолвствует

всё человечество, анархисты обязаны говорить людям о необходимости права на жизнь. Это — их долг. Право на жизнь есть элементарнейшее право человека. И это право человек должен иметь. Борьба против смертной казни — это наш нравственный долг. В этой великой и благородной работе анархисты первыми должны сказать свое слово. В борьбе против смертной казни не грех объединяться и с людьми «буржуазными». Это ведь не дело политических партий, а дело общечеловеческое. И надо думать, что в этой борьбе примут участие все лучшие люди Европы и Америки. Бороться с этим злодейством нужно не только в России, где эти казни совершаются в неслыханных в истории размерах, но нужно бороться с этим варварством в каждой стране, где только существуют эти общественные преступления. Общественное мнение услышит этот голос и, может быть, отметит эти кровавые зрелища. Люди опомнятся, быть может, во время и избегнут еще карающей руки бессмертной Немезиды.

Правительства злодействуют; злодействуют судьи и палачи. Весь христианский мир должен вспомнить учение своего Великого Учителя. И в этой борьбе против смертной казни нельзя призывать человечество к последней расправе над палачами. Убивающий безоружного палача становится сам палачом. Большевики — злодеи и убийцы; они Иуды и Каины. Но христианское сознание не имеет ничего общего с чувствами мести. Христианин не может убивать убийцу. Ты убил человека — значит надо убить и тебя. Такова логика у всех защитников смертных казней. Но это ведь заколдованный круг: здесь нет начала, нет и конца. Никто из нас не знает, кто первый начал убивать. Все эти жалкие софизмы враждебны нашему человеческому сознанию. Этими софизмами оправдываются все убийцы. Не убивать их нужно, этих палачей, а посадить в особый сумасшедший дом. Нормальный человек не может наслаждаться этой ужасной «работой», этими страшными зрелищами. Это не люди ведь, а звери и чудовища.

Не так давно газета «Нью-Иорк Таймс» сообщала о

том, что на Филиппинских островах состоялась первая казнь на электрическом стуле. Американское правительство гордится, вероятно, этим великим техническим достижением. Оно отправило эту «машину» даже на Филиппинские острова. И оно думает, вероятно, что это подвиг и героизм. Неужели человеческая культура заключается в этих электрических стульях и гильотинах? Неужели социализм строится на кровавых подвалах и эшафотах? Неужели мораль человечества строится на всевозможной лжи и нравственной нечистоплотности?..

Необходима борьба с этим злом. Право на жизнь есть величайшая святыня и величайшая ценность. Нет этого права — нет и человека...

1924

РОССИЯ И БОЛЬШЕВИЗМ

Всякие суждения о большевизме кажутся нам в настоящее время несколько странными и неуместными. О большевизме можно было разговаривать только в то время, когда истинная природа его была еще несколько непонятной. Несколько лет тому назад можно было разговаривать также и о самих большевиках. Этих людей не знал никто. Они появились таким образом, как появились некогда в Европе и цыгане: никто не знал этих людей; никто не видел их переселений в Европу, никто не знал, откуда появились эти люди. Никто не знал их прошлого. И появление в Европе этих вечных кочевников и до сих пор кажется нам какою то тайной и загадкой. Этой же тайной кажется нам в настоящее время и появление большевиков, особенно большевиков российских. Правда, все они уверяют нас, что они существуют уже целых двадцать пять лет, но нам что то не верится, чтобы подобные большевики встречались где нибудь в нашем двадцатом столетии. Никто не знал их раньше. Никто не знал их целей и стремлений. И когда они появились в России, они начали уверять людей, что цели их — цели великие и цели благородные. И многие им верили в России. Но жизнь хочет иногда зло посмеяться над людьми. Всё это оказалось какой то ужасной иронией жизни. В конце концов, оказалось, что у этих пришедших людей нет никаких целей, нет никаких стремлений, нет никакого человеческого благородства. Россия приняла их как людей, Россия отнеслась к ним в высшей степени по человечески, но они оказались ужасно неблагодарными. Они ограбили Россию, они разрушили ее до основания, они вос-

становили в ней разные пытки и казни, и основали на ее развалинах свое ужасное антихристово царство.

Само собою разумеется, что всякие суждения о большевизме должны казаться после этого каким то доисторическим анахронизмом. Все эти вопросы выяснены в достаточной степени. И всех этих вопросов не приходилось изучать России: ей пришлось пережить их. И нам, русским людям, кажется сейчас, что в этом отношении не может быть уже никаких споров и рассуждений. Так думают, вероятно, и многие европейцы, которым приходилось жить в России, которым приходилось видеть иногда эту великую Голгофу, это великое лобное место, где происходит истребление целого великого народа. И, видевший эту Голгофу, увидит подлинное лицо большевизма. И он поймет тогда, что это есть не революция, а есть что то другое, чего, быть может, еще и не было в истории. И он поймет тогда, что в этом варварском социализме имеются цели иные — цели ужасные и демонические. Слишком ужасны уж их средства. Являясь верными потомками Лойолы, эти большевики не знают никаких границ в своих кровавых вакханалиях. Бешеная разнузданность некоторых римских императоров кажется в данном случае какой то детской забавой, какой то легкой игрой людьми. И всякий искренний и честный человек, увидевший хотя однажды эти зрелища, не будет больше разговаривать о большевизме. Этот человек оденет рыцарские доспехи, вооружится мечом и копьем и будет очищать землю от этих адских чудовищ и лярв.

Но могут быть, конечно, и другие люди. Есть на земле потомки Каина и Иуды. И если эти люди хотя однажды видят свое царство, они становятся в тех случаях самыми яркими глашатаями большевизма, они становятся его певцами и герольдами. И, разрывая на себе одежды, они будут клятвенно уверять людей, что это есть великое освобождение народов, что это есть свобода и равенство человечества. Само собою разумеется, что они не скажут людям

того, что это освобждение есть освобождение от всего; не скажут они людям и того, что это равенство есть равенство в гибели и смерти. Такова истинная природа и большевистского равенства, и большевистского освобождения.

Но есть еще иные люди. Они, быть может, искренно стремятся к лучшему, быть может, совершенно искренно они ненавидят всякое насилие и всякую несправедливость. Они готовы преклоняться перед всякой революцией; они, повидимому, думают, что всякая революция есть новый шаг к всеобщей справедливости. Вполне понятно, следовательно, почему они сочувствуют также и большевизму. Но все эти сочувствия — сочувствия бессмысленные. Истинное несчастье этих людей заключается в том, что они не знают подлинного большевизма: они изучают большевизм по большевистским газетам и по всевозможным большевистским декламациям. Но если бы они увидели всю большевистскую действительность, тогда они, очевидно, поняли бы, что большевизм вызывает в людях не чувства радости и восхищения, а вызывает в них чувства ужаса и отвращения. Тогда они поняли бы, очевидно, что большевизм это есть подлинное безумие. Таких людей в Европе было много. В настоящее же время таких людей уже нет. Имеются либо противники, либо сторонники большевизма. Людей, сочувствующих большевизму в Европе уже нет. Таких людей и быть не может.

К числу тех лиц, которые знают большевизм только по газетам, знают его по декламациям различных большевистских болтунов, принадлежит, повидимому, и американец Скотт Ниринг. Серьезные европейские люди не говорят сейчас о большевизме. О большевизме говорят в Европе самые праздные и легкомысленные люди. Говорят о нем также и русские люди. Но эти и не могут молчать: это их болезнь, от которой необходимо так или иначе излечиться. Европа не находит в большевизме ни революции, ни эволюции: она видит в большевизме только какой то погром. Для русского же человека большевизм является каким то

великим несчастьем, какой то ужасной социальной катастрофой, каким то недоразумением истории. Мы знаем, разумеется, что эта катастрофа изживется; русский общественный организм перенесет, в конце концов, эту ужасную и мучительную болезнь и будет в этом случае и более устойчивым и более здоровым.

Что же касается американцев, то они не знают, очевидно, подлинного большевизма; они не знают, вероятно, и того, что эта социальная болезнь не имеет ничего общего ни с социализмом, ни с социальной справедливостью. Это незнание русской действительности и вводит, очевидно, многих из них в какое то ужасное заблуждение в суждениях о большевизме. И, когда мы знакомимся с мнением Ниринга о большевизме, нас очень удивляет то обстоятельство, что люди, не зная положения вещей, не зная и объекта своего суждения, осмеливаются иногда выступать даже открыто со своими мыслями и со своими суждениями[1]. Сочувствие революциям, сочувствие освобождению человечества — вещь в высшей степени прекрасная и благородная. Но когда люди думают, что всякие погромы, всякие социальные болезни и катастрофы являются действительными революциями, являются некоторыми положительными факторами истории, тогда это сочувствие превращается во что то неподражаемо-комическое. И эти люди кажутся нам рыцарями благородными, но только самого комического образа. Нельзя ведь в самом деле назвать серьезным того человека, который не может разобраться в том, где происходит революция и где происходит какой то погром. Все эти люди — очень смешные, конечно. И кажется нам также, что этого не понимает и Ниринг. Он утверждает почему то, что эта страшная катастрофа, обрушившаяся волею каких то судеб на Россию, является подлинной революцией, является преддверием социализма.

---

[1] Can the Soviet Idea Take Hold of America, England and France? Bertrand Russel versus Scott Nearing. The League for Public Discussion. New York. 1924.

Ниринг является, повидимому, довольно ортодоксальным марксистом. Большевизм для Ниринга есть некая логическая эволюция капитализма. Большевизм для Ниринга — судьба и неизбежность. Экономическая структура общества порождает, по его мнению, и соответствующие политические, моральные, эстетические и правовые формы нашей общественной жизни. И в этой очевидной нелепости грешен, конечно, не один Ниринг. Об этом декламируют все положительно марксисты. Это их символ веры. Но если бы мы согласились с этой точкой зрения, тогда никакое социальное движение в России не нашло бы себе оправдания. И если Ниринг называет большевизм каким то переходным состоянием, какой то предсоциалистической эпохой, то с этой точки зрения большевизм немыслим был бы там даже и в теории.

В России не было капитализма. И всякая мечта о возможности осуществления социализма в России должна была бы казаться безумной. С этой точки зрения подобная переходная эпоха была бы возможна только в таких странах, как Англия или Америка. Но все эти марксисты — какие то странные люди. Разные измышления Маркса, этого удивительного филистера, они принимают за некоторые универсальные истины и верят в эти измышления несравненно больше, нежели верят католики в свои религиозные догмы. Учение своего Маркса они называют иногда даже какой то научной системой. Но в самом деле же это учение является только каким то идеологическим шарлатанством. В еврейской мистике имеется одно оригинальное течение, известное под именем кабалистического. Всякая мистическая система имеет свои недостатки. И эти недостатки заключаются в том, что социальные вопросы не входят большей частью в сферу мистического разрешения. Этот недостаток имела также и кабалистическая система. Но, с появлением учения Маркса, этот пробел был замечательно заполнен. И современные кабалисты могут гордиться сейчас тем, что их мистическая система способна разрешить и социальные вопросы. Ничего другого в этом учении нет.

Ниринг считает, например, что советская форма правления есть совершеннейшая форма переходного состояния общества. «Советская форма правления, — говорит он, — есть форма временная и переходная; советская форма правления есть мост над пропастью между капитализмом и социализмом. Советская форма правления не есть социалистическая или коммунистическая форма. Советская форма правления есть переходная форма». Ниринг считает также, что эта форма есть форма истинно демократическая. Он почему то думает, что все эти советы «избираются трамвайными рабочими, учителями, строительными рабочими и металлистами». Но в этом утверждении кроется, в сущности, только ужасное искажение действительности. Читая большевистские газеты, Ниринг в самом деле, вероятно, думает, что и в России, так же, как и в Америке, существует какая то выборная система. Но эта выборная система существует только в большевистских газетах. Никакой выборной системы нет в России. В России есть только самая свирепая, самая разнузданная, самая бесконтрольная большевистская диктатура. И вся эта газетная выборная система существует там только для одурачивания многих наивных людей. К числу этих людей принадлежит отчасти и Скотт Ниринг. Ниринг ссылается еще и на следующий девиз: «Не трудящийся да не ест». Но он не знает, очевидно, того, что этот девиз — девиз фальшивый и лицемерный. Трудящийся голодает в России: он умирает иногда голодной смертью. Опричники, торговцы и властители — имеют всё необходимое.

В конце концов, Ниринг еще заявляет, что, когда западно-европейский капитализм потерпит некоторое крушение, тогда осуществится подобная форма правления и в Европе. И в этом он находит, очевидно, нечто разумное и вместе с тем необходимое. В этой ужасной социальной катастрофе он, очевидно, находит какой то прогресс человечества. Но если Ниринг считает всё это прогрессом, какой то неизбежностью истории, то в этом случае возможно

говорить уже не о прогрессе человечества, а можно говорить только о смерти его.

Известный английский ученый Бертранд Россель понимает иначе всю эту русскую действительность. Это и объясняется, быть может, тем, что он однажды был в России и ознакомился, быть может, несколько с этой русской действительностью. Большевизм, по его мнению, есть варварство и деспотизм. И Россель думает, что этот деспотизм немыслим ни в Европе, ни в Америке. Этот деспотизм возможен, по мнению Росселя, только в очень отсталых и некультурных странах, к числу которых Россель относит и Россию. Большевистское правление в России Россель сравнивает с правлением Кромвеля в Англии. «В кромвелевской форме правления, — говорит он, — имелось много вещей, которые были типичными и в большевистской революции. Кромвелевская армия называлась Армией Святой; русская же армия названа Армией Красной». «Во главе кромвелевского правления была Пуританская партия; а во главе советского правления находится Коммунистическая партия».

И Россель вполне прав, конечно, когда говорит, что не может быть и речи о какой бы то ни было демократии в России. Строго говоря, нигде немыслима и невозможна чистая демократия. Демократии нет нигде. Демократия это то, чего в действительности нет, чего и быть не может никогда. Демократия это есть миф и абстракция. В действительности может быть либо аристократия, либо охлократия, либо господство лучших, либо господство худших. Это последнее господство и наблюдается сейчас в России; это последнее господство было в России и до революции. Под демократией люди понимают обычно нечто среднее: демократ — это не лучший и не худший. В демократии нет реальности; в ней нет ни формы, ни содержания. Демократия чистое понятие; но образа демократия не имеет. Демократия свойственна мещанству. Мещанство тоже не имеет образа. Мещанин тоже — и не худший, и не лучший. И всякий мещанин — безличен. И никогда в истории не было

случая, чтобы демократия была бы какой то реальностью, была бы каким то живым организмом. Многие социалисты и политики называют демократией разные выборные системы. Но все эти системы, все эти наши парламентаризмы нельзя назвать демократией. Это не демократия. И в этих случаях господствуют либо лучшие, либо худшие. Ничего среднего здесь нет и быть не может. И всякие суждения о демократии являются суждениями праздными. Природа нашего бытия не знает никакой демократии. В природе нет понятий; в природе нет безличного начала. В природе есть образы, личности и реальности. В ней есть либо хорошее, либо дурное. Всякое безличное понятие есть понятие крайней пассивности; всякая же пассивность побеждается началами активными, началами и добрыми и злыми.

В России господствуют худшие. Но это не значит в данном случае, что большевизм принят всем русским народом. Жестоко заблуждается и Россель, когда думает, что большевизм оправдан этим великим народом, и что его существование в России — вполне понятно и возможно. Его нельзя оправдывать в России ни кабалистикой Маркса, ни некультурностью народа. Об экономическом детерминизме Маркса не может быть и речи в данном случае. Разные его измышления нельзя ведь принимать серьезно. С этим согласен и Россель. «Формула Маркса, — говорит Россель, — формула очень простая. Но мир устроен не так просто». Важнейшим фактором нашего социального прогресса является наша духовная жизнь. Сюда относятся, по Росселю, самые разнообразные проявления этой духовной жизни. Религия, мораль, эстетика, философия, право — являются важнейшими основами прогресса. Мы знаем, говорит Россель, что существует громадная разница даже между двумя индивидуальностями: что приемлемо для одной, то неприемлемо для другой. То же самое наблюдается и в жизни целых народов, и в жизни целых наций. И надо быть слепым и дикарем, чтобы не видеть этого великого разнообразия жизни; чтобы не видеть разных целей человечества и разных путей к этим целям. Но ограниченный ум Марк-

са этого не понимал. Ему хотелось думать, очевидно, что и весь мир является какою то примитивной машиной. Ему хотелось всё механизировать. Ему хотелось, может быть, объяснить даже и происхождение человека своим экономическим детерминизмом. Человек Маркса — фаустовский гомункул. Подлинного человека — эту великую онтологическую реальность — Маркс никогда не знал. Этим и объясняется, очевидно, убожество его мысли.

Осуществление в России большевизма объясняется по Росселю, самыми разнообразными причинами: причинами религиозными и историческими, причинами политическими и правовыми. Русская культура является, по его мнению, культурой по преимуществу наследственной. В ней воплотились многие традиции Византии, в ней воплотились традиции греческой цивилизации, в ней воплотились также и многие традиции Римской Империи. «Русская цивилизация — цивилизация религиозная, цивилизация гонимая, цивилизация централизованная». Русская церковь была слугою государства. «Всякое же подчинение церкви государству свидетельствует о существовании деспотизма». «То же самое, говорит Россель, наблюдается и в большевизме: большевистский режим представляет собою государство; Третий интернационал представляет собою церковь».

Само собою разумеется, что между монархизмом и большевизмом нет, в сущности никакой разницы; природа их — одна и та же. Нет никакой разницы также и между старой церковью и большевистским интернационалом; последний только больше фанатичен. Поэтому Россель и думает, очевидно, что этот восточный деспотизм принял лишь новые формы; и в этой перемене формы деспотизма Россель не видит, очевидно, никакой трагедии. С одной стороны, это и так, быть может. С другой же стороны, мы видим нечто противоположное. Русский народ не принимает и не оправдывает большевизма. И все эти восточные традиции не живут в русском народе так сильно, как думает об этом Россель. И русская культура не является чи-

сто восточной культурой, она является культурой синтетической; она воплощает в себе и культуру Востока и культуру Запада. И в этом заключается ее подлинная красота. И, когда Россия переживет свою великую катастрофу, ее культура достигнет, вероятно, тех высот, которые неведомы были ни Греции, ни Египту, ни Риму, ни современной Европе. Россия почти не имеет прошлого. Но будущее принадлежит ей.

Существование большевизма в России нельзя оправдывать ни именем народа, ни именем русской культуры. Утверждать же противоположное — это значит не знать ни того, ни другого. Сам по себе факт существования большевизма еще ничего не доказывает. Природа русского народа — природа свободолюбивая. Такие люди, как Бакунин, Кропоткин и Толстой, почему то еще не родились в Европе. Русский народ, как таковой, никогда не оправдывал деспотизма. Не может он, тем более, оправдывать и большевизма. Русский народ — народ какой то апатичный. Об этом говорит и Россель. Всему Востоку свойственна эта апатия. Это и есть важнейшее условие существования большевизма в России.

Наряду с этим, в русской истории никогда не было рыцарства. И рыцарство, как таковое, совсем неизвестно русскому народу. И в этом, с нашей точки зрения, есть величайший недостаток этого народа. Если бы в нем жил рыцарский дух, тогда не могло бы быть никакой речи ни о деспотизме, ни о большевизме. Подлинное рыцарство является передовым отрядом нации. Оно стоит на страже чести человеческой и человеческого достоинства. Душе русского человека свойственна кротость и смирение; этой душе свойственно также и примирение с судьбою. Всё это свойственно, впрочем, и всякому другому христианину; всё это свойственно и буддисту. Величайшего же завершения человеческая личность достигает только в том случае, когда находят в ней воплощение и начала рыцарские, и начала христианско-буддистские. Рыцарских начал не было в русском народе. Этим и объясняется, главным образом,

его примирение со всяким злом, со всяким деспотизмом. Но это примирение со злом не имеет ничего общего ни с оправданием, ни с утверждением зла.

Наряду с этим не надо забывать того, что революции «не делаются по заказу»; ни одна революция не может быть продуктом чистого ума; во всякой революции имеются стихийные начала; они базируются часто на инстинктах. Всё это знают разные политики-авантюристы. И все эти авантюристы никогда не взывают к разуму человека: они взывают к его чувствам и страстям. Они обещают человеку то, что ему только нужно; все блага рая они обещают людям. Когда же они достигают своих целей, они устраивают ад для этих легковерных людей. Взамен богатства, роскоши и довольства они приносят людям насмешки, нищету и голод. Всё это было и в России. Россия находилась в состоянии войны; хозяйственная жизнь была полуразрушена; в России было всеобщее недовольство. Большевики воспользовались этим состоянием. Они говорили солдатам: вы не хотите воевать? Поддерживайте нас, и мы заключим мир. Солдаты не хотели воевать. Соблазн мира был слишком великим соблазном. Но эти несчастные солдаты и не подозревали того, что, предоставив власть большевикам, им придется воевать еще больше.

Русским крестьянам они говорили: вы хотите отнять землю у помещиков? Поддерживайте нас; мы предоставим вам всю землю. Но эти крестьяне и не подозревали того, что большевики готовят им голод и нужду. Русским рабочим они говорили: вы хотите лучших условий? Поддерживайте нас и вся наша промышленность будет в вашем распоряжении. И эти рабочие поддерживали их; эти рабочие думали, что с ними разговаривают люди честные и искренние.

Русский народ любит честность; ему противно лицемерие, ему противен обман. Народ поверил этим проходимцам и оказался обманутым. И теперь... теперь даже страшно и думать о том, как живут эти крестьяне и рабо-

чие. Городской черни эти большевики говорили: вы хотите получить богатства? Поддерживайте нас и мы пойдем с вами «грабить награбленное». Такова сущность большевистской «революции». Одних они обманули, других прельстили буржуазными богатствами (деньгами, мягкими постелями, роскошными квартирами и дорогими шубами) и совершили таким образом свою «октябрьскую революцию». Когда же эти проходимцы укрепили несколько свое господство, все они начали просто смеяться над всеми своими обещаниями. Всех они сделали нищими; к этому они, повидимому, и стремились. И всё дальнейшее господство этих таинственных авантюристов, не имеющих ни родины, ни истории, ни культуры, сводится к каким то оргиям и вакханалиям. Все они оказались простыми ворами, грабителями и убийцами. И если кто нибудь способен видеть в них каких то революционеров, необходимо в этом случае считать таким же революционером и всякого другого уголовного преступника.

И если Россель говорит о том, что большевизм возможен только на Востоке, мы можем согласиться с ним, конечно, в этом отношении. Но он возможен там не как продукт духовного развития народа, а как некая великая социальная катастрофа, как самое ужасное несчастье; он мыслим так, как мыслим и самум в пустыне. Если же кто либо утверждает противоположное, тогда необходимо думать, что история не идет по пути прогресса, а возвращается к варварству, к какому то полуживотному состоянию. И если это так, то не избежать этой печальной участи и всей Европе, которая не оправдывает большевизма для себя, и хочет оправдать его для Востока.

В Европе и Америке не может быть, конечно, большевизма. Эти народы более зрелые политически. Они не позволят, разумеется, разным авантюристам, ворам и торговцам так обмануть Европу и Америку, как удалось им обмануть Россию. И они не найдут в этих странах никакой поддержки. И в этих странах этим людям делать нечего. Очень возможно, разумеется, что им удастся еще где ни-

будь на Востоке обмануть какой нибудь народ, как обманули они и Россию, но надо думать, что всякое господство их будет господством действительно временным.

И если еще в настоящее время находятся люди, подобные Нирингу и декламируют о всевозможных прелестях советского правления, мы великодушно предоставим этим людям все эти советские идеи, все эти идеи большевистские и будем делать всё от себя зависящее, чтобы очистить землю от этого ужасного варварства и злодейства. Пусть себе Ниринг думает, что это есть особый род демократии или особый род социализма. Нам не нужны подобные социализмы. Такой социализм продолжался в России уже больше трех столетий...

1924

СТРОИТЕЛИ НОВОГО ВАВИЛОНА

Подлинная красота анархического идеала заключается в том, что в основание его положены какие то космические, какие то универсальные начала. Этот идеал не является чем то застывшим и окаменелым. Этот идеал является отображением вечно живой, вечно неумирающей жизни, является ее прообразом, ее бессмертным символом. В известном смысле слова, этот идеал является душою жизни, ее духовной сущностью, всем ее внутренним содержанием. Сама по себе жизнь вещей является одной лишь стороной Бытия: она является миром реальностей, является лишь формами организованной материи. Другая же сторона Бытия является духовной стороной: она является внутренним содержанием этой жизни, является миром идей и миром ирреальностей. Анархический идеал и является в данном случае этой второй стороной Бытия. Он является внутренним планом космической жизни, ее законами, ее необходимостью.

Источники анархизма лежат, следовательно, не в политической, не в социальной и даже не в материальной плоскости, а в плоскости духовной, в плоскости онтологической. Анархизм начинается там, где начинается Бытие. Он не является выдумкой человека: он не является теорией, он не является учением, он не является, тем более, программой. Разные программы, учения и теории являются выдумками человека. Во всех этих выдумках нет никакого содержания: ни содержания духовного, ни содержания материального. Все эти выдумки — пустые формы. Все они преходящи и смертны, как смертны и творцы всех этих выдумок. Иначе, впрочем, и не может быть: смертный не

может создать вечного. Вечное создает лишь тот, кто не подвержен смерти, в ком воплотился дух Вечности. Вечное создает тот, кто проникает в духовную сторону бытия, кто постигает его сокровенные тайны, кто переносит начала Вечности во время и пространство, кто облекает все эти начала в различные материальные одежды. Только такое творчество может быть вечным. И когда творец вечного переносит все эти духовные явления в материальный мир, он не создает новых учений и новых вещей. Всё это существует в другом плане Бытия. Он открывает нам лишь подлинное бытие вещей. Ни Рафаэль, ни Микель-Анджелло, ни Леонардо да-Винчи, ни Вагнер, ни Бетховен не создавали, в сущности, новых вещей. Их творчество является лишь отражением мира идей и мира ирреальностей. Всё это является, в сущности, только познанием Бытия. Но в этом познании нет ни учений, ни теорий. Многие изучают музыку и живопись, но никто не стал еще Бетховеном и Рафаэлем. Этому творчеству научиться и нельзя: здесь нет науки, нет теорий, нет ничего такого, что можно было бы постичь и изучить. Постичь мы можем выдумки, постичь мы можем то, что создается смертным.

Все эти жалкие выдумки мы называем часто разными теориями и системами, но в этих системах и теориях нет ничего, кроме различных измышлений. За всеми этими системами имеется одна лишь пустота. Они не имеют ничего общего ни с духовной, ни с материальной жизнью. И жизнь никогда не оправдывала этих выдумок и никогда не может оправдать. Вполне понятно, следовательно, почему все эти теории разбиваются вечно о твердыни жизни и никогда не могут воплотиться в нашей реальной действительности. Все они являются бесконечно-меняющейся кинематографической лентой. Все они меняются, все они проходят, все они умирают рано, не оставляют после себя на земле даже и своих следов. И поистине жалкими и безумными кажутся все те люди, которые объясняют невозможность осуществления своих систем и учений разными социальными и историческими обстоятельствами. Все они не понимают

того, что все эти системы и теории не могут быть ничем другим, кроме теорий и систем. Они будут зарождаться, будут умирать, но сущность их не может измениться. Все они будут вечными выдумками человека. Природу всех этих теорий и систем прекрасно понимал Гёте. В своем бессмертном «Фаусте» он где то говорит: «Теория — седа, а древо жизни вечно зелено». Но если бы Гёте сказал, что всякая теория — мертва, он еще лучше определил бы природу всех этих теорий и систем.

Когда же разные социалисты и политики, все эти общественные авантюристы, носятся со своими всевозможными программами, учениями и теориями, всё это кажется чем то смешным и вместе с тем трагическим. Многие из них являются, ведь, чистыми авантюристами; все они знают цену всем своим программам и теориям. Они знают прекрасно, что все эти теории, теории политические и экономические, не стоят даже и гроша. Такою же ценою оцениваются, в сущности, и разные социалистические системы и учения. Но все они принимают вид людей серьезных и размышляющих и носятся, как сумасшедшие, со своими планами и программами среди наивных и необразованных людей. Для этих лиц политика стала своего рода профессией. Политика, повидимому, очень доходное и выгодное дело. Все карьеристы являются политиками, а все политики являются карьеристами. Сюда относится и большинство социалистов. Жестоко заблуждаются те люди, которые способны думать, что социалисты — это какие то лучшие люди. Социалисты не лучшие люди, а люди худшие. Так же, как и другие политики, все они являются строителями нового Вавилона, являются строителями какого то ужасного сумасшедшего дома.

Но есть ведь и другие люди. Они самым серьезным образом проповедуют людям разные политические учения и думают совершенно искренно, что все эти учения являются какою то правдою жизни. Многие из них самым серьезным образом носятся с планами социального рая и верят совершенно искренно в возможность его осуще-

ствления. И в этом есть, в сущности, какая то своеобразная трагедия. Эти несчастные люди, не зная подлинного человека, не зная Бытия, не зная даже социальной жизни, хотят вложить в свои нелепые программы всю нашу жизнь, всё наше Бытие. Они не знают ни себя, ни мира. Они мечтают о свободе, но никто из них не знает, что такое свобода, и что такое несвобода. Свободы подлинной они не знают; они не знают даже, где начинается эта свобода. Для этих людей существуют только реальные вещи; вещей духовного порядка никто из них не знает. Они, повидимому, думают, что социальные вопросы разрешаются просто и примитивно. Узел социальной жизни они хотят развязать по способу Александра Македонского.

Учения этих людей — учения разнообразные. Одни из них верят в судьбу, верят в экономическую эволюцию; другие же из них верят в насилие и революции; а третьи верят в парламентаризм, во всевозможные законодательные учреждения, а иногда и в «диктатуру пролетариата». Но все эти программы и учения являются теми же жалкими выдумками. Мы знаем эволюции, мы знаем революции, мы знаем разные парламенты, мы знаем даже «диктатуры пролетариата», но мы не знаем еще этого социального рая. Этого рая мы никогда и не будем знать, если люди будут разрешать так социальные вопросы. Такое разрешение их — разрешение пустое и бессмысленное. Все цели их являются выдумками и все пути их к этим целям являются подобными же измышлениями.

Экономическая эволюция — выдумка разных консерваторов; насилие и революции — выдумки революционных романтиков и энтузиастов; парламентаризм и законодательства — выдумки различных государственников. Истинная трагедия этих людей заключается в том, что в их сознании мир отражается как некоторая сумма различных механических явлений и вещей; в нём отражается лишь внешний мир, мир осязаемый и видимый. Другого мира они не знают. Они не знают, следовательно, и самой жизни: не знают ее сил, ее законов и ее направленностей. В

мире реальных вещей они видят подлинное Бытие, а в Бытии видят только реальные вещи. Их восприятие мира — самое ограниченное и примитивное восприятие. И все социальные вопросы они думают разрешить поэтому таким же примитивным способом. Им, может быть, хотелось бы сравнять всю поверхность земли, но они не знают, вероятно, того, что в ее недрах имеются могучие огненные стихии, которые в одно мгновение превратят всю их бессмысленную работу в какие то обломки и развалины. Они хотят отнять богатства у богатых и думают, что после этого все бедняки станут людьми богатыми и счастливыми. Они не знают того, что чужое богатство не может никого сделать богатым и счастливым.

Истинное богатство должно создаваться, а не отниматься у других людей. Не научится человек создавать богатства — он останется вечным бедняком. В грабежах нет красоты, нет никакого подвига. Подвиг и красота имеются только в творчестве. Истинно богатым является не тот, кто обладает чужим достоянием, а только тот, кто обладает самим собою, кто обладает своим творчеством. Истинное богатство не заключается даже в явлениях материального порядка, а заключается в духовной красоте и в духовном величии. Франциск Азисский был самым бедным человеком на земле, но вместе с тем он был самым богатым человеком. Он не имел ничего, но вместе с тем он имел всё. Быть может, истинное богатство и заключается в преодолении вещей материального порядка. Не иметь ничего — это значит преодолеть все эти вещи, возвыситься над ними; а в этом возвышении над ними и есть ведь, в сущности, и подлинное обладание вещами. В данном случае уже не вещи будут господствовать над человеком, а человек будет господствовать над вещами. Ибсен устами своего Бранда говорил когда то, что, только всё теряя, человек всё обретает, что только то является вечно нашим, что умирает навеки для нас. «То лишь, что умерло, вечно твое». В его словах имеется глубокий смысл, имеется какая то вечная правда. Эти же социалисты и политики думают так-

же, что достаточно предоставить какому нибудь пролетарию аристократические условия жизни и этот пролетарий станет истинным аристократом. Так думают все эти наивные мечтатели. Но они не знают того, что для преображения земли необходимо прежде всего преображение духа. Для этого необходимо постижение жизни, ее законов, ее внутреннего содержания. В противном случае, все эти реформы, эволюции и революции будут являться лишь вечными фикциями и иллюзиями, а все эти мечтатели будут являться бессознательными помощниками сознательных строителей нового Вавилона.

Если бы кому нибудь из них удалось осуществить хотя бы временно все свои выдумки и программы, если бы им удалось осуществить свой социальный рай, то этот рай и оказался бы их Вавилоном. Их социальный рай — это какой то ад и сумасшедший дом. Ничего другого они и не могут создать. Русская революция является, быть может, самым поучительным примером в этом отношении. Большевики ведь тоже думали, что достаточно убить всех богатых, достаточно разграбить их имущество, достаточно убить всех образованных, и вся их пошлая социалистическая выдумка станет реальным явлением. Уроки прошлого же говорят о том, что социальное зло кроется, повидимому, не в богатых и не в образованных. Богатых и образованных они почти уничтожили, но всё же не осуществили своих пошлых выдумок. Путем насилия и крови они хотели навязать жизни все свои фикции и измышления, хотели навязать ей социальный рай, но ничего, кроме сумасшедшего дома, они и не устроили. Свобода их оказалась рабством, а все богатства их в действительности оказались нищетой. Всё это и должно было случиться. Во всех этих жестоких превратностях была какая то неумолимая неизбежность. Раз все их выдумки не были оправданы жизнью, раз все их измышления не были приняты и оправданы целым народом, раз они не были внутренней необходимостью людей, всякое насильственное осуществление их и должно было вызвать соответствующий хаос и соответствующую

реакцию. И все подобные осуществления этих выдумок являются не светлыми явлениями в нашей социальной жизни, а самыми дурными и хаотическими явлениями.

Нечего уже говорить о том, сколько людей они убили во имя своего бреда, во имя своих сумасшедших выдумок. Если бы и в самом деле этим безумцам удалось осуществить свой социальный рай, то и в этом случае все эти жертвы никогда не были бы оправданы. Вопрос, стоявший в свое время перед нашим незабвенным Белинским, во всей своей строгости стоит еще и перед нами. Если прогресс человечества основан лишь на жертвах, на костях и крови, возможно ли оправдывать этот прогресс, когда он покупается такой дорогой ценой? Быть может, он не стоит даже и слезы ребенка?

Но все эти жертвы и слезы оправдывают все эти одержимые безумием люди. Все они признают жертвоприношения. Только все эти жертвоприношения совершаются ими не в той возвышенной мистериально-поэтической форме, как совершались они некогда в до-христианском мире, а в формах отвратительных и самых безобразных. Здесь нет ни ритуалов, ни мистерий; здесь нет ни жертвенников, ни жрецов. Здесь нет даже каннибализма, который, строго говоря, уж больше следует оправдывать. Людоед убивает человека с какими то определенными целями: он убивает его просто ради наполнения своего собственного желудка. Но все эти безумцы убивают человека во имя какого то прогресса, во имя какого то будущего, какого то выдуманного человечества. Человечества настоящего они не знают и не хотят знать. Для них существует какое то отвлеченное, какое то фиктивное человечество. Реальные вещи они делают какими то мистическими вещами, а все явления мистического порядка им хочется сделать какими то реальными явлениями. В этом и заключается их безумие, безумие их выдумок, безумие их целей, средств и достижений. Свой сумасшедший дом, хотя бы даже социалистический, все они начинают строить с вершины, а не с основания. Вполне понятно, следовательно, почему рушатся

вечно их здания, и почему при падении всех этих вавилонских столпотворений погибают в большинстве случаев и сами их строители.

Египетская культура является самой древнейшей и самой величественной культурой. Никто не знает до сих пор, где начинается эта культура, сколько тысячелетий насчитывается в ее долгой жизни. Позднейшие культуры имели очень кратковременную жизнь. Все они умирали очень рано. Они умирают теперь и будут умирать в будущем. Такая же долгая жизнь египетской культуры не объясняется, очевидно, чем то случайным. Египет знал Вечность. Египет знал Сфинкса. Сам Сфинкс — лишь символ Бытия. Знать тайны Сфинкса — знать тайны подлинного Бытия. И тайны Сфинкса были известны Египту. Египет знал Феникса, являвшегося символом вечной жизни. Позднейшие культуры не знают ни Сфинкса, ни Феникса. В этих культурах нет начала Вечности, все они, следовательно, смертны. Умерла, конечно, и египетская культура, но она не исчезла бесследно. Она и не могла умереть смертью всего смертного, если в ней жил некогда дух Бытия, дух Вечности. Эта культура умерла тогда, когда египтяне возненавидели Вечность и возлюбили Смерть. Царица Клеопатра видела Египет умирающим. «Я умираю, — говорила она, — Египет умирает»...

В позднейших культурах встречаются очень редко дети Вечности. Все остальные люди, одни сознательно, другие несознательно, отвергают всякие вечные ценности, отвергают всякие явления духа, гасят светильники божественного света, срывают печати на вратах царства тьмы и хаоса и начинают устраивать в этом хаосе разные бесовские пляски, напоминающие собой шабаш ведьм, чертей и колдунов. Все они ненавидят Вечность, все они презирают Бессмертие. Вполне понятно, следовательно, почему и все мировые явления они желают сделать смертными. Всё они хотят сделать чем то случайным и механическим. Даже самого человека они хотят сделать каким то бессмысленным автоматом. К этому стремятся, в сущности,

и все политики, и все социалисты. Быть может, многие из них и думают, что им удастся переустроить всё мироздание, что им удастся вложить Бытие в какие то идиотские выдумки. Но этим людям не удастся ничего создать. Они способны создать лишь новый Вавилон. Ничего другого они создать не в состоянии. Их социализм и не может быть чем то другим. Он и должен быть новым Вавилоном. И если, по Евгению Сю и Достоевскому, Христос уступает свое место на земле Великому Инквизитору, всё это, кажется нам иногда, так и должно быть. Вавилон отвергает Христа и признает лишь Инквизитора.

* * * *

Но в этом хаосе и безумии есть и какой то неземной свет. И этот неземной свет исходит из глубинных источников Бытия. Природа этого света — природа не материальная. Этот свет исходит от огня небесного, огня неугасаемого. Хотя многие анархисты и не считают себя христианами, но, в сущности, ведь, анархический идеал и является «светом Христовым». В основу анархического идеала положены, ведь, не материальные начала, а начала возвышенные и духовные. Анархическое познание, сказал бы Платон, является воспоминанием того, что мы когда то видели в божественном миропорядке. Анархизм не является выдумкой разных чертей, разных освободителей человечества, а является проявлением космических законов в материальном плане Бытия. Анархисты знают, что невозможно освободить человека. Его можно освободить физически, но его нельзя освободить духовно. Раба можно освободить от цепей и от палки погонщика, но от духовного рабства его освободить нельзя. Истинное освобождение является самоосвобождением. Истинная свобода не дается и не получается: она рождается от нашей внутренней необходимости. Вот почему анархисты и не говорят людям о том, что они желают освободить человечество. Они не обещают никому свободу. Они не могут дать свободу никому. Истин-

но свободным может быть лишь тот, кто сам освободил себя от всякого зла и от всякого хаоса. Это есть подлинное освобождение человека и человечества. Такое освобождение не знает жертв, не знает слез и крови. Такое освобождение знает лишь радость и любовь. Оно другим и быть не может. Оно является какой то величественной и торжественной мировой мистерией, оно является преображением человека, оно является тем состоянием, когда человек перестает быть рабом и пасынком Божиим, и когда он становится сыном Божиим. В этом освобождении человек слышит голос Божества, а Божество слышит голос своего сына. В этом освобождении человек узнает тайны Сфинкса и Феникса и причащается от чаши Вечности.

Вполне понятно, следовательно, почему между анархизмом и разными чертовскими выдумками нет и не может быть ничего общего. Анархизм — это Логос, разные выдумки — хаос и тьма. Вполне понятно также почему разные черти, разные строители Вавилона соединяются в одно полчище для борьбы с анархическим идеалом. Но все эти безумцы не знают Бессмертия. Они поэтому и думают, что и все истинные идеалы смертны, и что можно бороться с тем, что, в сущности, не умирает никогда. Можно бороться с анархистами, можно бороться с носителями света, но свет останется светом. Ведь характерно то, что все без исключения политики — и монархисты, и социалисты, и большевики — объединяются в том случае, когда заходит речь об анархистах или анархизме. Все они ненавидят свободу, все они боятся света. Истинный свет просвещает людей. Все они боятся того, чтобы обрушились на них их вавилонские столпотворения. Но вся борьба их с анархизмом является борьбой безумной и бессмысленной. И многие из них всё это понимают. Многие из них не верят в разные побоища, не верят в разные разгромы анархистов. И они делают всё возможное для того, чтобы опошлить анархизм разными выдумками и измышлениями. Одни из них говорят о том, что анархизм — вещь прекрасная, но что не стоит думать о возможности его осуществления: во

времени и пространстве. Другие из них говорят о том, что анархизм надо примирить с действительностью, что анархизм надо превратить в какую то анархическую политику. Третьи говорят о том, что анархизм — это нечто неопределенное. Так много направлений в анархизме, говорят они, что нечего даже и думать о том, что эти направления могут привести людей к одной и той же цели.

Но всё это является, в сущности, только чертовскими кознями этих социалистов и политиков. Всё это является лишь сатанинским искушением. Но и этими кознями им не удастся ничего достигнуть. Истинный анархист не может даже задавать себе вопроса: когда осуществится его идеал? Если бы этот идеал не осуществился бы на земле никогда, и в этом случае истинный анархист не мог бы разочароваться в нем. Отречься от своего идеала, отречься от божественного света, отречься от знания Бытия — это значит отречься и от самого себя, отречься от своей души. Анархисты не могут торговать своими убеждениями. Анархисты не продают их на базарных площадях и всевозможных трибунах, как это делают социалисты и политики. Они способны умирать лишь за свои идеалы и убеждения, как умер за них и Христос. И в этом заключается их величие, их рыцарство, их героизм.

Что же касается других, желающих опошлить анархизм различными программами и схемами, то и их козни не могут иметь, в сущности, никакого значения. Никогда анархисты не признавали разных «переходных стадий» и минимальных программ, и никогда не будут признавать их. А если даже и найдутся люди, которые, называя себя анархистами, будут носиться с разными выдумками и измышлениями, никто из анархистов не поддержит их в строительстве их Вавилона. Лишь в замечаниях третьего типа имеется на первый взгляд значительная доля истины. С ними согласны, кажется, и некоторые анархисты. Но в этом нет, в сущности, никакой трагедии. Всё это так и должно быть. В людях нет тождества даже физического. Не может быть, тем более, в них тождества духовного. Мировые яв-

ления не могут восприниматься всеми людьми одинаково. Воспринимают мир одинаково только те люди, которые не познают его, а вкладывают его в свои выдумки и схемы. Такое познание мира свойственно материалистам. В мыслях этих людей есть некая бессмысленность. Иначе они и не могут мыслить. И их сенсуалистическая теория познания — теория простая и примитивная. Для такого познания мира не надо иметь мысли, не надо быть и человеком: так познают мир не только обезьяны, но и более несовершенные виды животных. Такой «гармонии» мысли у анархистов нет и быть ее не может. В анархизме есть гармония иного порядка: гармония небесная, гармония космическая. Как безгранично и беспредельно Бытие, так безгранична и беспредельна анархическая мысль, так беспредельно и анархическое познание. И в этом, повторяем, есть подлинная красота и подлинное величие анархического идеала. В этом есть подлинная свобода.

Плохой тот анархист, кто знает анархизм по Штирнеру, Кропоткину или Толстому. Анархизм ведь не учение, а какая то внутренняя необходимость. В ком нет этой необходимости, в ком нет свободной индивидуальности, тот никогда не будет анархистом. Анархист — это человек не учащийся и не освобождаемый, а познающий человек и человек освобождающийся. Человек, ведь, не только онтологическая реальность, но и онтологическая индивидуальность. Человек — это мир в мире и Бытие в Бытии. Здесь начинается онтологическое равенство различных индивидуальностей, которого не знают ни социалисты, ни политики. Их равенство есть выдумка и измышление. Нельзя, ведь, требовать от разных индивидуальностей какого то единства или тождества. Душа каждого человека — это космическая Психея. Она проходит путь космического совершенствования. В драматической поэме Жулавского Психея изображена бессмертной на земле: ее божественный образ встречается во всех веках. Не умирает она и в других мирах. Психея — вечное начало, Психея — вечная жизнь, а не смерть. В материальном мире нет и не может быть

Психеи. Материальный мир — мир мертвый и бездушный. И только в этом мире мыслимо единство. Единство мыслимо лишь в смерти. И если в анархизме есть различные течения, всё это является вполне разумным и естественным.

Течений в анархизме много: течение рыцарское, течение христианское, течение буддийское, течение мистическое, течение коммунистическое, течение индивидуалистическое. На первый взгляд и кажется, что все эти течения не имеют ничего общего между собою, что многие из них даже способны исключать друг друга. Но все эти противоречия — лишь внешние и кажущиеся. Внутреннего противоречия здесь нет и быть не может. Природа их — одна и та же. Эти кажущиеся противоречия являются ступенями познания. Одни знают больше, другие знают меньше. Равенство знания и достижений и невозможно, кажется, во времени: оно возможно только в вечности. Одни анархисты привязаны еще к земле, другие же переступили земные пределы: одни — дети земли, другие — дети вселенной. Каждый из них занимает свое место на пути к великим достижениям. В этом есть их единство, есть и понимание друг друга. Многие из них не могут быть еще братьями в духе, братьями во Христе, но все они могут быть братьями земными. Все они — дети одной матери, дети одного Бога. Все они стремятся к осуществлению Царства Божьего на земле. Это и делает их братьями земными. Некоторые из них и не стремятся, может быть, к какому то иному царству, к царству «не от мира сего». Другие же стремятся к этому иному царству. Одни из них хотят остаться на земле, взоры других направлены к звездам. Не всем дано одно и то же: одним дано одно, другим дано другое.

Людьми, стоящими на самой низкой ступени познания, являются, пожалуй, только индивидуалисты и материалисты. Первые из них не знают того, что человек является онтологическою индивидуальностью. Эти люди еще не познали себя и не познали свою космическую индивидуальность. Они желают быть какими то фиктивными и выдуманными индивидами. Подобные стремления являются уде-

лом юношеского возраста человека. Стремление к такому выдуманному индивиду есть лишь продукт незрелого ума. Все дети, ведь, желают быть такими индивидами. Такого рода индивидуализм является чем то довольно нископробным. Здесь есть желание казаться лишь оригинальным. Такого рода индивид является типичным парвеню. Не соглашаться с кем бы то ни было, противоречить всем, казаться выскочкой, казаться эксцентричным. Такова психология подобных индивидуалистов. Всё это, повторяем, свойственно детской психике. И от этой детской психики не освобождаются иногда и некоторые взрослые люди. Есть, ведь, люди, которых можно было бы назвать какими то вечными детьми.

Но если эти дети найдут когда нибудь свою индивидуальность, они поймут тогда, что эти индивиды, созданные из ничего, являются какими то жалкими выдумками. Если же эти люди отвергают, подобно их учителю Штирнеру, всякую духовную жизнь, то эти животные индивиды являются еще какой то большей выдумкой. Раз в нем нет духа, раз в нем нет никаких душевных проявлений, такого индивида нельзя даже мыслить. В мире материи нет никаких индивидов. Материя есть только совокупность праха. Прахом является и этот индивид. Материя не знает никакой свободы. Не может знать ее и этот выдуманный индивид. В мире материи господствуют железные законы причинности и необходимости. Над ними господствуют также законы духовные, законы созидающие. И только благодаря этому материя принимает разные организованные формы. Без этих законов материя была бы вечным хаосом. Подлинная свобода и индивидуальность находятся в мире иного порядка. Где нет божественной Психеи, не может быть там ни индивидуальности, ни свободы.

Из всех известных индивидуалистов заслуживает должного внимания один Оскар Уайльд. Но его индивидуализм — индивидуализм возвышенный и благородный. Он не имеет ничего общего с тем животным эгоизмом, который проповедывал когда то Штирнер. Не имеет он ничего

общего и с животным индивидуализмом Ницше. Индивидуализм Оскара Уайльда так же прекрасен и божественен, как прекрасны и божественны и все его творения. В своем очерке «Душа человека при социализме» он указывает на то, что между истинным индивидуализмом и эгоизмом нет ничего общего. В своих тюремных записках «De profundis» он даже Христа назвал величайшим поэтом и величайшим индивидуалистом. Шелли и Софокл, — по его мнению, — братья Христа. В книге же Штирнера нет никакого индивидуализма. Нет его также и у творца «Заратустры». Истинный индивидуализм есть только у Оскара Уайльда. Но все эти штирнеровские жалкие эгоистики, все эти ницшеанские зверо-человеки являются пошлыми выдумками.

Материалистическое понимание вещей является чем то естественным и более понятным. В нём есть лишь некоторое примитивное и ограниченное понимание вещей. Материалистами являются те люди, которые не знают еще истинного Бытия. Но материалистическое миропонимание обречено на гибель и крушение. Это крушение наступает тогда, когда восходит человек на более высокие ступени познания. И в материализме этого типа нет ничего страшного и трагического. Подобный фазис познания проходит почти каждый человек. Анархисты — люди свободные. Каждый из них свободен в своих мыслях; каждый из них может вести какой угодно образ жизни; каждый из них может молиться какому угодно Богу. Здесь важно лишь одно: чтобы поступки и действия одного не нарушали свободу другого. Это и есть та почва, на которой объединяются различные анархические течения.

Еще появляется следующий вопрос: является ли анархизм идеалом общечеловеческим или же идеалом «страждущих и обремененных». Анархизм является идеалом общечеловеческим. Для анархизма все люди равны. Анархизм не может обоготворять пролетария и возводить хулу на богатого или аристократа. Анархисты стремятся, ведь не к бедности и нищете, а все они стремятся к довольству и счастью. Не к пролетаризации себя стремится анархист, а

к самому возвышенному состоянию. Каждый из них стремится к подлинному аристократизму. Анархисты не стремятся к тому, чтобы все люди стали плебеями и пролетариями, а чтобы все плебеи и пролетарии стали подлинными аристократами. Истинным аристократизмом является духовный лишь аристократизм. В истинном анархизме пролетарий освобождается от своего пролетарства, этого ужасного тяготеющего проклятья, и называется свободным человеком. Где кончается пролетарство духа, там начинается подлинное освобождение.

1924

РОССИЙСКИЕ ДОН-КИХОТЫ

Как бы ни относились мы к великой романтической эпохе Средневековья, мы всё же должны согласиться с тем, что и наша эпоха во многих отношениях соприкасается с этой Средневековой действительностью. И в наше время, ведь, есть на земле много вещей, которые, быть может, были самыми значительными в минувшие романтические столетия.

И в наше время, как и в ту эпоху, наблюдается великий поворот человеческой мысли в сторону религиозных, идеалистических и мистических исканий. Не только в Западной Европе, но даже и на Востоке пробуждается в наше время рыцарское движение. Находятся люди и в нашем двадцатом столетии, которые смотрят очень пессимистически на всю нашу «безбожную культуру», пророчествуя ей какое то последнее крушение. Господствуют и в наше время, хотя и не на всей земле подобные же средневековые инквизиторы. Разница между средневековыми инквизиторами и инквизиторами нашего времени заключается только в том, что первые господствовали некогда в Испании и Италии и отправляли людей на костры во имя Божие (ad majorem Dei gloriam), а инквизиторы нашего века господствуют сейчас в России и совершают свои злодеяния во имя своего бога-Маркса. Есть в наше время много Дон-Кихотов, которые ничем почти не отличаются от всевозможных Дон-Кихотов средневековой романтики.

Есть эти Дон-Кихоты и у нас; есть Дон-Кихоты и российские. Есть у нас много лиц из дома Романовых, которым вечно грезятся потерянные ими скипетры и троны, которые

мечтают еще о Великой Российской Империи. Если бы они мечтали просто о России, если бы они мечтали о судьбах русского народа, в этих мечтаниях было бы нечто благородное. И нет оснований думать, что среди этих лиц нельзя найти такого человека, который не желает думать о судьбе России. Такие люди есть, вероятно, и среди этих лиц. Быть может, многие из них поняли язык жизни, которая им говорит о том, что царство их в России разрушено уже навеки. Ему возврата нет и быть уже не может. Это царство не находит себе никакого оправдания: ни оправдания теологического, ни оправдания юридического, ни оправдания социологического. И, поняв язык жизни, каждый монархист обязан согласиться с тем, что в этом языке есть какая то вечная правда. В гибели этого царства была какая то судьба и неизбежность. И, приняв эту правду жизни, всякий искренний человек, если только ему в самом деле дорога судьба России, не может думать больше о своем господстве, которое не имеет уже под собою никаких оснований и никогда не может быть воздвигнуто. В России нет уже материала для постройки этой Вавилонской башни. И всякая мечта об этой башне будет являться только мечтой. Она будет являться вечным миражем и бесконечной иллюзией.

Но есть, конечно, и такие лица, которые мечтают о монархии. В каждом удобном случае они проклинают большевиков, видя в них каких то слуг антихриста, но они и не подозревают, видимо, что это же антихристово царство является лишь продолжением, каким то другим фазисом, того же антихристова царства, которое было известно нам под именем Империи. Оба эти царства — царства антихристовы. В Российской Империи не было граждан, а были лишь подданные, нет точно также граждан и в царстве большевистском. Не было человеческой личности в Российской Империи, нет ее в социалистической республике. Не было даже самых элементарных свобод в старой России, нет этих свобод и в России советской. Не было ничего христианского у православных царей, нет ничего христианского и у социалистов большевиков. У тех и у других — одни

и те же принципы, одни и те же убеждения. Социалист и монархист являются родными братьями.

И если эти люди спорят иногда, то спор этот ведется в данном случае не в плоскости идейной или же принципиальной, а в плоскости лишь личной и поверхностной. Здесь спор идет о том, кому из них господствовать, кому из них занять тот или иной престол. И все эти вопросы решаются, конечно, силой. Ни те, ни другие не признают права. Правом, по их мнению, является только сила. И этим правом обладают те, кому удается склонить на свою сторону тех «серых животных», всю ту «бессмысленную чернь», от воли которой и зависит, в сущности, победа тех или других. Без этой «черни» и монархисты, и социалисты были бы лишь «трагическими актерами, махающими картонными мечами».

Но и монархисты, и социалисты не думают в этой борьбе за власть ни о судьбах народа, ни о судьбах родины, ни о судьбах культуры. Продавали Россию монархисты, продают ее и большевики. Издевались над русским народом монархисты, издеваются над ним и большевики. Топтали в грязь всякие культурные начинания монархисты, топчут их в грязь и нынешние российские большевики.

И когда те и другие говорят иногда о народе, о благе родины, о справедливости, всё это кажется какою то ужасной демагогией. Ведь ни те, ни другие не знают ни родины, ни культуры, ни человечества, ни справедливости. Об этом свидетельствует даже тот факт, что даже среди лиц дома Романовых наблюдается подобная же «борьба за престол». Претендентами на этот престол являются, в сущности, два человека: Николай Николаевич и Кирилл Владимирович. Что же касается других лиц, то они и в самом деле, очевидно, научились чему то у жизни и думают, быть может, совершенно правильно, что делить шкуру неубитого медведя — дело совсем смешное. Быть может, эти лица не желают уподобляться этим двум Дон-Кихотам и не желают казаться смешными.

Не так давно Кирилл провозгласил себя императором Всероссийским. Но почти все лица из дома Романовых отнеслись отрицательно к этому комическому явлению. Этого нового императора, который сам себя избрал, не признают и члены «царствующего дома». И в этом «непризнании» есть, разумеется, какое то и внутреннее содержание. Если бы провозгласил себя императором и Николай Николаевич, то очень возможно, что эти лица не признали бы и этого императора. Но Николай Николаевич этого, повидимому, и не сделает. Он, вероятно, обладает более здравым рассудком, нежели Кирилл Владимирович. Ведь для того, чтобы объявить себя императором, не имея ни государства, ни помощи, ни народа, для этого и в самом деле надо обладать какой то исключительно-феноменальной глупостью. Живет ведь человек в Германии и объявляет себя Всероссийским императором. И в этом «императорстве» есть подлинное дон-кихотство. И эта российская «империя» является в данном случае каким то конем Аристо. Садится Кирилл на коня, а конь то его является конем мертвым. Но в этой жалкой комедии есть еще и логика большевизма: все права и никаких обязанностей.

И вся эта комедия является на арене общественной жизни каким то жалким зрелищем. А эти императоры кажутся в этом фарсе какими то шутами и жонглерами. Русский народ изжил одно проклятье, тяготевшее над ним целых три столетия, и надо думать также, что изживет он скоро и ту общественную язву большевизма, которую оставил дом Романовых в качестве наследства русскому народу. Это наследство — наследство чудовищное и ужасное. Но ведь ничего другого монархисты и не могли оставить. Они уготовили путь большевизму, своему возлюбленному первенцу, но когда этот первенец занял место этих монархистов, они сами пришли в ужас от этого нового царствования. И в этот момент у них был только один лозунг: спасайся, кто может! Всё это показалось им какой то ужасной трагедией. А в сущности, ведь, здесь нет ничего нового и трагического. Большевистское царствование в России ока-

залось только тем магическим зеркалом, в котором монархисты увидели самих же себя. И многие из них, быть может, узнали себя в этом зеркале. И благо им, если они узнали в этом зеркале свой собственный образ. Быть может, они в самом деле перестанут думать после этого о скипетрах и тронах и, может быть, подумают о том, о чём мечтает и русский народ. Благо тем из них, кто отказался от служения антихристу и станет служить идеям справедливости, свободы и красоты.

Но все эти императоры поистине жалкое зрелище. Они, повидимому, и никогда не узнают себя в большевистском зеркале и будут в глазах здравомыслящих людей являться очень убогими и жалкими шутами. Но законы исторической жизни уж, вероятно, таковы, что и Дон-Кихоты должны быть в истории. Были они раньше, есть они сейчас, будут встречаться они, кажется, и в будущем...

1924

ГОЛОС РАССУДКА

Последнее выступление в печати великого князя Николая Николаевича ярко свидетельствует о том, что и в рядах монархистов есть люди со здравым рассудком.

Большинство из них является, конечно, чем то противоположным. Многие из этих Дон-Кихотов нашего времени мечтают о спасении России, но никто из них не желает подумать о том, в чём заключается это спасение.

Посадили на трон какого нибудь Кирилла — и проблема спасения России автоматически будет решенной. Так думают все эти тупоумные «благодетели» России.

Исключением является князь Николай Николаевич. В его словах слышен голос рассудка, голос здравой мысли.

Он, вероятно, лучше других понял, что монархия в России умерла безвозвратно, что люди пережили уже эту допотопную форму общественной жизни.

Поэтому то он и не объявляет себя «императором Всероссийским», как это делает в Германии Кирилл.

Николай Николаевич заявляет, что он готов, хотя бы сейчас же, двинуться в поход против большевизма, но этот поход он готов совершить не ради восстановления монархии, а только лишь ради ниспровержения большевистского ига.

А что же будет дальше? Николай Николаевич ничего не говорит об этом.

Его мнение сводится, в общем, к следующему: русский народ пусть устраивается так, как он находит нужным. Нельзя его насиловать, нельзя ему навязывать разные монархизмы и социализмы.

Само собой разумеется, что это выступление вызовет страшное недовольство в рядах «дома Романовых» и других монархистов. Но это негодование нигде не встретит отзвука. Были они до сих пор смешными, смешными и останутся.

1925

ПОШЛОСТЬ И ХАМСТВО

Жестоко заблуждаются те люди, которые, быть может, думают, что в окружающей нас жизни нет уж так много зла, как думают об этом скептики и пессимисты. Не можем мы, конечно, согласиться с теми безнадежными пессимистами, для которых нет уже в жизни ни красоты, ни добра, ни прогресса. Но в пессимизме их есть некоторая доля правды. Есть в жизни много зла и безобразия. Есть много и безумия, и подлинного сумасшествия. Есть много пошлости и хамства. Вполне понятно, следовательно, почему и в суждениях пессимистов имеются частицы истины.

В сокровищнице мысли человеческой имеются не только камни драгоценные, но в ней имеется и самый обыкновенный булыжник. В ней есть не только нити жемчуга, но есть и уличная грязь. Эта сокровищница вмещает всё: вмещает ценности, вмещает грязь и гниль.

И социальная жизнь человечества вмещает точно так же разные явления. Здесь мы найдем такое же разнообразие; здесь есть и эволюции и революции; здесь есть и мирное развитие, и всевозможные погромы; здесь есть строительство и бешеное разрушение. Но все эти явления являются продуктом мысли человеческой. Что есть в духовном мире человечества, то отражается и в социальной жизни. Оскар Уайльд сказал когда то, что то или иное преступление является продуктом преступлений мысли. Но, в сущности, тем же продуктом мысли являются все проявления и подвига и героизма.

В сокровищнице мысли человеческой имеется, как мы упомянули выше, и много ценностей, и очень много грязи.

И в этой общей грязи имеются, как выражался Достоевский, и прелюбодеи мысли, и прелюбодеи слова. И нет, кажется, на земле, в сравнении с ними, ничего более пошлого и отвратительного. Это самый низкий тип людей. К числу этих людей принадлежит и большинство социалистов (марксистов). Эти люди не знают ничего человеческого. Пошлость и хамство — это их стихия. И весь социализм их является лишь пошлостью и хамством.

Эти люди не могут разговаривать со своими живыми врагами. И все они любят поэтому разговаривать с врагами мертвыми. И это, конечно, значительно легче. Мертвые остаются мертвыми. Можно злословить, можно клеветать на них. Но эти мертвецы лежат в своих гробах спокойно, и нечего бояться всем прелюбодеям мысли и слова, что эти мертвецы восстанут из гробов и скажут в оправдание себя хотя бы одно слово.

Ярким примером в этом отношении являются писания их о Бакунине. Учитель этих людей Маркс боролся некогда с Бакуниным живым. Но эта борьба была борьбою сил неравных. Не мог Маркс победить Бакунина живого. Поэтому то ученики Маркса и задались целью бороться с Бакуниным мертвым. И после смерти этого великана ими было написано против Бакунина бесчисленное множество произведений. Они задались целью отомстить Бакунину. И все писания этих людей носят какой то исключительный характер. Все они пропитаны ложью и клеветой. От всех этих писаний веет дыханием их пошлости и хамства. Впрочем, других произведений они и не могут писать. Так велика их ненависть к Бакунину.

Не так давно в печати появилась статья одного социалиста, которую трудно читать, но трудно также и обойти молчанием[1]. Трудно читать ее лишь потому, что пошлость и хамство этого социалиста достигли, кажется, какого то

---

[1] Ю. Фердман, М. А. Бакунин и Ноздрев. «Заря», № 7, 1924. Берлин.

предельного развития. Дальше уйти никто из них, повидимому, не сумеет.

Прежде всего нужно заметить, что этот социалист отрекается от своих братьев-большевиков и называет их детьми и «эпигонами Бакунина». Но в этом нет, конечно, ничего трагического. Таких людей ведь очень много. Многие люди отрекаются ведь от своей родины, от своей национальности, от своих родителей и даже от своих детей. И нет ничего удивительного в том, что люди отрекаются от своих братьев. Так отрекаются и нынешние меньшевики от большевиков. Но разве в этом отречении они становятся людьми чужими? Разве меняется от этого природа их социализма? Чем был социализм до сих пор, тем он, повидимому, и останется. И сколько бы эти социалисты не отрекались друг от друга, всё же они останутся детьми одной семьи, и рыцарями одной пошлости и одного хамства. Сущность вопроса кроется, ведь, не в тех или иных течениях социализма, а в его сущности, в природе, в содержании.

Бакунин для этого социалиста является Ноздревым из гоголевских «Мертвых Душ». Ничего другого он не находит в личности Бакунина. Бакунин — это ноль и абсолютное ничтожество. Но, спрашивается после этого, зачем же все эти господа социалисты уделяют так много внимания Бакунину? Ведь о ничтожестве люди обычно мало говорят. Ничтожество ведь скоро забывается. Но забыть Бакунина социалисты никогда не смогут. Об этом ярко свидетельствует их «литература». Литературы о Ноздреве нет. И всякое сравнение Бакунина с Ноздревым является, конечно, чем то несерьезным. Это сравнение — простая социалистическая пошлость. Уж если приступить к сравнениям, то можно найти очень много неприличных двойников и Маркса. Духовный облик Маркса был хуже образа Ноздрева. Духовный образ Маркса люди иногда сравнивают с физическим образом Квазимодо. Но разве суть дела в сравнении? Разве сравнениями можно доказать что либо?

Для подтверждения своих суждений этот социалист ссылается еще на Герцена, Белинского и Огарева. Само

собою разумеется, что эти люди не могли оправдать в целом ни идеологию Бакунина, ни его революционную деятельность. И очень часто, может быть, они были правы, но Бакунин не мог согласиться с ними в силу своего революционного темперамента и в силу своей непоколебимой веры в революцию. Поэтому, быть может, Бакунин и был в глазах Герцена и Огарева упрямцем, деспотом или «дурным характером». Но, тем не менее, Бакунин был более близок им, нежели другие общественные деятели и социалисты. Несмотря на все свои «достоинства» и «преимущества», Маркс никогда не мог занять места Бакунина в среде русской революционной интеллигенции. Эта интеллигенция отвергала Бакунина частично, а Маркса она отвергала в целом. Отвергает она Маркса и сейчас. Будет отвергать она Маркса и в будущем.

Что же касается идеологии Бакунина, то в ней было значительно больше цельности, нежели в идеологии Маркса. Быть может, в ней было много «отрывков» и «кусочков», но всё же в ней не было марксистского шарлатанства. Идеология Маркса, как это доказал Черкезов, составлена действительно из чужих мыслей и «кусочков». И вот этот «идейный хлам» считается марксистами «научною системою».

Но, тем не менее, социалисты с этим не считаются. И все они обожествляют Маркса, и все они видят ничтожество в Бакунине. И вся эта борьба против Бакунина ведется, отнюдь, не в идейной плоскости. Недаром, например, Маркс согласился лучше «убить зараженный (бакунизмом) организм Первого Интернационала», нежели оставить его для «оздоровления». Своей ненависти к России и ко всему русскому Маркс никогда не скрывал. Но если бы мы спросили всех этих «интернационалистов», кто из них любит русских, они сочли бы нас, пожалуй, сумасшедшими. Сами питают ненависть к другим и всё же требуют, чтобы эти другие любили и обожествляли их. Таков был Маркс, таково большинство и нынешних социалиств-«интернационалистов».

На этой почве и велась, повидимому, борьба Маркса против Бакунина. Ведется она в этой плоскости и нынешними социалистами. Во всех своих писаниях они ссылаются прежде всего на антисемитизм Бакунина. Затем начинают сравнивать Бакунина с гоголевским Ноздревым. Но эта пошлость и свойственна ведь этому социалистическому хамству. Ведь ничего другого эти социалисты и не могут написать...

1924

БОЛТУНЫ ИЛИ ТОРГОВЦЫ?

Я совершенно не согласен с теми людьми, которые думают почему то, что в нашей жизни нет ничего хорошего. Я не согласен с этими пессимистами даже и в том случае, если они ссылаются на Байрона или Шопенгауэра. Я преклоняюсь, разумеется, перед величием Байрона, читаю с удовольствием я также Шопенгауэра, но всё же склонен думать, что в жизни есть много прекрасных вещей. Понятие «мировой скорби» как то чуждо моему сознанию. Есть, правда, в нашей жизни много страданий и зла, но всё же эта жизнь является для нас какой то величайшей ценностью.

Встречаются, ведь, в этой жизни самые разнообразные люди; имеется, ведь, в этой жизни много прекрасных вещей; имеются, ведь, книги и произведения искусства. Всё это и делает нашу жизнь какой то содержательной и ценной. Я, например, люблю разговаривать с людьми серьезными и интересными. Люблю читать хорошие книги. Если не будет новых интересных книг, я буду, например, перечитывать до конца дней моей жизни моих любимых писателей (сюда относятся: Эсхил, Софокл, Данте, Байрон, Уайльд, Достоевский, Андреев) и ни в коем случае не буду читать различных «пролетарских» писателей. Хотя я сам и пролетарий, но я ужасно не люблю почему то этих «пролетарских» писателей. У них действительно какие то пролетарские, очень убогие, мысли. С моей реакционностью уж видно ничего не поделашь. Я всё люблю еще симфонию Бетховена, люблю я также и оперы Вагнера (особенно «Кольцо Нибелунга») и не люблю я почему то пролетарской музыки.

Но все эти вещи — серьезные. А всё серьезное ведь утомляет, в конце концов, человека. И когда меня начинают угнетать все эти тяжелые вещи, тогда я начинаю читать Чехова, Марка Твена, Козьму Пруткова и Аверченко. Эти писатели рассеивают несколько мой пессимизм (навеянный серьезными вещами) и у меня появляется более веселое настроение. В дополнение к этому я ухожу иногда в цирк (по разрешению кармана, разумеется) и начинаю смеяться совершенно искренно над разными проделками шутов и акробатов. Наряду с этим, я избегаю всяких серьезных разговоров и начинаю слушать с удовольствием тех людей, которые принадлежат к породе болтунов. Это — очень забавные и веселые люди. И пессимизм мой сейчас же исчезает.

Последнее время мне не приходилось, к сожалению, встречаться с этими забавными людьми и я находился в каком то унынии. Я собирался было писать уже трактат в защиту пессимизма и самоубийства, но, как говорит пословица, «человек предполагает, а Бог располагает». Этот трактат я так и не начал писать. Я разговаривал всё время с анархистами, читал анархические книги, писал анархические статьи и заразился этим пессимизмом. И должен здесь сознаться, что анархисты вообще — это какие то ужасные пессимисты. Вполне понятно, следовательно, почему и Байрон был таким отчаянным пессимистом: и Байрон был ведь каким то своеобразным анархистом. Все анархисты — люди очень скучные. Недаром одна барышня, с которой я познакомился когда то в Петрограде, была очень испугана, когда узнала, что я являюсь анархистом. Она боялась, собственно, не анархистов, а боялась только пессимистов. Я был знаком с ней около трех месяцев и ничего дурного не подозревал. Однажды как то я сказал ей, что я являюсь анархистом. «Ах! Вы — анархист?! До свиданья, милостивый государь! Я не намерена еще кончать самоубийством». Этим и окончилось мое знакомство с нею. Теперь я понимаю эту барышню. Она была права отчасти.

Все анархисты — какие то странные люди. Я склонен думать иногда, что они — не от мира сего. Все они думают только о справедливости и нравственности; все они думают лишь о возвышенных материях. Вся жизнь для них — трагедия. Они не видят в жизни ничего смешного. Об этом они пишут в своих книгах, и в своих газетах. И все они напоминают мне собою каких то аскетов, каких то буддийских монахов, которые думают почему то, что не подобает человеку «смеяться сквозь слезы». А я им говорю на это, что если мы перестанем смеяться, если мы отвергнем все соблазны мира, тогда и в самом деле этот пессимизм приведет нас к чему то плохому.

И я теперь благодарю богов за то, что в редакции «Американских Известий» появились более веселые и жизнерадостные люди. И я очень доволен тем, что в этой газете печатаются иногда и более веселые произведения. Это необходимо для читателей. Надо же в самом деле когда нибудь посмеяться. Особенное удовольствие мне доставляют те произведения, которые написаны разными болтунами. Особенно люблю я тех болтунов, которые встречались, очевидно, с анархистами. И когда эти болтуны начинают разговаривать о всяческих вещах, я начинаю смеяться в этих случаях каким то безудержным смехом. И я не понимаю тех людей, которые не любят болтунов. Не люблю их, разумеется, и я, когда у меня бывает серьезное настроение; когда же мне хочется иметь какое либо развлечение, я очень люблю этих людей. Все они — очень забавные люди.

Впрочем, к чему все эти шутки? Я ведь хочу писать об очень важных вещах: хочу писать о Ленине и о редакции одной газеты, которую злые языки называют... анархической. Вопросы, разумеется, серьезные, а тут так и лезут в голову разные шутки. Нельзя же, в самом деле, шутить с подобными вещами: это было бы с моей стороны ужасно легкомысленным отношением к делу. Итак, я начинаю разговаривать серьезно. И я прошу читателей совсем не смеяться сейчас. Всякие шутки здесь неуместны.

В одном из номеров «Американских Известий» появился перевод статьи о Ленине какого то еврейского писаки. Когда я начал читать эту статью, я так и ахнул от удивления. Чем больше я читал эту статью, тем хуже было мое самочувствие. И я начинал чувствовать, что со мною случится какая то неприятная история. Тем не менее, я решил прочесть эту статью до конца. И эта неприятная история случилась, разумеется, со мною: со мной случился обморок. И если бы только моя добрая хозяйка — прекрасная мадридская сеньора — не позаботилась бы обо мне, пришлось бы мне, повидимому, отправиться на тот свет, который мне, говоря откровенно, нисколько не нравится. Мне хорошо и здесь. А на том свете нет, повидимому, болтунов, и мне пришлось бы там скучать.

Когда я несколько оправился от обморока, я поблагодарил, конечно, мою милую хозяйку, наговорил ей по-английски тысячу различных комплиментов (то, что она не знает английского языка, это меня не касается; она ведь тоже обращается всегда ко мне на совершенно неизвестном мне испанском языке), взял после этого громадный лист бумаги и начал писать письмо редактору «Американских Известий». В этом письме я хотел поблагодарить его за его прежнее товарищеское отношение ко мне, хотел пустить по его адресу несколько ядовитых словечек и распроститься с ним навеки. В такой газете, думал я, мне делать больше нечего. Но, не окончив своего письма, я решил еще раз заглянуть в эту газету. А может быть, это — недоразумение? А может быть, это — шутка? А может быть, это — веселая статейка для некоторых безнадежных пессимистов? Так оно и оказалось, конечно. Эта статья оказалась в «Американских Известиях» совсем не случайно. Редактор захотел, повидимому, доставить нам большое удовольствие. И он, конечно, не ошибся в выборе материала. Подобного шедевра не было даже и в большевистских газетах. У большевиков нет, очевидно, таких замечательных болтунов. И всё это нам надо принять к сведению. Когда нам будет скучно, мы будем покупать газету «Фрайе

Арбейтер Штимме», и, с помощью переводчиков, будем читать в ней замечательные шедевры. Статья о Ленине была в этой газете статьей редакционной. И судя по этой статье, эта газета в самом деле интересная. И если мне кто либо скажет, что в этой редакции находятся не болтуны, а люди самые серьезные, я не поверю этой шутке, разумеется. В крайнем случае, я соглашусь, пожалуй, с тем, что там находятся какие то поэтически настроенные торговцы. Статья о Ленине едва ли не является стихотворением в прозе. Ничего третьего здесь нет и быть, по моему, не может.

Эта почтенная редакция пишет, что Ленин является тем человеком, перед именем которого бледнеют имена самых великих, самых выдающихся людей. Она готова обоготворить его. Она готова упоминать его имя наряду с именами Будды и Христа. «Николай Ленин воплотил в себе в большой, почти в полной, мере революционные стремления угнетенного человечества. Его жизнь, все его великие способности были посвящены исключительно революции и ее осуществлению». «Ленин — единственный человек, который дерзнул довести революцию до ее логического конца». Таких людей, по мнению этой редакции, никогда не было и никогда не будет. Ленин воплотил в себе все идеалы человечества. Ленин — пророк, Ленин — апостол, Ленин — Мессия. Разве не забавно рассуждают эти болтуны? Впрочем, Ленин и в самом деле — великий человек. Только величие его — величие дурное. В математике есть понятие дурной бесконечности. Эту дурную бесконечность и хочется мне сравнивать с величием Ленина. Такими же великими людьми были многие римские императоры, «старец с горы», Лойола и Иоанн Грозный. Такими же великими людьми являются все мастера заплечных дел, и все погромщики, и все обыкновенные бандиты. И само собою разумеется, что у всех этих лиц есть какая то особая гениальность. Такие люди встречаются ведь очень редко. Впрочем, отчего бы и не считать этих людей великими героями и гениями? Почему это только высоко-нравственные и благородные люди занимают почетное место в истории? Ведь все эти каче-

ства считаются в наше время какими то буржуазными предрассудками. Вполне понятно, следовательно, что уже настало то время, когда необходимо вычеркнуть из истории человечества все ее лучшие имена, когда надо вписать в ее страницы имена нынешних героев, которых воспевает так редакция этой газеты. Довольно люди склонялись у креста Христа: сейчас настало время, когда надо склониться и перед образом Варравы.

«Те, — пишет дальше эта газета, — которые никогда не имели счастья чувствовать в себе сверкающей чистой искры революционного идеализма; те, которые никогда не боролись за свободу, не мечтали о лучшем будущем, — не чувствуют никакого родства, ни любви, ни уважения к такой личности, как Николай Ленин». С этой точки зрения надо сказать, конечно, что и весь русский народ никогда не боролся за свободу, ибо имя Ленина враждебно русскому народу. И эта почтенная редакция имеет очень плохое суждение о целом русском народе. Русский народ боролся за свободу; русский народ стремился к лучшему; в душе русского народа живут великие идеалистические начала; этому народу враждебна всякая торгашеская психология. Но Ленин оказал этому народу очень плохую услугу. По просьбе немецкого кайзера Ленин хотел осуществить социализм в России, но этого социализма он не осуществил: он только разгромил Россию. Но редакция этой газеты думает иначе: русский народ — это ничтожество, а разные Варравы и погромщики — это всё. Русские анархисты утверждают, что Ленин «сожрал революцию»; так думают, впрочем, не только анархисты, но так думает и весь русский народ.

Но эта редакция думает иначе. За наше утверждение, что Ленин «сожрал революцию» она называет нас дураками. Дураки, значит, все русские рабочие и крестьяне; дураки также все русские интеллигенты. Нам остается только поблагодарить редакцию за это откровенное мнение и сказать ей вместе с тем, что болтунами люди могут быть, конечно, но оскорблять людей они не имеют права.

Это уже какое то чертовское нахальство. Это ведь не шутка, и вещь очень серьезная. И пусть редакция не думает, что раз она не знает чести и стыда, то их не знают и другие люди. Впрочем, русские люди и русские анархисты и в самом деле дураки, если редакция является умной. Таких торгашеских способностей у русских людей никогда не было и никогда не будет. И если бы подобные суждения были написаны в другой газете, более серьезной, мы, может быть, и поучились бы чему нибудь у этих умных людей, но раз об этом пишется в газете болтунов и торговцев, учиться нам у них нечему. Ум и ученость этих лиц оценивается очень дешево. С разными торговцами и болтунами не стоит даже разговаривать серьезно. Мы — дураки. И мы благодарим этих ученых, что они так откровенно высказывают свои мысли. А кто останется последним дураком — мы еще посмотрим.

Дальше эта редакция подтверждает, что «Ленин разрушил всю Россию». Но это разрушение она ведь и оправдывает. С неслыханным нахальством она заявляет еще, что «это было желанием и священной мечтой всех революционеров в течение целых поколений». Это для нас новость, что все революционеры стремились к разрушению России. В России никогда не было таких революционеров. И редакция не говорит о русских революционерах. Спрашивается после этого: какие же революционеры, о которых говорит редакция? Немецкие агенты? Они ведь тоже стремились к разрушению России. Но для чего? А только для того, чтобы превратить Россию в какую то «немецкую Индию». А может быть, какие то другие проходимцы, мечтающие продать кому нибудь Россию? Ведь только эти негодяи и задавались целью разрушить Россию. Русские же революционеры стремились не к разрушению России, а к разрушению несправедливого общественного строя. И когда редакция этой газеты сообщает о том, что есть какие то революционеры, стремящиеся к полному уничтожению России, мы можем только поблагодарить за это сообщение. Мы будем знать теперь, к чему стремятся эти «революционеры», о которых говорит

редакция. И удивительно здесь только одно: почему эта язва пристала к России? Почему она не разрушает, например, Германию? Быть может, только потому, что Россия — чужая ей страна? Быть может потому, что эти «революционеры» смотрят на русский народ, как на какое то удобрение для других наций и государств? Нет, милостивые государи, этот номер не пройдет. Россию никому не удастся разрушить. Сейчас ее можно оскорблять, можно смеяться над нею, ибо Россия переживает сейчас очень тяжелую болезнь — болезнь большевизма. Но, когда Россия выздоровеет, она вспомнит все эти насмешки и оскорбления...

Эта газета пишет еще, что «Ленин подавлял и подвергал страшным преследованиям своих оппонентов. И все эти преследования редакция оправдывает. Ленину всё дозволено. Он может вешать всех своих противников. Он — новый бог — Варрава. Спрашивается после этого: не преклонялась ли редакция этой газеты и перед Николаем Вторым, если она так раболепствует перед Николаем Третьим? И в этом оправдании всех большевистских злодеяний я вижу уже не болтунов и не торговцев, а нечто значительно худшее...

И меня очень удивляет в данном случае одно обстоятельство. Когда некоторые московские анархисты сказали несколько слов о Ленине, против этих анархистов выступили единодушно все наши товарищи. Особенно кричали в этом случае наши берлинские протестанты (от слова протест). Они писали и коллективные и личные протесты, хотя выступление московских анархистов носило личный характер. Что же касается поведения газеты «Фрайе Арбейтер Штимме», являющейся официальным органом целого еврейского движения, то об этой газете все почему то умолчали.

Все мечут громы и молнии по адресу москвичей и не говорят ни слова об этой почтенной газете. Что это значит? Это наводит меня на какие то грустные размышления... Уж если протествовать против чего нибудь, так надо протестовать против того, что разные торговцы и болтуны (если только нечто не худшее) называют себя анархистами и по-

зорят всё наше движение. Мало того: эта мерзкая газетка смеется над нами и начинает плевать нам в лицо. Это действительно — недопустимое явление.

Я не считаю нужным останавливаться больше на этой пошлой статье и на этих почтенных писателях. Всё это, по моему, не анархизм, а какое то издевательство над анархизмом. Анархисты никогда еще не обоготворяли своих палачей. Анархисты не могут распинать Христа и поклоняться Варраве. С этим явлением надо бороться. Когда в наших рядах появляются разные болтуны — это еще терпимая вещь. Но когда среди нас появляется какая то зараза — это совсем уж непростительная вещь. Нельзя же, в самом деле, позволять разным торговцам смеяться над нашим идеалом. Нельзя позволять им плевать нам в лицо. У нас ведь есть еще чувство чести...

1924

НА ПОРОГЕ ЗОЛОТОГО ВЕКА

«Перед нами 6000 лет духовной истории человечества. Из потока, разлившегося по всей планете, рождаются великие культуры и их судьбы, что и составляет историю в ее подлинном и глубоком смысле.

И вечно неизменный Этос заложен в основании каждой из этих культур. Он создает не только определенный дух мышления, чувствования и действий, дух государства, искусства и жизненного порядка, но также создает тип античного, индусского, китайского, европейского «Человека», с совершенно своеобразной структурой тела и души, единого в своем инстинкте и сознании, созидает *расу в духовном* смысле слова.

В глубине каждой культуры таится единая идея, которая выражается полными значения словами «Тао» и «Ли» у китайцев, «логос» и «сущее» у аполлоновского грека, воля, сила, пространство на языке фаустовского человека, который отличается от всех остальных культурных типов своим ненасытным стремлением к бесконечности»... Так говорит Шпенглер. («Закат Европы» и «Прусская идея и социализм»).

Каждая культура, по его мнению, подобна человеку: она рождается в глубинах бытия, переживает свою зрелость, свой золотой век и умирает естественной смертью. Когда умирает культура? Каков ее, если так можно выразиться, возраст?

«Всякое творение, — говорит Шпенглер, — являясь на свет, тотчас же порождает свое отрицание». Такая же картина наблюдается и в этом отношении: «после отмеренного ряда столетий, в конце концов, каждая культура превра-

щается в цивилизацию. То, что было живым, застывает и холодеет». Тогда то и умирает всякая культура. Спасти ее от смерти или продлить ее существование невозможно никакими силами; невозможно спасти ее от гибели потому, что такова *судьба* каждой культуры. С судьбою же нельзя бороться. Судьба — нечто жестокое и неумолимое. Древние греки думали когда то, что силе судьбы (Мойры) подчиняются даже сами боги.

Европейская культура, — по мнению Шпенглера, — умерла в самом начале XIX-го века. Сейчас в Европе нет новых культурных ценностей. Люди живут старыми ценностями, хотя все эти ценности не могут уже удовлетворить фаустовскую душу современного человека. Всё это кажется ему какими то обломками. Не даром, видимо, он думает, что и музыка Бетховена покажется грядущим поколениям каким то идиотским карканьем. Этот фаустовский человек хочет победить время и пространство своими телескопами, орудиями и машинами. (Г. Уэллс: «Машина времени», «Борьба миров», «Люди-боги» и др.). Творчество этого фаустовского человека не имеет никакого отношения к творчеству культурному; сейчас он создает цивилизацию, несущую ему с собою смерть, а вовсе не победу. Этот человек, если так можно выразиться, роет себе могилу, но роет ее упорно и настойчиво, ибо не может поступить иначе.

Поэтому то Шпенглер и смотрит так пессимистически на этот «закат Европы». Впрочем его пессимизм едва ли можно назвать пессимизмом. Он примиряется с этой неумолимой неизбежностью. Ему даже отчасти нравится этот закат жизни, это печальное осеннее увядание. Он находит нечто даже величественное в созерцании своего собственного умирания. Без всякого ужаса и содрагания смотрит он на свою владычицу — смерть, которая, словно какой то живой образ, следует за его шагами.

Дни европейской культуры почти сочтены. С этой судьбою должна примириться фаустовская душа современного

человека. Умирает, ведь, не первая культура. История знала много величественных и грандиозных культур, но от всех этих великих культур остались сейчас жалкие обломки. К числу этих культур относятся: египетская, вавилонская, ассирийская, греческая, римская и многие другие.

* * * *

Как это ни странно, но свет *новой* культуры Шпенглер уже сейчас заметил на Востоке. И этот свет исходит из России. В русском народе, — говорит он, — «заложены возможности многих народов будущего, как и в германцах времен каролингов. Русский дух знаменует собой обещание грядущей культуры, между тем, как вечерние тени на Западе становятся всё длиннее и длиннее».

Само собою разумеется, что базисом этой новой культуры будет не большевизм, «эта, по выражению Шпенглера, кровавая каррикатура на западные проблемы», а Россия подлинная; не душа большевизма, этот мусорный ящик, а душа подлинного русского народа. Не Троцкие и Ленины будут являться сеятелями этой грядущей культуры, а Достоевские, Толстые и Кропоткины...

* * * *

Странным кажется здесь еще и то обстоятельство, что Шпенглер ничего не говорит об Америке (Соединен. Штатах), этой, сравнительно молодой, но едва ли не самой могущественной стране в мире. Этой страны для него как будто и не существует: ни слова о ее прошлом, ни слова и о будущем.

Не говорит он ничего об Америке потому, что в этой стране не было до сих пор никакой культуры; ее культура еще не родилась; поэтому то и можно сказать, что Америка *духовная* еще не существует.

Америка до сих пор жила европейской культурой. Здесь не было ни своей музыки, ни живописи, ни литературы.

Всё это привозилось из Европы. Нет в Америке также и своего театра. Американская публика слушает в большинстве случаев артистов иностранных: итальянцев, немцев, русских и французов. Об американской архитектуре и говорить уже не приходится. Архитектуры нет здесь никакой: ни европейской, ни американской. То же, что называется здесь архитектурой, ничего общего не имеет с подлинной архитектурой. Истинный архитектор должен быть не только инженером, но должен быть также художником и скульптором. И даже больше того: Гегель видит в средневековой Готике даже «застывшую музыку». («Курс эстетики»). В Америке нет таких зданий, которые можно было бы назвать произведениями искусства. А если же и есть нечто похожее на чистую архитектуру, то всё это является подражанием европейской архитектуре. В большинстве же случаев здесь строятся (даже богатыми людьми) самые примитивные каменные коробки. Духовные и эстетические запросы американской публики — запросы небольшие. Оригинальность для нее вовсе не обязательна. Как в архитектуре она довольствуется только лишь *внутренним удобством* дома, так и во многих других отношениях она довольствуется суррогатами. Музыку эта публика любит слушать *по радио*. Музыку любит эта публика самую дикую и примитивную: она любит «джаз-банд». Эта «музыка» появилась в Америке видимо не случайно. Бетховена, Вагнера и Шопена слушают очень немногие. Место настоящих танцев заняли здесь неистовые негритянские «чарлстоны» и разная чертовщина. Вместо театра эта публика посещает кинематограф. Хотя в кинематографе демонстрируются иногда и ценные картины, всё же эти картины не могут заменить театра. Кинематограф — это не искусство, а индустрия (так его и называют в Америке: «кинематографическая индустрия»). Есть в этой индустрии и очень талантливые артисты. И жаль здесь не того, что их не очень много, что нет в каждой картине Мэри Пикфорд, Нормы Ширер, Адольфа Манжу или же Лон Чаней, а жаль здесь лишь того, что эти немногие выдающиеся артисты посвящают все свои

таланты служению этой индустрии, а не искусству. В области живописи наблюдается еще нечто худшее. Эта публика довольствуется 10 сентовыми «карточками». Она не нуждается ни в Рубенсах, ни в Рембрантах, ни в Рафаэлях. Американская литература представлена очень немногими именами. Из старых писателей выделяются больше всего Лонгфелло, Эдгар По и Марк Твэн, а из числа новых — Джек Лондон, Синклер Луис и Драйзер. Но все эти имена — имена сравнительно незначительные. Среди них нет ни Байронов, ни Шекспиров, ни Ибсенов. Самая интересная вещь Драйзера «Американская трагедия» написана, несомненно, под влиянием Достоевского. В религии и философии царствует жуткое безмолвие. Здесь не было никогда сильного религиозного подъема, но не было здесь также увлечения и атеистическими учениями. Изо дня в день американец заглядывает систематически в свою «книгу книг» — Библию, но никогда в нем не проявляются подлинно религиозные чувства. Американская же философия представлена тоже очень немногими лицами. Самыми оригинальными мыслителями в этой области считаются В. Джемс и Сантаяна. Но эта американская философия (прагматизм) — философия слишком убогая.. Это, пожалуй, и не философия, как таковая, а философическое обоснование практической жизни американца.

Вот почему многие европейские писатели смотрят на эту страну, как на страну «нищую духом». Бешеная погоня американцев за богатствами материальными, но не духовными, заставляет думать этих писателей, что Америка и является поистине той «каменистой почвой», на которой не взойдет ни одно зерно культуры.

Недавно же бывший профессор Колумбийского Университета, В. Дюрант, выпустил в свет книгу по истории философии («Story of Philosophy»), которая во многих отношениях кажется слишком парадоксальной. Этот профессор соглашается с мнениями тех критиков и писателей, которые не находили до сих пор в Америке никаких проявлений культуры. Что же касается *будущего* Америки, то эта стра-

на, — по мнению Дюранта, — в самом ближайшеме будущем сумеет показать дряхлеющей Европе свою молодую культуру. Он думает, что Америка стоит сейчас «на пороге золотого века». Эта культура, по его мнению, будет более величественной и совершенной, нежели античные культуры или культура европейская. До сих пор в Америке развивалась цивилизация; сейчас же думает Дюрант, когда эта страна достигла высокого экономического благосостояния, она и начинает создавать свою культуру, не похожую на культуры древние, не похожие также и на культуру европейскую.

Подобные суждения кажутся нам, разумеется, необычайно странными. Философия истории и философия культуры переворачиваются этим профессором наизнанку. Рассматривая с его точки зрения историю Америки, можно сказать, пожалуй, что эта история началась со своего конца, а кончится началом. История античных и европейских народов шла по другим путям: сначала развивалась культура, а затем уже, когда иссякали источники духовного творчества и развития, приходила цивилизация, являвшаяся в сущности, последним криком умирающей нации. Для американской же нации существуют, следовательно, какие то другие законы...

Профессор Дюрант говорит, что экономическое благосостояние нации всегда предшествовало их культурному проявлению. «Англии понадобилось прожить со дня своего основания до появления Шекспира целых 800 лет. Понадобилось также и Франции прожить то же число лет до появления Монтеня». «Греческая культура, — говорит он далее, — достигла высшего развития в эпоху Перикла, когда экономическая жизнь Греции была в состоянии высшего благополучия». «Грандиозные постановки трагедий Эсхила, Софокла и Эврипида были возможны потому, что они финансировались богатыми афинскими кругами». Итальянский ренессанс объясняется, по его мнению, также богатством средневековых итальянских городов, особенно Венеции и Флоренции.

«Микель Анджелло, — пишет Дюрант, — жил под крышей Медичи и там же создавал свои первые статуи». Когда же лица из рода Медичи оказались папами, тогда волна ренессанса захватила и Рим. Рафаэль также пользовался папским покровительством. После же экономического расцвета Франции, Англии, Голландии и Испании, и эти страны начали процветать в культурном отношении. Да и в Америке, говорит он, почти в каждом городе устраиваются бесплатные концерты, существуют библиотеки, стадиумы и музеи и все это финансируется американскими богачами. Благодаря этому американская публика имеет возможность познакомиться почти со всеми теми культурными ценностями, которые находятся в этих культурных хранилищах.

Взгляды профессора Дюранта нельзя назвать очень оригинальными. Они очень немногим отличаются от взглядов марксистов. Он, как и последние, стоит на точке зрения «экономического понимания истории». Поэтому, быть может, он и думает, что Америка стоит сейчас на пороге «золотого века».

Что же касается финансирования богачами всякого культурного творчества, то всё это не так уж соответствует действительности, как говорит Дюрант. История творчества его же соотечественника, И. Уитмена, ярко свидетельствует об этом. Этого «поэта грядущей демократии», (как называют его теперь), никто не считал при жизни даже второстепенным поэтом. Творчество Вагнера было признано только после смерти этого великого поэта-композитора. Нашего Скрябина, с его «божественными и сатаническими поэмами» почти совсем не признавали при жизни. Судьба многих великих писателей (Данте, Байрон, Достоевский и другие) была тоже ужасной.

На будущее своей нации Дюрант смотрит слишком оптимистически. Настанет время, пишет он, и эта нация «даст миру большую душу, нежели душа Шекспира, и больший разум, нежели разум Платона».

Очень хотелось бы верить в это великое будущее Америки, но в то же время в душу закрадывается некий глу-

бокий, непреодолимый скепсис. Душа американского народа пропитана смертельными отравами самого грубого материализма. Эта душа не стремится к горнему, а опускается всё ниже и ниже. Вряд ли в этой стране, где думают лишь о деньгах, о славе (даже дурной) и власти смогут осуществиться когда либо золотые мечты американского профессора.

Нет никаких сомнений в том, что в недалеком будущем Америка будет господствовать экономически (а может быть и политически) над всеми современными нациями. Она становится вторым Римом, но не Афинами. Место древних Афин, как говорит и Шпенглер, суждено, видимо, занять не Америке, а освобожденной от большевистской проказы матушке нашей России...

МОНАРХИЧЕСКИЙ СОЦИАЛИЗМ

Нет, кажется, в нашем двадцатом веке ни одной философской системы, нет ни одной естественно-научной теории, которую постигла бы такая печальная и роковая судьба, какая постигла социализм. Нынешнее его состояние является самым несчастным, жалким и плачевным. И все это случилось, вероятно, потому, что социализм не был до сих пор ни философией, ни научной теорией, ни социологией. Пусть себе воображают разные нынешние социалистические алхимики, что их учение стало в XX веке некой научной дисциплиной! Все их воображения так и остаются иллюзиями и воображениями. Им никогда, повидимому, не удастся, как говорит ибсеновский Бранд,

«Правдой то сделать, что было мне сном,
В жизнь провести свои грезы»,

ибо от их социализма, который никогда не уходил из их алхимических лабораторий и кабинета, уже почти ничего не осталось. Его уже собственная внутренняя дисгармония привела социализм к его духовной смерти, а практика его последних дней в России вырыла ему глубокую могилу, из которой он уже никогда не встанет.

Время наше — время безжалостное и жестокое. Гибнет в это время всё слабое, всё неустойчивое и колеблющееся. Гибнут так же в это безжалостное время и разные теории, системы и учения, которые строились на песке, а не на прочной почве. К числу этих «вавилонских башен» принадлежал, повидимому, и социализм, если его судьба оказалась такою трагической.

Было когда то время, когда на всякого социалиста люди смотрели как на апостола «свободы, равенства и брат-

ства». Но время меняется — меняются и люди и нравы. Сейчас на всякого социалиста смотрят как на шута, на клоуна, на скомороха. Нет, очевидно, поэтому в нынешних социалистических декламациях ни пламенной веры в свои «философские камни», ни прежнего энтузиазма. Давно остыл их пафос. Все эти нынешние алхимики напоминают собою того человека, который, не обладал ни силами, ни знаниями, ни способностями, взялся за сложную и грандиозную работу: печать горького разочарования и собственного бессилия лежит на их угрюмых лицах и на душе у них нет ничего, кроме шипения, злобы и ненависти. Таковы нынешние социалисты.

Слово «социализм» — слово какое-то магическое. Для нынешнего европейца оно имеет почти такое же значение, как и слово «ом» для индусского иога. Старый социализм умер, но многие из этих европейцев думают, что умер он лишь только потому, что этот социализм никогда не был истинным социализмом, что за этим магическим словом «социализм» скрывались такие вещи и понятия, которые ничего общего не имели с социализмом. Необходимо, следовательно, выяснить истинную природу социализма, необходимо в слово «социализм» вложить подлинное социалистическое содержание.

То же произошло с социализмом, что происходит со всяким покойником: пишут о нем некрологи, говорят о причинах смерти, о его правде и неправде, о его добре и зле. Эти люди так зачарованы этим словом, что никто из них не решается поставить крест на его убогой могиле, никто не скажет ему, наконец: «Да будет тебе легка земля»...

Поэтому, очевидно, пишут много об имени этого покойника и сейчас. Люди, повидимому, думают, что к «равенству, братству и свободе» нет никаких путей, кроме путей социалистических. Благодаря этому, еще и сейчас, как говорит Шпенглер, «слово «социализм» служит для обезличения если не самого глубокого, то самого громкого вопроса современности. Все употребляют это слово, но каждый при этом думает о другом, каждый вкладывает в этот

лозунг то, что он любит или ненавидит, чего он боится или чего желает. Но никто не охватывает при этом исторических условий в их узком и широком смысле. Инстинкт ли социализм или система? Конечная ли цель человечества или только устройство жизни на сегодня и завтра? Или это есть лишь требование отдельного класса? Тождествен ли он с марксизмом?»

Освальд Шпенглер принадлежит к числу тех же людей, которые вкладывают в это понятие некое новое содержание. Он тоже, как и многие другие, служит заупокойную мессу над этим покойником, но в то же самое время слагает торжественные гимны социализму будущего, или социализму истинному. Апостолом и проповедником этого «нового» и «истинного» социализма является сам Шпенглер.

В этом общем ходе «новых» социалистов Шпенглер занимает какое-то особенное место. Его социализм не имеет ничего общего со всеми известными нашему веку социалистическими (мертвыми и живыми) учениями. Его социализм — *социализм монархический*. Никакого другого социализма, — как говорит он о нем в своей книге «Прусская идея и социализм» (Пройссентум унд Социализмус) — никогда не было и никогда не будет.

Можно ли назвать марксизм истинным социализмом? Нет, — отвечает Шпенглер. Марксизм не имеет ничего общего с социализмом. Германская революция ярко свидетельствует о том, что все эти немецкие марксисты являются лишь клоунами, пошляками и жалкими болтунами. В течение всей своей деятельности они стремились к власти. Что же эти марксисты делали, когда они оказались у власти? Готовы ли они были во время этой революции защищать до последней капли крови свое социалистическое знамя?

Французские якобинцы могли побеждать потому, что они жертвовали собою, потому что эти люди боролись, как фанатики, во имя какой-то цели. «Они всё увлекали за собой. Они создавали армии из ничего, они побеждали без офицеров, без оружия. Если бы, — говорит Шпенглер, — их подражатели 1918 года развернули на фронте красное

знамя и провозгласили борьбу не на жизнь, а на смерть против капитала, если бы они ринулись вперед, чтобы первыми пасть, они увлекли бы за собою не только солдат и всех офицеров, доведенных до полного изнеможения, но и Запад. В такие минуты побуждают только собственной смертью. Но они спрятались; вместо того, чтобы стать во главе красных армий, они заняли хорошо оплачиваемые места во главе советов рабочих депутатов. Вместо битв с капитализмом, они выигрывали сражения против продовольственных окладов, оконных стекол и государственных касс. Вместо того, чтобы отдать свою жизнь, они продавали свою форменную одежду». Не было среди них ни одного идейного и смелого человека. «Революция потерпела крушение из-за трусости. Никогда еще народное движение не было втоптано в грязь более жалким образом, из-за ничтожества вождей и их свиты». Разве может победить та революция, в которой «придворные вчерашнего дня превращаются сегодня в убийц короля, и сегодняшние убийцы завтра превратятся в герцогов». Нет, такая революция не может одержать победу. Такую революцию ждет неизбежная гибель. Такая революция превращается в революцию глупости, а революция глупости всегда оканчивается пошлостью. Такую революцию не мог бы принять Бебель, являвшийся, по слову Шпенглера, единственным порядочным социалистом. «Он, со своим жизненным и здоровым смыслом, не потерпел бы этого позорного политического спектакля, он потребовал бы и добился бы диктатуры справа или слева. Он разогнал бы этот парламент и приказал бы расстрелять пацифистов и всех утопических мечтателей о союзе народов».

Марксисты, по мнению Шпенглера, не могут ничего создать. В области творчества они совершенно беспомощны. «Социализм означает не желание, а умение осуществлять». Ценны в социализме не его намерения, а его творения, достижения. Марксистам же неведомо творчество. Они способны только разрушить и «грабить награбленное». Они презирают труд, без которого не может существовать ни-

какое общество. «Если бы, — говорит Шпенглер, — Маркс уловил смысл прусского понятия труда, деятельность ради нее самой, как службы во имя общности, для «всех», а не для себя, как обязанности, которая облагораживается независимо от рода работы, то его манифест, вероятно, никогда не был бы написан».

Но здесь ему пришел на помощь его еврейский инстинкт, который он сам подчеркнул в своей работе «О еврейском вопросе». *Проклятие, которому предана физическая работа* в начале «Исхода», запрет *осквернять* трудом субботу[1], всё это сделало старозаветный пафос доступным английскому (марксовому) мироощущению. Отсюда ненависть Маркса к тем, которым не нужно работать. Социалист Фихте стал бы их презирать, как лентяев, как лишних людей, забывших свой долг, как паразитов жизни, но инстинкт Маркса внушает к ним зависть. Им слишком хорошо, и поэтому следует восстать против них». «Лютер прославлял простейшую работу, как угодную Богу. Гейне — как «требование дня», перед взором же Маркса открывается идеал пролетарского рая, в котором пролетарий обладает всем без всяких усилий»... Пока же труд является признанной необходимостью человека и этот человек не получил еще без всякого труда библейской социалистической манны. Пока живет он в буржуазном обществе, своим трудом вынужден он поддерживать свое существование. Это хорошо понял и Маркс. А раз это так, то Маркс и задался целью превратить труд этого человека в свободный *товар*.

---

[1] «И соблюдайте субботу, ибо она святая для вас: кто осквернит ее, тот да будет предан смерти». «Исход», 31, 14.

«Когда сыны Израилевы были в пустыне, нашли человека, собиравшего дрова в день субботы. И привели нашедшие его собирающим дрова к Моисею и Аарону и ко всему обществу. И посадили его под стражу, потому что не было еще определено, что должно с ним делать. И сказал Господь Моисею: должен умереть человек сей; пусть побьет его камнями всё общество вне стана. И вывело его всё общество вон из стана, и побило его камнями, и он умер, как повелел Господь Моисею». «Числа», 15, 32-36.

На этом построена и вся его политическая экономия. Раз капиталисты ничего не дают добровольно, раз их нельзя ограбить, необходимо, следовательно, войти с ними в коммерческие отношения и продавать им труд, как продают торговцы и всякий другой товар. *Творчество человека Маркс измеряет аршином и весами.* Вот почему марксизм и превращается в «капитализм рабочего класса». Истинный социалист никогда не увлекается так забастовками, как увлекаются ими марксисты. Истинный социалист думает о полном преобразовании общества на тех или других началах. Марксисты же любят вести торговлю (даже самую мелочную и пустую) с капиталистами. Рабочий, с этой точки зрения, «превращается в торговца своим товаром». Все эти мелочные забастовки, вся эта торговля с капиталистами «есть отличительный признак несоциалистичности марксизма, классический признак его происхождения от философии торговцев, к которой Маркс примыкал по инстинкту и привычке».

Если бы немцы шли по путям Маркса, то от их Германии, разоренной войной и совершенно задавленной Версальским договором, уже почти ничего не осталось бы. Сейчас же их страна почти что восстановлена: нет у них ни финансового, ни экономического кризисов в тех ужасающих формах, в каких всё это проявилось в «победоносной» Франции. Почему? Потому что немцы являются людьми творческими, французы же политиками и болтунами.

Маркс проповедует презрение к труду. Марксисты ненавидят капитализм потому, что сами еще не стали капиталистами; называют буржуа дьяволом, а наемного рабочего «ангелом новой мифологии» потому, что сами еще не поселились в буржуазных домах и не легли в мягкие буржуазные постели.

Вот почему, говорит Шпенглер, «нужно освободить немецкий социализм от Маркса». Рабочий класс тоже «должен освободиться от марксистских иллюзий. Маркс — мертв». «Ныне каждый шаг уже направлен против Маркса», хотя еще и до сих пор многие недоумки ссылаются на него.

Марксизм — не социализм. Истинным социализмом является, по Шпенглеру, только лишь прусская идея. В чем же она выражается? «Прусская идея, — пишет Шпенглер, — это *ощущение жизни, инстинкт, невозможность поступать иначе*»... «Истинно-прусской исторической действительностью являются до настоящего времени лишь творения Фридриха-Вильгельма I-го и Фридриха Великого: прусское государство и прусский народ». Прав был поэтому Бруно Бауэр, называвший Бисмарка в 1880 году первым немецким социалистом. Никакого другого социализма, кроме социализма Фридриха Вильгельма и Бисмарка, нет и не может быть. Поэтому Шпенглер и пишет: «Мы, немцы, социалисты, и были бы ими даже в том случае, если бы о социализме никогда ничего не говорилось». «Старо-прусский дух и социалистический образ мышления, ныне ненавидящие друг друга ненавистью братьев, представляют собой одно и то же».

Само собою разумеется, что этот социализм не имеет ничего общего со свободой. Что же это такое? Это, — отвечает Шпенглер, — «социалистическая монархия — ибо авторитарный социализм монархичен». «Социализм означает, — говорит он дальше, — власть, власть и снова власть». Вот почему Шпенглер и думает, что война 1914 года велась во имя истинной прусской идеи, иначе говоря, во имя истинного немецкого социализма. В этой великой мировой войне «псевдо-социализм, — говорит он, — стран Антанты сражался против истинного прусского социализма Германии. Свергнув императора, истинный социализм сам себя продал, изменил своему происхождению, своему смыслу, своему положению в социалистическом мире».

Родиной социализма, в этом смысле слова, нужно считать не Афины, не средневековые свободные города и республики, а древний Рим, с его железной волей, с его стремлением к мировому господству. Природа этого социализма — природа империалистическая. В этом смысле слова он и является истинным интернационалом. Другого интернационализма нет. «Истинный интернационал, — говорит

Шпенглер, — возможен только при победе идеи *одной* расы над всеми остальными, а не путем растворения всех мнений в одной бесцветной массе». «Истинный интернационал — это империализм, господство над фаустовской цивилизацией, следовательно, над всем миром, на основе одного руководящего принципа, без компромиссов и уступок, а только побуждая и уничтожая». Не Марксы и Энгельсы являются в этом смысле слова социалистами, а Александры Македонские, Чингис-Ханы, Аттилы и Наполеоны. «Мировое гражданство — жалкая фраза. Мы люди определенного столетия, определенной нации, определенного круга и типа». Платон был афинянином, Цезарь — римлянином, Гейне — немцем». «Мировая история — история государств. История государств — это история войн». Несмотря на то, что Шпенглер очень пренебрежительно относится к дарвинизму, говоря, что это учение «в его исключительно плоском истолковании у Бюхнера и Геккеля сделалось мировоззрением немецкого мещанства», здесь он и сам является типичным дарвинистом. Ведь и борьбу государств, наций и рас можно рассматривать с точки зрения дарвинической борьбы за существование. Заканчивает он свои суждения об интернационализме так: «Когда-нибудь будут смотреть с иронией на то, что ныне под именем интернационального социализма занимает господствующее положение в политической картине мира». Нынешний социалистический интернационализм — пустая и бессмысленная фраза.

Социализм ли это? Нет, это, конечно, не социализм. Если до сих пор не было истинного социализма, то и это учение Шпенглера не может быть социализмом. Хороший ли социализм или дурной, но всё же конечной целью его должна быть *свобода*. Свобода же, по Шпенглеру, является пустым понятием. Правда, его учение можно назвать социализмом, но это будет уже социализм Великого Инквизитора и Шигалева, давно предчувствованный и предвиденный гением нашего Достоевского. С каким-то удивительным пророчеством он писал этих старых и новых социалистов в «Братьях Карамазовых» и «Бесах». Свобода этого

социализма — свобода не Христова, а дьяволова. Это свобода от всего, свобода в рабстве, ничтожестве и бессилии. Это даже свобода и от самого себя, ибо этот социализм, как и всякий другой авторитарный и государственный социализм, не признает за душой человека никакой ценности. При этом социализме человек *умирает духовно*.

Учит ли жизнь чему-либо людей? Не всех и не всегда. Германская революция научила очень многому Генриха Манна, но она ничему не научила Шпенглера. Г. Манн пришел к тому заключению, что смена властей ничего не стоит.

Людям нужна свобода. Всякая власть и всякое насилие являются для Манна злом. Он признает такую революцию, которая могла бы увенчать себя не кровью и безумием, а истинным апофеозом духа и свободы. Этого писателя революция сделала почти что анархистом. Шпенглер же не понял этих очевидных истин. Прусское юнкерство и цезаризм — вот его истинный социализм.

Вот какова новейшая социалистическая теория.

О чём свидетельствует появление подобных социалистических теорий? Свидетельствует лишь о том, что не только марксисты, но и другие виды государственного социализма сошли со сцены жизни.

Какое же другое социальное учение займет место социализма в нашей общественной жизни? Есть только одно учение, учение о подлинной свободе и социальной гармонии. Имя ему — анархизм.

1926

ПРАВО И НРАВСТВЕННОСТЬ

Ни один русский писатель не понял так изумительно *русскую душу,* как понял ее Достоевский. Только ему, пожалуй, удалось проникнуть в эту великую таинственную душу и заглянуть в ее бездонные и страшные глубины. В этой душе увидел он и царство тьмы, и царство вечного немеркнущего света. Эта душа является как бы прообразом того изначального «древнего хаоса», который был так близок и понятен Тютчеву. Увидел он падения и возвышения этой души, ее убожество и гордое величие. И не случайно, очевидно, Митя Карамазов говорит Алеше, что «человек широк, даже слишком широк, и он бы его сузил». «Перенести я притом не могу, — говорит он брату, — что иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом Содомским»[1].

Вот в этой то широте безграничной, в этих трагических противоречиях и заключается какая то мистическая тайна этой великой и многоликой души. И какими жалкими кажутся иногда попытки иностранцев изучить и понять душу того народа, который даже и для нас самих является каким то вечным Сфинксом! Даже мы, русские, не поняли еще самих себя, не заглянули еще никогда в свои душевные стихийные глубины. Среди нас не было еще Эдипа, который мог бы разгадать наши душевные ужасные загадки. Многое понял и разгадал Достоевский, но всё же и после него осталось в этой области много загадочного и таинственного.

Трудно изучить эту душу потому, что она любит крайности, а не ту «золотую середину», о которой говорил некогда Аристотель. Эта душа не любит умеренности. Она не

идет теми широкими и ровными путями, по которым идет душа европейца или американца. Она любит играть с опасностью и даже со смертью. И чем страшнее и опаснее ее путь, тем более она находит в нём какого то мистического упоения. Хотя в России никогда не было рыцарства, но это бесстрашие русской души, эта любовь к опасностям являются типичными чертами подлинного рыцарства. Она не признает компромиссов. Она не признает «законов человеческих», которые так свято исполняют «добрые граждане» Европы и Америки. Она способна признавать один лишь закон Бога, но даже и этот закон она иногда отвергает во имя своей свободы. Поэтому, быть может, в этой душе и могут жить два разных идеала: идеал Мадонны и идеал Содомский, идеал Христов и идеал Великого Инквизитора.

Эта душа может молиться Богу и совершать в ту же минуту преступление; может унизить себя до последней степени, но в тот же час может возвыситься и нравственно преобразиться. Этой душе понятны только крайности. Понятен ей суровый аскетизм и подвижничество, но ей понятны также и те «сладострастники», образы которых так ярко начертал нам Достоевский в «Братьях Карамазовых». Эта «семейка» — русская. Русский Алеша, этот святой юноша, но русскими являются также и Митя с Иваном. Русской является и Соня Мармеладова, эта святая грешница, сыгравшая в жизни Раскольникова почти ту же роль, какую сыграла в жизни Данте божественная Беатриче. Все герои Достоевского являются теми людьми, в душах которых живет прежде всего эта особенная русская стихия. В этом смысле мы и называем их русскими. Таких людей нет ни в Европе, ни в Америке. Они могуть рождаться только там, где царствует эта могучая душевная стихия.

Эту особенность русской души никогда не удастся понять иностранцам. А в этой то особенности и заключается ведь подлинная русская идея. Проф. Б. Вышеславцев первый заметил в творчестве Достоевского эту своеобразную душевную стихию[2].

* * * *

Эти же страшные противоречия живут в душе всякого русского человека. Поэтому, быть может, и в русской культуре господствуют эти непримиримые и крайние начала. Неутолимая жажда свободы живет рядом с насилием и деспотизмом; религия и мистика с вульгарным материализмом; а подлинное русское искусство — с каким то безобразным пролетарским творчеством.

Печать этой русской стихии лежит даже на русских революциях. Последняя русская революция является необычайно яркой иллюстрацией этой особенности русского сознания. Русский революционер, как ибсеновский Бранд, признает только один лишь лозунг: «Всё иль ничего». Этот лозунг является чем то совсем непонятным для всякого западно-европейского или американского революционера. Даже в самом слове «революционер» это сознание находит иной смысл, ибо в Европе и Америке нет этой русской непримиримой революционности. Европа и Америка не могут понять духа русских революций.

«Безграничный общественный простор, — говорит профессор Н. Алексеев, — боязнь всяких принудительных и правовых форм характеризует наше социальное сознание в отличие от западного. Давно уже признано, что мы прирожденные анархисты. Анархия — это наша стихия, без которой нам тесно и страшно». «Конечно, — говорит он далее, — анархизм не исключительно русский продукт. И на Западе существовали анархисты, пожалуй, не менее последовательные, чем у нас. Но анархизм, как стихийное массовое течение, несомненно, является нашим приобретением. Широкие массы у нас верят, что анархия есть неопровержимо лучший общественный строй»[3].

Этот стихийный русский анархизм проявился очень ярко в русской революции 1917 года. Даже все русские социалистические партии, являющиеся продуктом западной культуры, являются отчасти анархическими. Даже коммунистическая партия дышала некоторое время (1917 год) этим же анархическим пафосом. Замыслы и дерзания ее были в то время грандиозными. Даже в 1918 году ее вождь,

Ленин, заявил открыто, что цели этой партии — ничем не отличаются от целей анархистов[4].

В русских революционерах живет начало вечного бунтарства. Им непонятны, в сущности, ни социальные реформы, ни компромиссы, в которые так верят западно-европейские социалисты. Всякий авторитет, всякий правопорядок является в нашем сознании каким то безусловным злом. Отсюда бунт против господства и авторитета, «бунт против всего, — как пишет Алексеев, — что кроет в себе хотя бы намек превосходства». Нам вечно грезится прекрасный образ человека «без Бога, без хозяина, без власти».

Само собой разумеется, что если в этом безусловном бунте кроется какое нибудь творческое начало, если в этой стихии бунта могут родиться счастье и благополучие, тогда в этой стихии имеется свой сокровенный смысл. Если результатом этого бунта будет всеобщий праздник, праздник освобожденного человека, тогда это стихийное бунтарство будет являться нашей великой гордыней. Трагедия же этого бунтарства заключается в том, что результатом его может быть и хаос. Это мы видим в русской революции. Мы, словно средневековые маги, вызвали духов стихийных сил, но управлять ими у нас нехватило силы. Отсюда хаос, смерть и разрушение. И наши голоса не звучат в этом бунте так мощно и торжественно, как, например, звучат они в увертюре «Тангейзер», но с каждым днем становятся всё тише и печальнее... Ибс не мы победили хаос, а хаос победил нас. Бури и громы этого бунта поразили нас же самих. Мы не могли, подобно Зевсу, держать эти громы и молнии в своих руках и направлять их в нужные лишь стороны.

Прав, разумеется, профессор Алексеев, когда говорит, что «начало безусловного бунта есть чисто отрицательный и творчески ничтожный принцип. Чтобы бунтовать со смыслом, надо знать, *во имя чего бунтуешь*. Авторитет принципа есть божество правого бунта, и нельзя поэтому объявить бунт всем богам, так как тогда самый бунт будет ничтожным. Состояние безусловного бунтарства есть состояние безумия, в него впадает человек в бешенстве, когда

им владеет тот «бес», которого Достоевский увидел в нашей революции»... «Разве признание авторитета более разумного человека заключает в себе что нибудь плохое? И разве безусловному отвержению подлежит авторитет нравственный? Авторитет сам по себе не заключает еще ничего дурного. Бывает хороший, бывает и дурной авторитет». Бунтуя же против всяких авторитетов, люди бунтуют и против творческого и положительного авторитета. «Заблуждение анархизма, — продолжает Н. Алексеев, — проистекает из искаженного толкования идеи равенства. Нельзя оправдать, — говорит он, — многие общественные неравенства: богатство и бедность, господство и неволю. Бунт против них допустим, пускай он совершится. Пусть уничтожено будет социальное неравенство, пусть водворится царство общественной справедливости. Разве в этом царстве справедливости не будет превосходства разума, чести и совести? Разве не будет нравственно больших и малых, учителей и учеников, достойных и недостойных? Мы думаем, что с водворением социального равенства не кончится еще прогресс человечества, а как он возможен без «больше» и «меньше», без своеобразного неравенства? Не станут же люди сразу богами».

Глубоко заблуждаются те анархисты, которые так свято верят в возможность абсолютного равенства. Никогда не может быть абсолютного равенства, как не может быть абсолютной свободы. Если речь идет о равенстве материальном, то в этом отношении их вера может оправдаться до известной степени. Но ведь кроме материальной стороны есть в жизни человеческой еще и сторона духовная. Запросы же материальной стороны являются почти ничтожными в сравнении с запросами духовными. И если в области экономической можно достичь какого нибудь равновесия, то в области духовной едва ли может быть такое достижение. Материальные богатства могут быть отняты у человека, могут быть «национализированы» или же «социализированы», но к области духовного богатства не применима никакая «социализация». Духовное равенство (относительное, разу-

мeется) будет возможно не тогда, когда люди, следуя большевистским принципам, будут «грабить награбленное», а будет возможно лишь тогда, когда люди, приняв учение Христа, будут сами же *раздавать* свои духовные имущества бедным и нуждающимся.

Большевики, как нам известно, сделали некогда попытку осуществить принцип такого равенства. Попытка же их кончилась трагически: никакого равенства (ни материального, ни духовного) им не удалось осуществить. Ограбить они могли богатого купца, но не могли ограбить богатого духом и знаниями.

В области материальной эти грабители могли занять место ограбленного, но они не могли освободиться от своей духовной нищеты, от своего духовного плебейства. Были последними, последними и остались.

Сам по себе грабеж является чем то ужасно соблазнительным; искушения его — искушения очень великие. Нужно быть подлинным титаном духа, чтобы победить этот великий соблазн, чтобы преодолеть эти ужаснейшие искушения. Грабеж всегда связан с богатством и удовольствиями (материальными); богатству же любят поклоняться в наше жестокое время и глупые, и умные, и сильные, и слабые, и бедные, и богатые. Сейчас в каждой стране ничтожнейшее меньшинство богатых грабит самым безжалостным образом бедняков. Но ведь и эти бедняки (особенно в Америке) желают стать богатыми. «Плохой тот солдат, — говорит наша пословица, — который не думает быть генералом». Бедняк не хочет быть ни маршалом, ни генералом (об этом думают военные), но он частенько хочет быть Рокфеллером и Фордом. Жажда богатства — жажда неутолимая; она живет так сильно в душе современного человека, что ему очень трудно освободиться от этого проклятого и страшного недуга. Жажда богатства делает его рабом мертвых вещей и убивает в нём все лучшие порывы и стремления. Наше XX столетие является слишком практическим. Понятия достоинства и чести, подвига и героизма почти неведомы людям нашей эпохи. Ни Прометей, ни Эрос, ни Психея не мо-

гут жить сегодня на земле. Никто их не поймет сейчас. Нигде им не найдется места. Место их занял на земле Мидас. Любовь к богатству так же сильна в этом мире, как и жажда власти. Люди, конечно, знают, что все эти явления — явления суть преходящие. Умирает всякая власть, погибают богатства материальные, не погибают лишь духовные сокровища. Умирают Рокфеллеры, Морганы и Карнеги, но не Софоклы, Данты, Байроны и Достоевские. Это болезнь нашего столетия. Трудно бороться с нею потому, что все люди больны этой болезнью.

Усердно же культивируется эта болезнь различными социалистами, особенно большевиками. Богатство является их божеством. Многие люди думали когда то, что большевики ведут борьбу с богатством ради уничтожения этого идола и ради утверждения каких то новых ценностей. Но это мнение было большой ошибкой, ибо большевики устроили свою «октябрьскую» революцию лишь для того, чтобы прибрать *к своим* рукам богатство. Это они и сделали. На языке большевиков этот грабеж называется «экспроприацией экспроприаторов». Но этот лозунг не выдерживает ни малейшей критики. Нельзя его оправдать ни юридически, ни морально. Не мог бы оправдать его даже сам Маркс. Маркс, как известно, говорил *о праве работника на полный продукт его труда*. Если бы все эти богачи были ограблены рабочим классом, то в этом грабеже была бы своеобразная правда. Но ведь ограбили этих богатых не рабочие, создававшие эти богатства, а те немногие «коммунистические товарищи», которые ни в коем случае не могут быть причислены к рабочим. Многие из них никогда не работали на капиталистов; а многие считали «буржуазным предрассудком» работать даже на самих себя. Иные же из них сидели просто в тюрьмах в качестве уголовных преступников.

Вот эти то «товарищи» и не имеют права на грабеж. Им не позволил бы грабить даже сам Маркс, духовный их отец, ибо работник может взять *свое* лишь. Если же он берет не свое, то он становится самым обыкновенным грабителем. Никто не имеет права на такой грабеж. Если же это

действие будет оправдано, тогда нужно оправдывать и того человека, который ограбит первого грабителя. И так до бесконечности.

Правда, большевики могут сказать нам, что и они ведь потрудились много в этой революции. Конечно, можно согласиться с ними до известной степени, но ведь не нужно забывать того, что и разбойник тоже «трудится». Палач, ведь, тоже «трудится». Такою же работою была работа и большевиков. Стрелять людям в затылки из ружья — это еще не значит трудиться; это не значит также, что, убив богатого, убийца получил какое то право на его имущество.

* * * *

Многие революционеры, в том числе и анархисты, проповедуют социальную революцию, но очень немногие из них поняли истинную сущность этой великой социальной катастрофы. Немногие из них уразумели также и такой вопрос: какими должны быть пути подлинной социальной революции? Одни из них нам говорят, что подлинная революция заключается в полной «экспроприации экспроприаторов»; другие думают, что истинная революция заключается в установлении «диктатуры пролетариата» и в полном истреблении буржуазии и интеллигенции; третьи же утверждают, что подлинная революция будет происходить тогда, когда она отвергнет всякие моральные и юридические нормы и утвердит один лишь только принцип: господство революционных чувств.

Такие революции не могут быть успешными. Финал подобных революций бывает обычно трагическим. Такой финал подобных революций является почти что неизбежным. Если устраивается социальная революция, то в ней должна быть некая душа, должны быть новые, более высокие нравственные и социальные идеалы. Если такая революция отвергает современное принудительное право, то она может отвергать это право только во имя права лучшего, но не во имя бесправия. Не может быть на свете ничего ужаснее, чем

полное бесправие. Полное бесправие есть в сущности самый разнузданный и дикий деспотизм. При полном бесправии (если только люди не руководствуются нормами моральными) господствует обычно грубая физическая сила. Можно сказать, пожалуй, что даже плохой закон лучше такого беззакония. Классический образец этого абсолютного беззакония мы видим в начале большевистской революции, когда высшим законом революции была воля чекиста и грабителя. Без всякого суда и следствия, эти чекисты могли бросить в тюрьму человека, и этот человек нигде не мог найти защиты. Могли его также и расстрелять без всяких оснований, просто ради удовольствия, если только он не принадлежал к этой верховной властвующей касте.

Правосудие средневековых инквизиторов является чем то поистине кошмарным и чудовищным. Что же касается правосудия большевистского, то можно сказать, пожалуй, что оно в тысячу раз хуже правосудия инквизиторского. Правосудие инквизиторское должно было, ведь, предъявить человеку те или другие обвинения, должно было судить его, должно было дать слово обвиняемому. Правосудие же большевистское просто злодейским образом убивало людей сотнями и тысячами и называло все эти убийства «революционным террором». Средневековье знало еще и *места убежища,* как описал их, в частности, Виктор Гюго в своем «Соборе Парижской Богоматери», а русские большевики сумели превратить всю нашу необъятную Русь в Лобное место и кладбище. Вот что означает полное бесправие.

Если же революция свергает с пьедесталов финансовых королей мира, то она может это делать только во имя экономической справедливости, а не во имя разграбления этих богатств и распределения их по карманам.

Если социальная революция не признает никакой «буржуазной морали», она должна яркими огненными буквами начертать на своих революционных скрижалях более совершенные нравственные учения. Если же она отвергает всякую мораль, как нечто буржуазное, то она неизбежно окончится людоедством. Это предвидел тот же Достоевский,

когда писал о наших «русских мальчишках», которые, сидя в трактирах и пивных, любили разрешать вопросы мировой важности. «Начнут с высокого, а кончат людоедством». Этим и кончили наши коммунистические Шигалевы и Верховенские, эти своеобразные бесноватые, когда их социальный бунт окончился бунтом моральным.

Бунт против права и нравственности не является достоянием нашего века. Бунт против юридических и моральных норм кроется где то в глубине истории. Еще стоики и софисты сомневались когда то в святости и справедливости различных «человеческих законов». Знания и совершенство человека нельзя назвать чем то законченным и абсолютным. Нельзя, следовательно, и творчество этого человека считать чем то священным. А величайший трагик древней Греции, Софокл, является, пожалуй, большим аномистом, нежели стоики или софисты. Свобода для него является высшим законом. Его бессмертные трагедии (особенно же о царе Эдипе) являются торжественным гимном свободе. Его божественная Антигона бунтует даже против самого царя. Царь ей предписывает соблюдать установленные законы, а она говорит ему:

...«Закона твоего
Не начертал ни Бог, ни справедливость».

Самыми величайшими аномистами нашего времени являются, пожалуй, анархисты. Многие из них думают, что анархизм отрицает *всякое право* просто догматически. И в этом мнении имеется значительная доля правды. Такие крупные мыслители, как Штирнер и Толстой, не признавали никакого права. Первый отрицал его во имя эгоизма, второй же отрицал его во имя всеобщей любви.

Так, например, Макс Штирнер говорит: «Ты имеешь право на то, на что имеешь власть. Все права и все полномочия я произвожу от самого себя. Я имею право на всё то, что я могу осилить. Я имею право низвергнуть Зевса, Иегову, Бога, если я это могу; если я этого не могу, то эти боги

всюду останутся против меня правыми и сильными». «Земной мир принадлежит тому, кто может взять его, или тому, кто не позволяет отнять у себя его. Если он присвоит его себе, то ему принадлежит не только мир, но и право на него. Это — эгоистическое право: мне так удобно, поэтому это мое право»[5].

Толстой отрицает всякое право потому, что оно противоречит учению Христа. Христос не признавал ни права римлян, ни нравственности иудеев. Римляне считали его бунтовщиком против римских законов, иудеи считали его самым величайшим бунтовщиком против иудейской нравственности. Первые считали его своеобразным гражданским преступником, вторые же распяли его за его новое моральное учение. «Не судите, да не судимы будете». «Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень». Так говорил Христос.

На этом основании Толстой и отрицает право. Всякое принудительное право является безусловным злом. Где есть царство закона, там нет царства любви и свободы. «Где нет закона, — говорит апостол Павел в Послании к Римлянам, — там нет и преступления» (4, 15).

«Хорошо было еврею подчиняться своим законам, — пишет Толстой, когда он не сомневался в том, что их писал пальцем Бог; или римлянину, когда он думал, что их писала нимфа Егерия; или даже когда верили, что цари, дающие законы — помазанники Божии, или хоть тому, что собрания законодательные имеют и желание и возможность найти наилучшие законы». «Уже во времена появления христианства люди начинали понимать, что законы человеческие, выдаваемые за законы Божеские, писались людьми, что люди не могут быть непогрешимы, каким бы они не были облачены внешним величием и что ошибающиеся люди не сделаются непогрешимыми оттого, что они соберутся вместе и назовутся сенатом или каким нибудь другим таким именем». «Но мы ведь знаем, как делаются законы, мы все были за кулисами, мы все знаем, что законы суть произведения

корысти, обмана, борьбы партий, — что в них нет и не мобыть быть истинной справедливости»[6].

Следовательно, признание каких бы то ни было законов «есть признак самого дикого невежества». «Любовь повелевает, чтобы вместо права она сама стала для людей законом. Из этого следует, что мы должны руководствоваться не правом, а заповедями Христа»[7].

Так же враждебно относится к законам и Кропоткин. «Закон, по его мнению, не имеет никакой культурной задачи. Его единственная задача состоит только в защите эксплуатации»[8]. Жестоко ошибаются, однако, те анархисты, которые, быть может, думают, что и Кропоткин отрицает право вообще, как это делают Толстой и Штирнер, отвергающие его без всяких ограничений во времени и пространстве. Кропоткин отрицает только лишь принудительное право, он отвергает «письменный закон». Но он не отвергает права вообще. Он признает «обычное право» и «право договорное», которое и будет правом будущего общества[9]. Не отрицает также этого обычного права и Бакунин. Нельзя поэтому назвать их аномистами. Нельзя также и думать, следовательно, что анархия отрицает право. К числу самых непримиримых анархистов-аномистов принадлежит только Толстой, не признающий никакого права. Что же касаетстя Кропоткина и Штирнера, то их нельзя назвать такими анархистами: Кропоткин утверждает право обычное и договорное, Штирнер же, отрицая право вообще, право других людей, утверждает только свое лишь право, право эгоиста.

Что же такое право? Можно ли отрицать современное право, не заменив его каким то иным правом или же нравственностью? Имеет ли какое нибудь отношение та или другая юридическая норма к нормам моральных требований? Возможно ли существование какого либо общества без всяких юридических, а также и моральных норм?

Это важнейшие вопросы, которые необходимо разрешить во что бы то ни стало всякому бунтовщику против права и нравственности.

«Право, — говорит Меркель, — есть *средство для достижения цели;* оно служит для ограждения установленного порядка; право служит интересам, которые при нём получают возможность свободного осуществления; к этой цели направляется право.

Содержание права можно сравнить с содержанием мирных договоров, ограничивающих сферы господства различных государств по отношению друг к другу и достигающих этого настолько, насколько такое ограничение соответствует потребности в прочном мире в среде участвующих в мирных переговорах государств, а не в скоропреходящем кратком перемирии.

Содержание права одновременно же подпадает некоторому влиянию в смысле установления или сохранения его *в согласии с господствующими этическими воззрениями,* особенно с воззрениями на справедливость, и поэтому всегда наряду со свойством целесообразности право притязает и на свойство справедливости».

«Вследствие этого, прежде частое осуждение старых женщин за колдовство, в настоящее время, мы считаем несправедливым, так как никакого колдовства не существует, а потому и приговорам не достает *фактической* истинности; точно также для нас является несправедливым прежде частое осуждение еретиков на сожжение, так как подобное осуждение противоречит нашим этическим взглядам и подобным приговорам, по нашим воззрениям, не достает *нравственной истинности*».

Когда мы говорим о современных уголовных кодексах, о гражданском праве и праве международном, мы можем, разумеется, отвергать его на тех же основаниях, на каких отвергали его Штирнер, Толстой и Кропоткин. Современное узаконенное право едва ли можно назвать «минимумом нравственных требований», как думал, например, в свое время Вл. Соловьев[11]. Эту же точку зрения защищает и Еллинек.

Когда же речь идет о праве договорном или о праве обычном, то это право не могут отрицать ни социалисты,

ни анархисты, если только они думают не об отвлеченном штирнеровском индивидууме, а об общественной жизни людей.

Право не нужно только для Робинзона Крузо, живущего на необитаемом острове, и не имеющего никакой связи с другими людьми. Своеобразные юридические нормы появляются на этом острове только тогда, когда там появляется другой индивидуум (Пятница). Если даже два человека составляют общество, то даже в этом обществе появляются юридические взаимоотношения. Они создают для себя разные правила поведения, правила общей работы, которые и являются фактически их юридическими отношениями. Эти законы мы найдем даже в разных общественных организациях, хотя они известны там под именем статутов и уставов. Нельзя, конечно, думать, что подлинный закон есть только закон писанный. Люди в большинстве случаев руководствуются в своих взаимоотношениях законами неписанными. Эти законы, как и многие народные обычаи и традиции, играют бóльшую роль в жизни, нежели законы писанные. Этими законами руководствуются наши русские крестьяне. Только эти законы признавало средневековое рыцарство. Эти же законы играют очень большую роль даже в американском судопроизводстве. Бывают даже конституции неписанные, как, например, английская.

Будут, повидимому, существовать эти обычные или же договорные законы даже в тех совершенных обществах, какими грезятся нам общества лишь анархические. Всякое правило, принятое этим обществом, будет, конечно, обязательным для члена общежития. Всякое нарушение этих правил будет вносить в эту общественную жизнь начала разложения. Если кто либо не захочет подчиняться этим общественным правилам, он может уйти из общества, но он не может находясь там нарушать эти установленные правила.

Законченное и совершенное общество мыслимо только тогда, когда все его члены будут стоять на высшей ступени нравственности, когда они добровольно будут проявлять

максимум добра и справедливости. Такому обществу не нужны никакие законы, ибо их нравственность выше законов. Вполне можно согласиться с проф. Алексеевым, который говорит, что «отношения существ, находящихся в стадиях нравственного экстаза, не могут быть построены на праве и не знают права. Им право не нужно с высшей точки зрения, как животному существу оно не нужно с низшей»[12]. Ранние буддийские и христианские общины находились до известной степени в состоянии этого нравственного экстаза, а потому-то они меньше кого бы то ни было имели нужду в законе.

Закон требует от человека немногого. Он говорит человеку: не убивай, не грабь, не насилуй, потому что подобные действия приносят очевидный вред другому человеку. Закон не требует от человека, чтобы он *любил* ближнего, чтобы он раздавал свое имуществу бедным, но он не позволяет также человеку делать какое-либо зло другому человеку. Для этого-то «низшего» и «среднего» человека, не осознавшего еще своего нравственного долга, и существуют правовые нормы. И эти нормы, ставящие этого среднего и низшего человека на ступени *должного,* будут существовать до тех пор, пока все его поступки не будут вытекать из его нравственных эмоций. Ибо, где начинается нравственность, там кончается право.

Надо думать, что в анархическом обществе люди не превратятся в ангелов, если только их анархизм не будет вытекать из религизоных или мистических источников. А раз это так, то среди них возможна будет и борьба, и ненависть, и насилие, и ложь, и многие другие действия, которые можно отнесть не к области греха, а к области обычных правонарушений. Возможны будут также и уголовные преступления (ибо источник преступлений нужно искать не только в несовершенстве социальной жизни, но и в области психической), с которыми придется обществу бороться. Не будут же, ведь, совершаться все преступления безнаказанно.

Поэтому, быть может, Достоевский и думал, что преступления могли бы сократиться только в том случае, если бы церковь судила преступников. Церковь не может рассматривать человека с той же точки зрения, с которой рассматривает его нынешнее государство. Для государства человек — *ничто,* для церкви же — *абсолютная ценность.* В первом случае — человек существует для целого, во втором же случае — целое существует для человека.

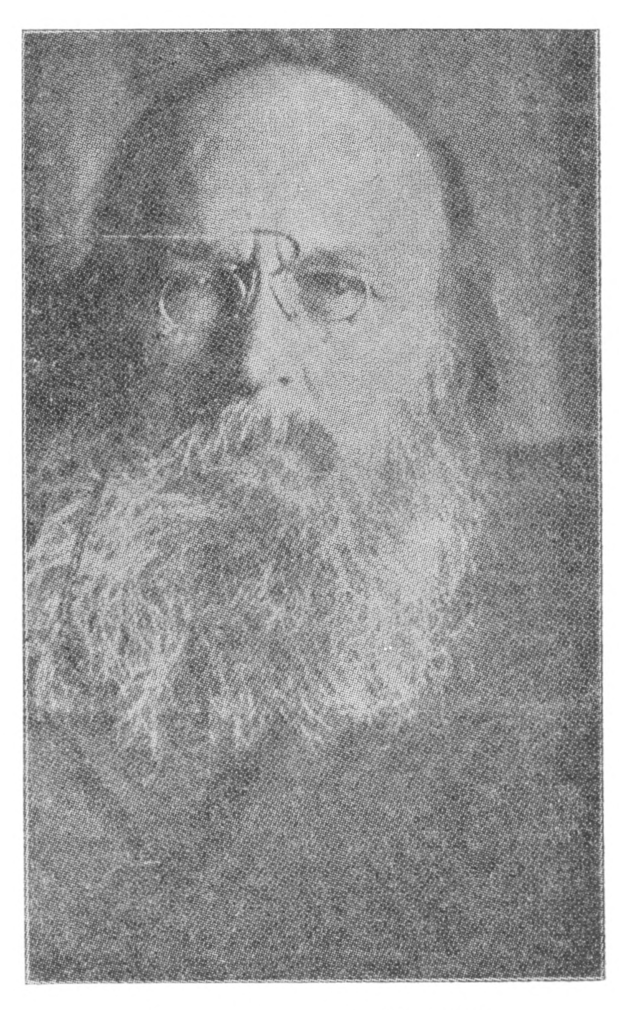
Можно, конечно, и не соглашаться в целом с Достовским, но нужно признать, что в его суждениях имеется какая-то своеобразная мудрость. Вот что он говорит устами своего героя:

«Если бы всё стало церковью, то церковь отлучала бы от себя преступного и непослушного, а не рубила бы тогда голов, — продолжал Иван Федорович. — Я вас спрашиваю, куда бы пошел отлученный? Ведь он должен был бы не только от людей как теперь, но и от Христа уйти. Ведь он своим преступлением восстал бы не только на людей, но и на церковь Христову. Это и теперь, конечно, так в строгом смысле, но всё-таки не объявлено, и совесть нынешнего преступника весьма и весьма часто вступает с собою в сделки: «украл, дескать, но не на церковь иду, Христу не враг», вот что говорит себе нынешний преступник сплошь да рядом, ну, а тогда, когда церковь станет на место государства, тогда трудно было бы ему это сказать, разве с отрицанием всей церкви на всей земле: «все, дескать, ошибаются, все уклонились, все — ложная церковь, я один убийца и вор — справедливая церковь». Это ведь очень трудно себе сказать, требует усилий огромных, обстоятельств не часто бывающих. Теперь, с другой стороны, возьмите взгляд самой церкви на преступление: разве не должен он измениться против теперешнего, почти языческого, и из механического отсечения зараженного члена, как делается ныне для охранения общества, преобразиться, и уже вполне и не ложно в идею о возрождении вновь человека, о воскресении его и спасении его»[13].

* * * *

Право и нравственность являются важнейшими проблемами, которые во что бы то ни стало нужно разрешить. Достаточно детально разработано анархическое учение с точки зрения экономической и политической, но оно не рассматривалось никогда серьезно с точки зрения юридической. А между тем, право и нравственность являются важнейшими основами всякого человеческого общества. В основе первого лежит *необходимость,* в основе другого — *полная свобода.* Отрицать же и то и другое может лишь только тот, кто хочет уподобиться низшим животным, которые не знают еще ни понятий должного, ни нравственных поступков.

Примечания: [1] *Достоевский:* Братья Карамазовы, [2] *Б. П. Вышеславцев:* Русская стихия у Достоевского. [3] *Проф. Н. Алексеев:* Введение в изучение права. [4] *Ленин:* Государство и революция. [5] *М. Штирнер:* Единственный и его собственность. [6] *Л. Толстой:* Царство Божие внутри вас. [7] *Толстой:* В чём моя вера? [8] *П. Кропоткин:* Речи бунтовщика. [9] Там же. [10] *Меркель:* Юридическая Энциклопедия. [11] *Вл. Соловьев:* Оправдание добра. [12] *Проф. Н. Алексеев:* Основы философии права. [13] *Достоевский:* Братья Карамазовы.



Аполлон Андреевич Карелин
(1863 — 1926)

АПОЛЛОН АНДРЕЕВИЧ КАРЕЛИН

(К 10-летию со дня смерти)

20-го марта 1926 года в Москве скончался Аполлон Андреевич Карелин, имя которого известно каждому русскому культурному рабочему в Америке. Лично его знают немногие; знают только те, кому пришлось с ним встретиться в России в годы революции. Но несмотря на это, А. А. Карелин был близок и дорог всем русским культурным рабочим. Они знали его по многим книгам и брошюрам, по многочисленным газетным и журнальным статьям.

На мою долю выпало счастье прожить почти семь лет вместе с А. А. Карелиным. Я не знаю ни его детства, ни юности, и не могу поэтому описать всю жизнь этого милого старика, с вечно юной и бурной душою. Хотя я знал его очень близко, но я никогда не спрашивал его о его личной жизни.

Не люблю, когда меня спрашивают иногда об этом, не хочу спрашивать об этом и других. Для многих людей личная жизнь является святыней. Всякое прикосновение к этой святыне может вызвать в душе человека только одну лишь боль.

Знаю о его жизни следующее:

Родился Аполлон Андреевич в 1863 году в Петербурге. Местом постоянного жительства Карелиных был Нижний Новгород. Отец его, свободный художник, принадлежал к роду аристократическому. Мать А. А. была недалекой родственницей поэта Лермонтова. Дом Карелиных сохранился в Н.-Новгороде до сих пор и превращен сейчас большевиками в музей.

Учился А. А. в нижегородской гимназии. В 1888 году он выдержал экзамен в Казанском университете на Кандидата Юридических Наук.

Литературная деятельность А. А. началась в 1887 году, когда он напечатал в «Юридическом Вестнике» статью «Отхожие и кабальные рабочие» под псевдонимом Макаренко. После этого его статьи по юридическим и экономическим вопросам появлялись очень часто в «Русской Мысли», «Северном Вестнике», «Экономическом Журнале» и других изданиях. В 1893 году была напечатана в Петербурге его книга «Общинное владение в России»; через год появилась его вторая книга «Краткое изложение политической экономии».

В революционном движении он принял участие будучи еще юношей. Был арестован по делу убийства Александра II, но благодаря связям родителей был освобожден из Петропавловской крепости. За свою революционную работу (тогда он не был анархистом) был несколько раз в ссылке. Будучи в ссылке в Сибири, занимался адвокатурой. После революции 1905 года он уезжает во Францию, где и живет до 1917 года. Там же сложились окончательно его анархические взгляды. Некоторое время он, кажется, читал лекции в Высшей Школе Социальных Наук в Париже. Главная же его деятельность была анархической. Там он издавал множество брошюр, листовок и журналов. Заполнял он также своими статьями (под разными псевдонимами) страницы русско-американских анархических изданий.

Когда же произошла февральская революция, А. А. прощается с «милым Парижем» и возвращается в Россию, где с юношеским энтузиазмом работает в анархическом движении. Читает лекции, доклады, пишет для газет. Особенно много писал он для петроградского «Буревестника», пока эта газета не была захвачена вооруженными бандитами, назвавшимися анархистами.

Прожил он в Петрограде два-три месяца, но его знают уже все рабочие. Все его зовут дедушкой, все его просят прочесть лекцию.

Я познакомился с А. А. Карелиным недели через две после его приезда из Парижа. Задолго до этого я переписывался с ним. Я получал от него обычно небольшие деловые письма и он казался почему-то мне очень замкнутым и молчаливым.

Но с первого же нашего знакомства я полюбил его всем своим сердцем и душою. Его красивое аристократическое лицо, с длинною седою бородою, никогда не было мрачным. Хотя в это же время всем приходилось переносить всевозможные экономические лишения, но они его никогда не огорчали. Он жил революцией. Жил верой в лучшее будущее.

Весною 1918 года я переехал в Москву, а через несколько недель приехал туда и А. А. Здесь продолжалась та же работа. Здесь же А. А. некоторое время верил (как и большинство русских анархистов), что октябрьская революция является началом революции социальной.

Но проходит несколько месяцев и эти иллюзии начинают рассеиваться. Появляется «красный террор», начинается преследование большевиками социалистов и анархистов, и А. А. заявляет, что революция разгромлена большевиками.

В Москве вокруг Карелина группировалось много анархистов. В его комнате можно было встретить рабочих, приехавших в Москву крестьян, студентов и студенток, людей из аристократического мира, профессоров и многих литераторов. Карелин умел говорить с каждым человеком. Эти люди придерживались очень часто самых разнообразных мнений, но все любили этого милого старика. Любили его, может быть, за то, что он уважал мнение всякого человека. Он никогда не спорил.

Так, например, хотя во многих отношениях я не соглашался с ним, но в течение 7 лет нашей совместной жизни и работы, мне никогда не приходилось спорить с ним о том или ином вопросе. Неважно, говорил он очень часто, кто во что верит, кто что исповедует. Ведь всякий человек должен быть, прежде всего, человеком. Никто не имеет

права вмешиваться в личную жизнь человека. А ведь эта личная жизнь есть, главным обарзом, жизнь внутренняя человека.

В это же время А. А. много писал. Писал статьи, брошюры и вещи серьезные. В 1918 году в Москве была напечатана его серьезная работа «Государство и анархисты». Было напечатано также несколько мелких брошюр. Много работал он также над книгой о парламентском государстве и над большим курсом «Политической экономии». Трудно сказать, конечно, когда увидит свет эта необычайно ценная и большая работа (около 600 страниц) по политической экономии.

Во время самого разгара «красного террора» он написал небольшую работу против смертной казни. Эта работа (изданная отдельной брошюрой в Америке), является одной из лучших работ по этому вопросу. Написаны им также биография Бакунина и «История Первого Интернационала». За все же время своей литературной деятельности А. А. написал очень много. Трудно сейчас дать хотя бы приблизительный список всех его работ.

Последнее время он писал и художественные вещи. Он написал около десятка драм и диалогов. Некоторые из них («Сцены из жизни Великого Новгорода», «Поморцы», «Заря христианства», «Он ли это» и последняя его вещь «Атлантида»), печатались в нью-иоркском «Рассвете».

Многим литературным критикам эти драмы могут показаться плохой литературой. Но А. А. и не считал их произведениями. Не думал он также и о их постановке на сцене. Он писал их просто потому, что всякую серьезную мысль легче понять тогда, когда она передана в литературной (художественной) форме.

Когда он читал в небольшом кружке (где были артисты и литераторы) свою первую драму, ему тогда уже, помню, кто-то сделал замечание, что эта драма — очень сильная, но не сценическая. Тогда же он сказал нам: «ах, милые, да я ведь не пишу для сцены». Сейчас мне вспоминается еще один эпизод, который рассмешил собравшихся.

Когда было окончено чтение этой драмы, одна дама воскликнула полушутя: «Аполлон Андреевич, вы ведь забыли женщин! Ведь в вашей драме нет ни одной женщины!».

А. А. улыбается и говорит: «ах, дорогая, я и сам не знаю, как это я пропустил самое главное... Возьмите, пожалуйста, эту вещь и постарайтесь ее как нибудь исправить».

В этих драмах есть нечто особенное. Все эти драмы (особенно, «Заря христианства», «Он ли это» и «Атлантида») очень ценны тем, что в них отражается подлинная душа А. А. У него была своя вера, был у него свой Бог. Об этой новой религии, об этом Великом и Непостижимом Боге и говорит он в этих своеобразных мистериях. Его духовный облик был обликом Рыцаря Духа.

«КРИТИКА» АНАРХИСТОВ

Никогда не было еще такого социального учения, такой философской системы или же научной гипотезы, которая не подвергалась бы самой разнообразной критике. Впрочем, иначе и быть не может. Критика — дело хорошее, если только она является серьезной и добросовестной. Критиковать всё следует, ибо только благодаря критике мы узнаем достоинства и недостатки той или иной системы.

Но, к сожалению, не всякая критика является серьезной и добросовестной. Критики есть разные. Одни люди критикуют только то, что им хорошо известно; другие же с невероятной диллетантской смелостью берутся критиковать любое социальное учение, любую философскую систему, хотя они в них ничего не смыслят; третьи же критики — критики самого низшего порядка — критикуют исключительно людей. Это самые худшие критики. Все мы знаем, что в любой стране имеется много бульварных писателей. Но если мы присмотримся более внимательно к современной социальной жизни, то мы найдем в любой стране и бульварных «общественных» деятелей, и бульварных артистов, и бульварных критиков. Вот этих то последних критиков и следует, пожалуй, называть бульварными и уличными критиками.

Эти критики никогда не берутся критиковать ни социальные учения, ни философские системы, ибо такая критика совсем не по плечу этим бульварным душам. У них не хватает для этого сил. Как, например, может критиковать такого рода критик Канта и Спенсера, Толстого и Кропоткина? Ведь эта критика покажется смешной даже ребенку!

Критиковать же людей значительно легче. Для этого не требуется им ни философских, ни научных знаний. Здесь

нужно обладать только богатым лексиконом улицы. Легко критиковать людей еще и потому, что у каждого человека имеются какие-либо недостатки. Людей святых и праведных не знает наше время. Впрочем, если бы такие праведники и появились где-нибудь, то эти критики обрушились бы и на них, как на людей безумных, и посадили бы их, вероятно, в сумасшедший дом.

Был, ведь, когда-то на земле один Великий Праведник, но ведь и этот Праведник был распят этими же критиками.

Если они не могут ничего сказать против учения какого-либо человека, то в этих случаях у них имеется такого рода аргумент:

«Ну, что же из того, что его учение является возвышенным и благородным? Посмотрите на жизнь этого человека! Она, ведь, не имеет ничего общего с его возвышенным и благородным учением».

После этого и начинается разбор этой «ужасной личности». И, если критик пришел к заключению, что жизнь этого человека не является жизнью подлинного праведника, то и его учение не стоит даже медного гроша. Вынося свой смертный приговор человеку, этот критик выносит тот же приговор и всем его суждениям. Что бы ни написал человек, чтобы он ни сказал, — всё это не имеет ценности. Так было некогда с Толстым, с Оскаром Уайльдом, с Леонидом Андреевым и многими другими писателями. К чему, мол, все эти учения, если эти писатели не соблюдают в жизни своего учения?

Такого рода критики встречаются везде и всюду. Мало у нас Толстых и Достоевских, но очень много бульварных писателей, подобных Брешко-Брешковскому (который, к слову сказать, является и критиком последнего разряда); мало у нас Белинских и Михайловских, но очень много критиков бульварных, особенно из стана монархистов.

Имеют своих критиков и нынешние анархисты. Эти критики не имеют, разумеется, ничего общего с теми серьезными и добросовестными критиками (как, например, Бер-

дяев, Алексеев, Цоколи и Ценкер), которые желают отыскать все теневые стороны в системе анархизма. Можно, конечно, не соглашаться с критикой анархизма Бердяева или профессора Алексеева, но у нас нет никаких оснований думать, что эта критика является недобросовестной. Эта критика является добросовестной уже хотя бы потому, что она касается анархического *учения*, но не касается различных анархистов. Трагедия этой критики заключается в том, что ни Бердяев, ни Алексеев не заглянули еще в подлинную глубину Анархии. Бердяев еще не нашел в анархии религиозных и онтологических основ, профессор же Алексеев не заметил в анархии тех правовых начал, без которых, по его мнению, не может существовать никакое человеческое общество.

Когда они пишут об анархизме, то они пишут о теориях бомбистов-анархистов или же о теориях самых непримиримых эгоистов. Об этом анархизме говорит Бердяев в своей «Философии неравенства», и профессор Алексеев в своих работах по философии права. Эти писатели рассматривают анархические «крайности». Поэтому-то они и не находят в этих крайностях ни нравственных, ни правовых основ. Поэтому то, вероятно, они и подвергают анархизм очень суровой, но серьезной, критике. И с этой критикой нам следует считаться.

Но наряду со многими серьезными критиками у нас имеются и критики последнего разряда. Имеются у нас и критики бульварные. С одним из этих новых критиков я и хочу познакомить читателей.

Кто такой этот новый критик? Имя его не скажет ничего читателю. Это один из многих — e pluri bus unum. Это некий Первухин — бывший корреспондент московского «Русского Слова». Этот бульварный критик с 1911 года проживает безвыездно в Риме и день за днем, словно заведенная шарманка итальянца, пишет свои критические очерки. И этими критическими очерками удобряет ниву зарубежной монархической прессы. Первухин критикует только лишь людей. Он критикует всех. Его девиз таков: кто

не со мною, тот против меня. А кто против меня, тот дьявол, а не человек. А раз всё это так, то у Первухина имеется врагов бесчисленное множество. Такое множество, что едва ли этот критик успеет за свою жизнь посвятить каждому из них хотя небольшую статью.

И этот критик необычайно добросовестно относится к своей исторической миссии. День за днем он систематически истребляет то одного, то другого врага. Не так давно расправился с Бакуниным, Шаляпиным, Феррером и Максимом Горьким, сегодня же он хочет истребить всех анархистов «вообще».

Первухин не желает критиковать анархизм. Ему пришлось бы в этом случае критиковать *учения* (а не личности) Бакунина, Кропоткина, Толстого, Годвина и, наконец, учения Христа и Будды. Само собою разумеется, что такая критика не по силам Первухину. Он ведь, и не философ, и не социолог, и не писатель, а только лишь малоизвестный правый журналист. Критиковать же анархистов «вообще» — дело совсем простое. Для этого не нужно изучать даже элементарных основ анархического учения. Взял для примера какого либо бомбиста или же больного человека и выноси ему, как анархисту, самый жестокий и ужасный приговор. За эту легкую работу Первухин и взялся. Но даже и в этом случае критика Первухина является какой-то исключительной. В его критических статьях нет никогда ни ссылок, ни доказательств, ни фактов. Уже по одному этому читатель может понять, какого рода критику приходится ему читать.

Этот критик ссылается больше всего на *мертвых,* хотя прекрасно знает, что еще Римское право запрещало ссылаться на мертвых. Показания мертвых нигде недействительны. Для Первухина же эти показания являются самыми существенными и убедительными. Из этих показаний мертвых этот критик и составляет свой обвинительный акт. Критикуя анархистов «вообще» в одной из зарубежных монархических газет, этот критик ссылается на Черио и Ломброзо и... истребляет «страшных маниаков». Прежде

всего этот критик ссылается на мнение *покойного* Серрати, лидера итальянских социалистов. Этот социалист сказал ему когда-то следующее:

«На одного анархиста у нас, в Италии, приходится по меньшей мере десять социалистов и социалистоидов. Что же касается классификации по качеству, то я считаю весьма важным следующее обстоятельство: среди социалистов находится очень мало людей с тюремным стажем по уголовщине, тогда как среди анархистов, увы, почти невозможно найти человека, который не имел бы богатого в уголовном отношении прошлого. Конечно, мы смотрим на анархистов, как на наших естественных союзников и попутчиков, покуда дело идет о борьбе с существующим государственным и общественным строем. Но едва ли этот союз можно будет сохранить в последующей стадии, ибо нельзя не сознавать, что анархизм, как таковой, является силою исключительно разрушительного и антиобщественного характера».

После этой ссылки на мертвого Соррати, критик ссылается на письмо Ломброзо к Черио, в котором Ломброзо писал об анархизме. Это письмо, по сообщению самого же Первухина, не предназначалось для печати. И Черио, если только такое письмо было у него, никогда, очевидно, не подозревал того, что через двадцать лет это письмо будет опубликовано... Первухиным, которому оно было показано однажды этим покойным итальянским медиком. Первухин говорит, что в этом письме, если только оно существовало, Ломброзо писал об анархизме следующее:

«Что такое анархизм? Это есть сумбурное политическое учение на сифилитической подкладке.

Связь анархизма с сифилисом, и через сифилис, — с эпилепсиею и прогрессивным параличом, а в некоторых случаях с туберкулезом и с соответствующими изменениями в мозгу является для меня лично аксиомою.

Разумеется, не каждый люэтик делается анархистом. Но когда мне о ком-нибудь говорят, что это — анархист, я отвечаю:

— Надо подвергнуть длительному и энергичному лечению ртутью. И во всяком случае, надо поставить этого субъекта под самый бдительный надзор, ибо рано или поздно, но придет момент, когда он сделается опасным и для себя, и для окружающих. В молодости я наблюдал и Прудона, и вашего знакомца Бакунина, и, наконец, Рэклю. Все трое были люэтиками, а бедняга Прудон и умер, собственно говоря, жертвою люэса. Не сомневаюсь, что неблагополучен по этой части и князь Кропоткин».

Впрочем, если бы такую характеристику и дал когда-то Ломброзо, то это было бы вполне понятным и естественным. Ведь, если рассматривать всё человечество с точки зрения того же Ломброзо, то это человечество нам будет представляться стадом каких-то страшных чудовищ и преступников. У всякого человека, с его точки зрения, мы можем найти признаки преступности. Эти признаки можно было бы найти, повидимому, и у самого Ломброзо. Но мы ведь знаем, что «истины» этого итальянского антрополога являются очень сомнительными, ибо никто еще не мог сказать, какого человека следует считать самым законченным и совершенным человеком. Это великая загадка жизни. На каком основании мы можем думать, что замысел Природы заключался в том, чтобы создать людей-полубогов, подобных жителям священного Олимпа? На каком основании мы можем предполагать, что совершенным женским образом является Венера Милосская, а не малявинская баба? Где, наконец, различие между нормальностью и ненормальностью психической? Ведь всякий человек является по своему каким-то ненормальным. Любой психиатр нам скажет, что даже гениальность есть своеобразная психическая ненормальность. Где же в таком случае, тот совершенный и нормальный человек, которого искал так долго Ломброзо? Такого человека нет и, вероятно, никогда не будет. В нашей земной жизни, где всё подвергнуто неумолимому закону изменчивости, нет ничего абсолютного. Есть только лишь относительные явления. С точки зрения этой относительности мы и должны рассматривать людей.

Что же касается сифилиса[1], то ни один серьезный человек не может заявлять, что сифилис является достоянием какой-либо особой партии или же группы. Эта ужасная болезнь является достоянием всего человечества; этот страшный бич человечества не знает никаких сословий. В среде людей богатых столько же сифилитиков (если не больше), сколько имеется их среди бедняков. Есть разумеется, и анархисты сифилитики, но не меньше сифилитиков имеется и среди монархистов, и среди социалистов, и среди республиканцев, духовенства, военных и среди ученых, ибо сифилисом можно заразиться не только в доме терпимости, но и в ресторане, и в библиотеке и в других общественных местах. Но Первухин притворяется Иваном-дурачком и не понимает этого.

Но кто бы ни был сифилитиком, его нельзя считать злодеем и преступником. Сифилис — не позор, а ужас и бич человечества. Здесь главными преступниками следует считать тех, кто создает благоприятные условия для развития этой ужасной болезни. Здесь виноваты те правительства, которые, подобно царскому правительству, открывают в городах публичные дома ради распространения этой чудовищной болезни. Виноваты также и все те правительства, которые, подобно большевистскому, создают такие социальные условия, которые рождают проституцию и увеличивают число сифилитиков. Виноваты также все сильные мира сего. Вот где источники той болезни, которую Ломброзо тщетно пытается привить каким-то анархистам. Если Бакунин, Прудон, Реклю, Толстой и Кропоткин были сифилитиками, то сифилитиком был, вероятно, и сам Ломброзо. Да и все люди, в таком случае, должны быть сифилитиками. Вот до чего доходят эти критики вместе со своими помешанными учеными.

Дальше Первухин ссылается на итальянского ученого Мантегаццу, который, по Первухину, пришел почти-что к

---

[1] Макс Нордау, например, утверждал, что монархисты-антисемиты — сифилитики, что, конечно, тоже весьма сомнительно.

тем же выводам, к каким пришел когда-то Ломброзо. Эта ссылка на Мантегаццу рассчитана безусловно на невежественного читателя, который не знает, что этот ученый жил тогда, когда анархизм находился только в процессе зарождения (Мантегацца родился в 1831 году). Не мог поэтому Мантегацца заниматься изучением этих ужасных преступников-анархистов. Но для Первухина все средства хороши. Он в этом отношении очень похож на нынешних большевиков. Так, например, он пишет, что Мантегацца, работая в этой области, обратил внимание на следующее явление:

«...чем более «активным» является анархист, тем больше он приближается к физическому типу дикаря-троглодита, современника страшного саблезубого тигра и пещерного медведя. Если не все, то весьма многие из прославленных анархистских активистов более напоминают громадных обезъян, чем людей, и строением костяка, и формою черепа, и длиннорукостью, и волосатостью.

По Мантегацца, такие субъекты являются продуктом инволюции, феномена обратного эволюции: по каким-то причинам, вернее всего — под влиянием страшной разрушительной работы люэтического яда, — субъект резко дегенирирует, опускаясь на одну из давно пройденных человечеством ступеней развития».

Здесь уже Первухин, ссылаясь на какие-то несуществующие исследования, приходит к тому заключению, что анархист — это даже не человек, не мыслящее и разумное существо, а какое-то доисторическое животное. Анархист — это трехликий зверь — тигр, медведь и обезьяна.

Само собою разумеется, что до такой «критики» никто еще не доходил. Это уже не критика, а результат какого-то душевного расстройства. Когда Первухин писал эти строки, то разум его был, повидимому, омрачен очень тяжелым недугом, а на его губах была какая-то кровавая ядовитая пена. Иначе и нельзя себе представить этого «писателя».

Такая характеристика анархистов не принадлежит, конечно, Мантегацце. Она вышла просто из кабинета кри-

тика. Ссылаться же на мертвых, что постоянно Первухин и делает, самая простая вещь. Мертвые молчат. «Мертвые сраму не имут».

Думается, что на этой бессмысленной характеристике не стоит дольше останавливаться, ибо никто еще до сих пор не думал, что анархист — это человекообразная обезьяна. До этого додумался только Первухин. Ни один человек в мире не называл до сих пор обезьянами и тиграми Толстого и Кропоткина. Наоборот, даже реакционеры считали этих анархистов мировыми *гениями*. А для Первухина они — «горилы и шакалы».

Правда, есть среди анархистов люди некрасивые. Но некрасивые есть и не-анархисты. Красота тоже не является достоянием каких-то особых партий или групп. Это только Первухин может думать, что анархист — это какой-то Квазимодо, не-анархист — подобен Аполлону. Конечно, если бы правящие классы, или же такие критики, имели бы власть и силу, то и красоту, этот дар Неба, они отняли бы у бедняков и превратили бы их в каких-то уродов. Но они этого не могут сделать, ибо красота не подвластна им. Небо — справедливо. Оно распределяет ее одинаково и среди бедных и среди богатых, и среди рабов и среди господ. Для него, как и для Смерти, все люди равны. И если сильные мира сего лишили бедняков всех радостей земных и удовольствий, то красоту у них не могут отнять никогда. И бедняки этим могут гордиться. Ибо так написано в Книге Судеб, — как говорят арабы.

Дальше Первухин пишет следующее:

«Между прочим, у Агостино Черио я видел целую коллекцию рисунков и мелких скульптурных работ заключенных в тюрьмах анархистов. За весьма немногими исключениями — эти рисунки и вещи были таковы, что смело могли бы фигурировать на любой колониальной выставке в качестве работ каких-нибудь стоящих на одной из самых низких степеней развития базутосов или ботокудов.

Испанский врач психиатр Пабло Торэлло, занимавшийся наблюдениями над анархистами у себя на родине и в Мексике, констатирует, что среди них имеется огромный процент зараженных манией величия. Почти все они — невежды. Человек, одолевший хотя бы школьную премудрость — большая редкость. Попадаются самоучки, нахватавшиеся верхушек знаний и почерпающие свою премудрость из народных календарей и убогих брошюрок — но они мнят себя настоящими философами и берутся за разрешение любой проблемы. Между прочим, у большинства анархистов проявляется графомания, и очень многие из них воображают себя великими поэтами, драматургами, композиторами или артистами, но непременно на так называемые «героические роли». Кончают же регулярно в больнице для умалишенных».

Здесь этот критик требует, чтобы все анархисты были скульпторами и художниками. Только тогда, повидимому, анархисты будут для него людьми. Этот критик знает, конечно, что чтобы быть скульптором или художником нужно получить не только художественное образование, но нужно еще обладать подлинным художественным талантом. Если у человека нет ни таланта, ни соответствующего образования, то все его произведения «искусства» ничем не будут отличаться от искусства дикарей. Если и сам Первухин не обладает ни знанием, ни талантом, то и его живопись и скульптура будут поставлены рядом с искусством папуасов. Недостаточно одного желания быть Рафаэлем, Рембрандтом или Праксителем. Для этого нужно родиться таковым. Может быть, и самому Первухину хотелось бы быть Рембрандтом или Праксителем, но все его желания — желания бессмысленные. Ничего он не создал, ничего не создаст и в будущем. А если и попытается создать картину или статую, то и его произведения будут поставлены рядом с произведениями тех же анархистов. И он на этом основании тоже будет причислен к этим анархистам.

Что же касается мании величия, то этой болезнью заражено всё человечество. Страдают от этой болезни и мно-

гие анархисты. Они не являются в этой области каким-то исключением. Правда, есть среди них много людей малограмотных, людей даже совсем неграмотных, но никогда эти люди не воображали себя «великими поэтами, драматургами, композиторами или артистами». Некоторые выскочки воображают себя иногда философами и социологами, но разве мало таких лиц среди не-анархистов. Но таких маниаков среди анархистов немного. Их несравненно больше в том же лагере, к которому принадлежит и наш почтенный критик. Вот именно в том лагере разные бульварные писатели ставят себя выше Шекспира и Достоевского, а разные бульварные критики ставят себя едва ли не выше богов. Для них — все люди обезьяны. Вот где имеются те страшные маниаки, о которых говорит Первухин.

Этого почтенного критика возмущает еще и то обстоятельство, что в рядах анархистов имеется много босяков. Если бы Первухин имел хотя бы элементарное представление об анархическом учении, то он тогда понял бы, почему в рядах анархистов имеются бедняки и нищие, которых этот критик называет босяками. Эти бедняки вступают в ряды анархистов потому, что только анархизм может сделать этих «босяков» людьми, может освободить их от этого босячества, от этой страшной бедности, которые господствуют везде и всюду по вине богатых. Но Первухин этого не знает. Не знает он, конечно, и того, что в рядах анархистов имеются не только босяки, но и многие подлинные аристократы, в груди которых бьется подлинное человеческое сердце. Кропоткин, Толстой, Ибсен и Уайльд не были босяками. Но Первухину не дано их знать и понимать.

Он не понимает также и того, почему Христос пришел со своим учением не к фарисеям и книжникам, подобным Первухину, а к галилейским рыбакам и босякам. В этом было его отличие от древнего мага.

«Маг презирал нищету духа, — говорит Пшибышевский, — ибо он изведал все тайны и разгадал всё сокровенное. По звездам определял он наследников царей и знал будущее всех народов. Маг был упрямым преступником про-

тив всех законов, знающим ясновидцем. Христос демократизировал свое учение. Соучастниками своего восстания против Ветхого Завета Он сделал поселян и рабов, которые были более детьми, чем дети. Маг насаждал свое учение только в самых гордых и мощных душах». («Синагога Сатаны»).

Христос же, будучи величайшим аристократом духа, какие только когда-либо существовали, пришел к этим «униженным и оскорбленным», к этим несчастным босякам, чтобы освободить их на всегда от этого проклятья. И в этом было его неземное величие. Такова же историческая миссия и подлинного анархизма.

Но Первухин этого не поймет и не хочет понять. Ему противен дух христианства и анархизма. Христос говорил людям, чтобы они любили даже врагов своих, Первухин же готов повесить всякого врага. В этом его антихристова природа. Он идет не по пути христианина, а по пути Великого Инквизитора и русских большевиков. Истинный христианин никогда не позволил бы себе заниматься такой критикой и бросать камнями во всякого встречного человека. Первухину же «всё дозволено».

Еще несколько слов. Первухин не был в России с 1911 года, но это нисколько не мешает ему писать о тех «страшных злодеяниях», которые творились анархистами во время русской революции. Этот монархист ничего не пишет о злодействах большевиков, но обратил внимание на анархические злодейства.

«В 1917 году, — пишет этот критик, — по всей России, освобожденные революциею тюремные обитатели в массе объявили себя анархистами и принялись душегубствовать под зловещим черным знаменем. Чего натворил пресловутый «плюгавый мужичонка» из Гуляй-Поля, Нестор Махно, со своими многотысячными ордами острожников и с лейб-гвардией из 300 «сахалинцев», — не нужно кажется напоминать моему читателю: ведь, и до сих пор не высохли моря пролитой южно-русскими анархистами человеческой крови»...

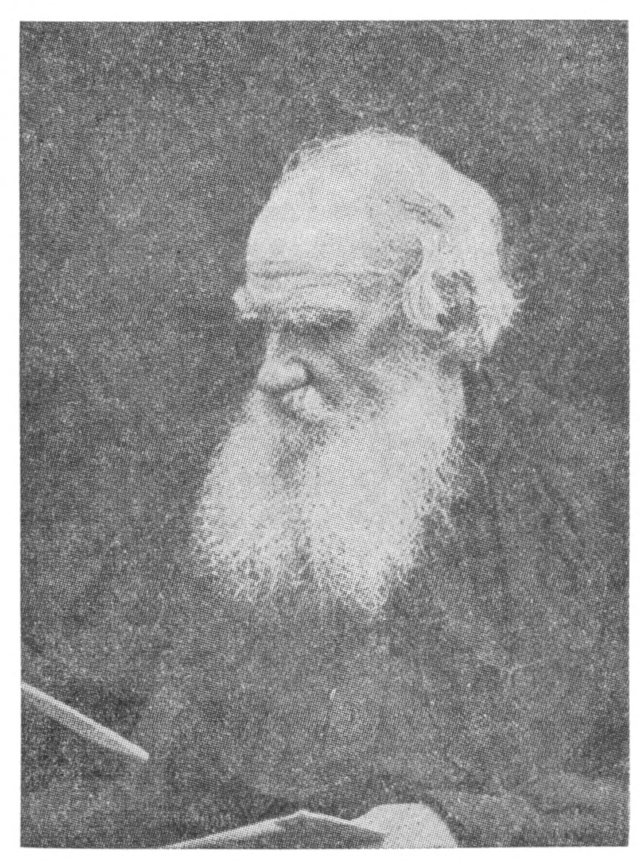
Нельзя, понятно, скрывать того факта, что многие бандиты совершали свои злодеяния под флагом анархистов. Но если бы эти убийства совершались и анархистами, то их ни в коем случае я не хочу оправдывать. *Всякое* убийство есть преступление. Никакими целями, даже самыми возвышенными, нельзя оправдывать это ужасное злодеяние. Непостижимо здесь только одно: почему этот критик ничего не говорит о тех массовых убийствах людей, которые устраивались там большевиками и монархистами Что такое все эти анархические убийства в сравнении с теми бесчисленными казнями людей, которые производились там Деникиным, Дзержинским и бароном Врангелем?

И почему, в конце концов, Первухин ничего не пишет против всякого убийства (по суду и без суда), а видит, а останавливается только на этих анархических убийствах?

Потому, вероятно, что этот «критик» готов перевешать всех анархистов своими же собственными руками...

В этом и заключается весь смысл его критики.

1927



Лев Николаевич Толстой

ТОЛСТОЙ, КАК АНАРХИСТ

Общие замечания

Льва Николаевича Толстого мы называем не только великим художником слова, но и великим знатоком русской души. Во всех его художественных произведениях, как и в произведениях Достоевского, необычайно ярко отражается вся наша русская стихийность. Поэтому нам близок и дорог Толстой. С этой точки зрения мы и считаем Толстого великим.

Но Толстой велик еще и в другом отношении. Толстой велик еще и потому, что он ушел от «ликующих и праздно болтающих» и стал на сторону «униженных и оскорбленных». Оскар Уайльд назвал когда-то Кропоткина «вторым белоснежным Христом, идущим из России», но если бы Уайльд встретился с Толстым, то и его назвал бы, очевидно Христом.

Толстой и был для нашего времени новым Галилеянином. Правда, русское духовенство, усердно лакействовавшее перед царским правительством, объявило его самым ужасным врагом христианской церкви, но всё это не имело решительно никакого значения. Нынешний полный развал русской православной церкви только подтверждает правоту Толстого. Каждый русский священник должен сейчас согласиться с тем, что правда была на стороне Толстого.

Он относился, как известно, отрицательно к казенным христианским церквам. Он утверждал, что «между церквами, как церквами, и христианством не только нет ничего общего, кроме имени, но это два совершенно противоположные и враждебные друг другу начала». («Царство Божие внутри вас»).

Истинная же религия, по его мнению, заключается не в молитвах и не в церковных обрядах, а в соблюдении заповедей Христа.

«Религия, — говорит Толстой, — не есть раз навсегда установившаяся вера в совершившиеся будто бы когда-то сверхестественные события и в необходимость известных молитв и обрядов; не есть так же, как думают ученые, остаток суеверий древнего невежества, который не имеет в наше время значения и применения в жизни; религия есть установленное, согласное с разумом и современными знаниями отношение человека к вечной жизни, к Богу, которое одно движет человечество вперед к предназначенной ему цели» («Что такое религия?»).

Толстой был великим апостолом правды и справедливости. Вот этого Толстого и не любило русское духовенство. Этого Толстого не любят и «не признают» очень часто даже те люди, которые любят Толстого-художника. Поэтому-то, очевидно, этот Толстой и игнорируется многими литературными критиками. Если речь идет об этом Толстом, то от него отрекаются и многие «толстовцы». В подобных случаях эти «толстовцы» заявляют, подобно Петру, отрекшемуся от Христа: «Мы не знаем сего человека». Это относится больше всего к разным литературным критикам.

Но мы не можем отрекаться и от этого Толстого. Этот Толстой более близок и дорог русскому трудовому народу, чем Толстой-художник. Этот Толстой дорог нам еще и потому, что он не только восставал против общественной неправды и несправедливости, но и указывал пути к правде и справедливости.

Не пошел же русский народ этими путями потому, что самые «передовые» русские люди, самые непримиримые «толстовцы» отреклись от этого Толстого, а указанные им пути к правде и справедливости назвали путями ложными.

Эти «передовые» люди пошли по другим путям. Более прямыми и верными путями им показались пути Карла

Маркса. Толстой предвидел, к чему приведут Россию эти прямые пути. Толстой знал, что эти пути — неверные, но в этом явлении он видел какую то неумолимую неизбежность. Дело в том, что правящие русские классы тоже шли слишком прямыми путями к общественной неправде и несправедливости.

Потому то Толстой и говорил этим правящим классам, что их нечеловеческое отношение к русскому трудовому народу вызовет в России страшную социальную катастрофу. Эта катастрофа и разразилась в России в 1917 году. Вот что писал Толстой еще в 1886 году:

«Как ни стараемся мы скрыть от себя простую, самую очевидную опасность истощения терпения тех людей, которых мы душим, как ни стараемся мы противодействовать этой опасности всякими обманами, насилиями, задабриваниями, — опасность эта растет с каждым днем, с каждым часом и давно уже угрожает нам, а теперь назрела так, что мы чуть держимся в своей лодочке над бушующим и заливающим нас морем, которое вот-вот гневно поглотит и пожрет нас. Рабочая революция с ужасами разрушений и убийств не только грозит нам, но мы на ней живем уже лет 30 и только пока, кое как разными хитростями, отсрочиваем взрыв ее». («Так что же нам делать?»).

Пророчество Толстого осуществилось. В России произошла такая страшная социальная катастрофа, что она разрушила до основания благополучие правящих классов, но не принесла ничего хорошего и трудовому народу. В 1917 году сошлись прямые пути правящих и бедных классов и столкнулись, но результаты этого столкновения оказались трагическими для обоих классов. Кто виноват в этом — это другой вопрос. Если бы Толстой дожил до этой катастрофы, то он сказал бы, вероятно, что виноваты и те, и другие. Виноваты потому, что те и другие отказались соблюдать заповеди Христовы. Виноваты потому, что идеал Христа — идеал свободы, равенства и братства — заменили языческим идеалом.

Эти люди забыли самую главную заповедь Христа: «любите друг друга». Если же люди забыли эту заповедь, то на земле не может осуществиться царство правды и справедливости.

Что же такое любовь? Многие люди думают, что всякая любовь — это страдания и трагедия. Многие из нас еще и сейчас утверждают, что любовь — это какое то стихийное начало, что она делает людей не только ангелами, но и самыми ужасными чудовищами. Но мы ошибаемся. Истинная любовь никогда не делает людей чудовищами. Если же человек становится иногда чудовищем, если он совершает какое либо ужасное преступление, то на это преступление толкает его не любовь, а иное чувство. Истинно-любящий не может совершить преступления. Истинная любовь никогда не ведет человека ко злу. Если же человек совершает то или иное преступление, то совершает его потому, что его душа не озарена еще светом любви. В душе такого человека живет чувство ненависти.

Мы очень часто думаем, что есть любовь небесная и любовь земная, и что только любовь небесная ведет человека к добру. Любовь же земная, с нашей точки зрения, ведет человека и к хорошим и к дурным поступкам. Вот эта то чувственная любовь и является, по мнению многих людей, любовью стихийной. Такая любовь и является очень часто для человека подлинной трагедией. Но Толстой говорит, что и такая любовь не может быть для человека страданием и трагедией. Вот что говорит об этом Толстой (Левин):

«По моему, любовь... обе любви, которые, помнишь, Платон определял в своем *Пире,* — обе любви служат пробным камнем для людей. Одни люди понимают только одну, другие — другую. И те, которые понимают только неплатоническую любовь, напрасно говорят о драме. При такой любви не может быть никакой драмы. Покорно вас благодарю за удовольствие, мое почтение, — вот и вся драма. А для платонической любви не может быть драмы, потому

что в такой любви всё ясно и чисто, потому что...» («Анна Каренина»).

«Истинная любовь, по Толстому, есть состояние благоволения ко всем людям, которое присуще детям, но которое во взрослом человеке возникает только при отречении от блага животной личности».

«Кто из живых людей, говорит он дальше, не знает того блаженного чувства, хоть раз испытанного и чаще всего только в самом раннем детстве, когда душа не была еще засорена всей той ложью, которая заглушает в нас жизнь, того блаженного чувства умиления, при котором хочется любить всех: и близких, и отца, и мать, и братьев, и злых людей, и врагов, и собаку, и лошадь, и травку; хочется одно — чтобы всем было хорошо, чтобы все были счастливы и еще больше хочется того, чтобы самому сделать так, чтобы всем было хорошо, самому отдать себя, всю свою жизнь на то, чтобы всем и всегда было хорошо и радостно. Это то и есть, и эта одна есть та любовь, в которой жизнь человека». («О жизни»).

«Истинная любовь есть идеал полного, бесконечного божеского совершенства». («Царство Божие внутри вас»).

Сила любви велика. Данте говорил когда то, что силою любви движутся все миры. Толстой же, как бы дополняя Данте, говорил о том, что силою любви движется и человек к совершенству.

Марксисты учат, что царство правды и справедливости может быть создано только силой ненависти (борьба классов), Толстой же говорит, что творческой силой является только любовь. А поэтому и царство справедливости может быть создано только любовью. Если люди не любят друг друга, то между ними не может быть и истинного братства; если же они не являются братьями, то между ними не может быть и равенства; а если между ними нет равенства, то в жизни их нет ни свободы, ни справедливости.

Люди — сыны Божии. Поэтому то, говорит Толстой, каждая личность священна.

Почему же в современных обществах так обесценена эта священная личность? Толстой говорит, что она обесценена потому, что люди живут не по Божьему. Люди живут так, как подсказывают им их низменные животные чувства. Поэтому то на земле нет ни свободы, ни братства, ни справедливости.

Рабство

Что же имеется на земле вместо свободы и справедливости? Толстой говорит, что всюду господствует рабство. Но это рабство так замаскировано в современных обществах, что многие люди даже не замечают его.

«Мы все очень наивно уверены, говорит Толстой, что рабство личное уничтожено в нашем цивилизованном мире, что последние остатки его уничтожены в Америке и России, и что теперь только у варваров есть рабство, а у нас его нет.

«Но рабство существует всюду. В чём же оно? В том, — говорит Толстой, — в чём оно было и без чего оно не может быть: в насилии сильного и вооруженного над слабым и безоружным. Где будет насилие, возведенное в закон, там будет и рабство.

Люди повергнуты в рабство самое ужасное, худшее, чем когда либо; но наука старается уверить людей, что это необходимо и не может быть иначе.

Рабство со своими основными тремя приемами личного насилия: солдатства, дани за землю, поддерживаемой солдатством, и дани, облагающей всех жителей прямыми и косвенными податями, и поддерживаемой точно так же солдатством, существует точно так же, как прежде.

Там же, где есть, как и во всех европейских обществах, люди, пользующиеся посредством насилия трудами тысяч людей и считающие это своим правом, — и другие люди, подчиняющиеся насилию и признающие это своею обязанностью, — там есть рабство в страшных размерах.

Покуда будет один вооруженный человек с признанием за ним права убить какого бы то ни было другого человека, до тех пор будет неправильное распределение богатств, т. е. рабство.

Деньги — это новая страшная форма рабства и так же, как и старая форма рабства личного, развращающая и раба и рабовладельца, но только гораздо худшая, потому что она освобождает раба и рабовладельца от их личных человеческих отношений.

А что же эти миллионы солдат, как не личные рабы тех, кто ими управляет? Разве эти люди не принуждены к исполнению всей воли своих владельцев под угрозой истязаний и смерти, угрозой, так часто приводимой в исполнение?» («Так что же нам делать?»).

Толстой не придает никакого значения тем свободам, которые мы называем свободами политическими. Эти политические свободы предоставлены людям правящими классами исключительно для того, чтобы они считали себя свободными и не стремились к подлинной свободе. При помощи этих свобод правящие классы только обманывают людей. Разные же политические деятели, в том числе и социалисты, являются верными слугами правящих классов, ибо они тоже обманывают людей. Этот обман заключается в том, что все они единогласно утверждают, что все эти политические свободы в современных обществах являются нашим последним достижением. Все они утверждают, что всякие суждения об абсолютной свободе являются совершенно беспочвенными. Но Толстой признает только эту абсолютную свободу. Человек, по его мнению, будет свободным только тогда, когда исчезнет всякое насилие.

Напрасно также люди говорят и о свободе труда. Труд в современных обществах является крепостническим. Труд будет свободным только тогда, когда люди не будут работать на помещиков и капиталистов. Правда, эти эксплуататоры говорят очень часто рабочим и крестьянам: «мы не заставляем вас работать в наших фабриках и имениях; если вы не хотите работать на нас, то вы можете отказаться от всякой работы». Но каждый разумный человек понимает, что этот жалкий софизм не выдерживает никакой критики, ибо если рабочие и крестьяне перестанут работать у капиталистов и помещиков, то они умрут от голода. Современная

общественная жизнь устроена так, что человек не может только на себя работать. Вся земля находится в руках помещиков и государства; фабрики и заводы в руках богачей. А поэтому каждый трудящийся человек и вынужден работать на этих эксплуататоров. Вот почему всякие суждения о свободе труда в современных обществах являются насмешкой над рабочими. И в этой области существует самое страшное рабство, но люди так загипнотизированы красивыми речами правящих классов и многих ученых, особенно буржуазных экономистов, что они считают себя истинно-свободными людьми.

Почему же в нашей общественной жизни нет ни справедливости, ни правды? Почему люди насилуют и порабощают друг друга? Что же в нашей жизни является самым страшным злом?

Власть

Толстой говорит, что самым страшным злом является власть. Жестоко заблуждаются те люди, которые думают иногда, что злом является только плохая власть. Всякая власть плохая. Власть никогда не может быть хорошей. Никакая власть не может существовать без насилия. А поэтому то власть и является для человека самым страшным злом. Свобода и власть явления несовместимые. Они являются смертельными врагами. Если существует власть, то не может существовать свобода; если же существует истинная свобода, то не может существовать власть. Вот что говорит Толстой о власти:

«Власть одного человека над другим, основанная на насилии, в источнике своем есть зло, и потому никакое устройство, удерживающее право насилия человека над человеком, не может сделать *того,* чтобы зло перестало быть злом». («О значении русской революции»).

«Богословская теория доказывала, что власть от Бога, но оставался вопрос: чья власть от Бога: Екатерины или Пугачева? И никакие тонкости богословские не могли разрешить этого сомнения». («Так что же нам делать?»).

«Все люди, находящиеся во власти, утверждают, что их власть нужна для того, чтобы злые не насиловали добрых, подразумевая под этим то, что они суть те самые добрые, которые ограждают других добрых от злых».

«В действительности же те, которые захватывают и удерживают власть, никак не могут быть добрыми».

«Для того, чтобы захватить власть и удерживать ее, нужно любить власть. Властолюбие же соединяется не с добротой, а с противоположными доброте качествами: с гордостью, хитростью, жестокостью. Без увеличивания себя и унижения других, без лицемерия, обманов, без тюрем, крепостей, казней, убийств не может ни возникнуть, ни удержаться никакая власть». («Царство Божие внутри нас»).

Толстой говорит, что истинное христианство отрицает всякую власть. Истинный христианин не может стремиться к власти. Правда, апостол Павел говорил, что всякая власть — от Бога, но апостол Павел не был истинным христианином. Христос не хотел властвовать над людьми. Когда люди желали провозгласить его царем Иудейским, он ответил им, что «царство его не от мира сего». Своим же ученикам он говорил: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими; но между вами да не будет так; а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; Сын человеческий пришел не для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления других». (Мф. 20, 25-28). Вот почему Толстой и утверждает, что «даже как то смешно говорить о властвующих христианах».

Природа всякой власти — природа антихристианская. Христианское жизнепонимание отвергает всякую власть человека над человеком.

Правительство

Правительство существует только потому, что существует власть. Правительство не может быть безвластным. Правительства не могут быть и хорошими, ибо их деятельность сводится только к порабощению человека.

«Если правительства, — говорит Толстой, — были нужны прежде для того, чтобы защищать свои народы от нападения других, то теперь, напротив, правительства искусственно нарушают мир, существующий между народами, и вызывают между ними вражду.

Если нужно было пахать для того, чтобы сеять, то пахота была разумное дело; но, очевидно, безумно и вредно пахать, когда посев взошел. А это самое заставляют правительства делать свои народы, — разрушать то единение, которое существует и никем бы ни нарушалось, если бы не было правительств.

Правительства, не только военные, но правительства вообще, могли бы быть, уже не говорю — полезны, но безвредны, только в том случае, если бы они состояли из непогрешимых и святых людей, как это и предполагается у китайцев. Но ведь правительства по самой деятельности своей, состоящей в совершении насилий, всегда состоят из самых противоположных святости элементов, из самых дерзких, грубых и развращенных людей.

Всякое правительство поэтому, а тем более правительство, которому предоставлена военная власть, есть ужасное, самое опасное в мире учреждение.

И таким то правительствам предоставляется полная власть не только над имуществом, жизнью, но и над духовным и нравственным развитием, над воспитанием, религиозным руководством всех людей.

Устроят себе люди такую страшную машину власть, предоставляя захватывать эту власть кому попало (а все шансы за то, что захватит ее самый нравственно дрянной человек), и рабски подчиняются и удивляются, что им дурно. («Патриотизм и правительство»).

«Правительства в наше время — все правительства, самые деспотические так же, как и либеральные — сделались тем, что так метко назвал Герцен, Чингис-Ханом с телеграфами».

«Мы знаем, что деятельность правительств со своими, отставшими об общего уровня нравственности, жестокими

приемами наказаний, тюрем, каторг, виселиц, гильотин — скорее содействует огрубению народов, чем смягчению их, и потому скорее увеличению, чем уменьшению числа насильников». («Царство Божие внутри вас»).

«Деятельность правительств не только не удерживает людей от преступлений, а, напротив, всегда расшатывая и понижая нравственный уровень общества, увеличивает их количество».

«Так что правительственная деятельность не только не поддерживает нравственность, а, напротив, трудно придумать более развращающее действие на народы, чем то, которое совершалось и совершается всегда и всеми правительствами.

Никогда никакими злодеями из простых людей не могло бы придти в голову совершать все те ужасы костров, инквизиций, пыток, грабежей, четвертований, вешаний, одиночных заключений, убийств на войнах, ограблений на войнах, которые совершались и совершаются всеми правительствами, и совершаются торжественно. Все ужасы Стеньки Разина, пугачевщины и т. п. суть только последствия и слабые подражания тех ужасов, которые производили Иоанны, Петры, Бироны, и которые постоянно производились и производятся всеми правительствами».

«Так что доказывать людям, что они не хотят жить без правительства, и что тот вред, который им сделают воры и грабители, живущие среди них, больше того вреда как материального, так и духовного, который, угнетая и развращая их, постоянно производят среди них правительства, так же странно, как было бы во время рабства доказывать рабам, что им выгоднее быть рабами, чем свободными». («О значении русской революции»).

«Только бы люди поняли, что они не сыны каких либо отечеств и правительств, а сыны Бога и потому не могут быть ни рабами, ни врагами других людей и сами собой уничтожаются и безумные, ни на что уже не нужные, оставшиеся от древности губительные учреждения, называемые правительствами, и все те страдания, насилия, унижения и

преступления, которые они несут с собой». («Правительство и патриотизм»).

Как это ни странно, но даже в наше время люди часто говорят о том, что такими вредными и ненужными правительствами являются только буржуазные правительства. Эти люди говорят о том, что если бы где либо существовало правительство социалистическое или рабочее, то это правительство было бы хорошим и заботилось бы исключительно о благополучии народа. Но эти люди или заблуждаются, или сознательно обманывают других. В России существует, как известно, самое революционное правительство, называющее себя и социалистическим, и рабоче-крестьянским, но это правительство является самым деспотическим. Это правительство является самым преступным и злодейским.

Вот почему всякие суждения о каких то «хороших» правительствах являются совершенно бессмысленными.

Государство

Если бы не было власти и правительств, то не было бы и государств, этих «холодных чудовищ». Государство, как и правительство, существует не для блага личности. Поэтому, говорит Толстой, «христианство в его истинном значении разрушает государство».

«Для каждого искреннего и серьезного человека нашего времени не может не быть очевидной несовместимость истинного христианства — учения смирения, прощения обид, любви — с государством, с его величием, насилиями, казнями и войнами».

«Самая жестокая ужасная шайка разбойников не так страшна, как страшна такая государственная организация. Всякий атаман разбойников всё таки ограничен тем, что люди, составляющие его шайку, удерживают хотя долю человеческой свободы и могут воспротивиться совершению противных своей совести дел». («Царство Божие внутри вас»).

«Философия духа (здесь Толстой говорит о философии Гегеля) доказывала, что государство есть форма развития

личностей; но оставался вопрос: можно ли государство Нерона или Чингис-Хана считать формой для развития личностей. И никакие трансцендентные слова не могли разрешить этого».

«Государство взялось руководить жизнью человечества. Государство обещало людям справедливость, спокойствие, обеспеченность, порядок, удовлетворение общих духовных и материальных нужд, и за это люди, служившие государству, выгородили себя из участия в борьбе человечества за жизнь. И слуги государства, как только они получили возможность пользоваться трудом других, сделали то же, что и служители церкви. Целью их стал не народ, а государство, и служители государства — от королей до низших чиновников, должностных лиц, — и в Риме, и во Франции, и в Англии, и в Америке и в России предались праздности и разврату. И люди изверились в государство, анархия уже сознательно выставляется идеалом». («Так что же нам делать?»).

Право

Для чего же существует право? Право существует не для блага личности и не для блага всего человечества. Право является духовной опорой власти, правительства и государства.

Юристы постоянно говорят нам, что если бы не было права, то отношения между людьми были бы несправедливыми. В этом случае, говорят они нам, люди могли бы безнаказанно воровать, грабить и убивать. Но ведь существование права не предупреждает этих преступлений. Если бы оно могло не допустить их, то его существование можно было бы оправдывать. Но раз данное преступление совершено, то пострадавшему не становится легче от того, что преступник пойман и предан суду. Убитый от этого не воскреснет, изнасилованная девушка не обретет от этого свою девственность.

Но если юристы будут утверждать, что право хоть до некоторой степени ограждает человека от всякого насилия и зла, то почему же оно не ограждает в таком случае людей

от насилия власти, правительства и государства. Почему оно защищает нас от мелких воров и не защищает никогда от самых страшных грабителей, называющихся помещиками и капиталистами? Почему этот величайший грабеж оно считает актом справедливости?

Напрасно эти юристы говорят нам и о том, что если бы не было законов, то люди не имели бы и правил поведения. Если человек поступает дурно или хорошо, то он знает это и без законов.

Христос отвергал всякие законы и суды. Он признавал только закон Бога. Он говорил: «Не судите, да не судимы будете». Когда к нему привели блудницу, которую по закону Моисея нужно было убить, Христос сказал: «Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень».

Сейчас у нас появляется следующий вопрос: если грешник не может осуждать грешника, то может ли осуждать его праведник? Может ли праведник бросить камень в грешника? Нет, он не может этого сделать. Если бы праведник бросил камень в грешника, то в это мгновение он сам стал бы грешником.

Вот почему Христос и отвергал всякие суды. Люди не могут осуждать друг друга. Людей может судить один лишь Высший Суд, одна лишь Фемида. В этом, вероятно, и заключается весь смысл греческого мифа.

Поэтому-то отрицает право и Толстой. Он говорит, что истинный христианин не может признавать каких бы то ни было человеческих законов. Исполнение этих законов есть нарушение законов Божиих.

«Хорошо было еврею подчиняться своим законам, говорит он, когда он не сомневался в том, что их писал пальцем Бог; или римлянину, когда он думал, что их писала нимфа Егерия; или даже, когда верили, что цари, дающие законы — помазанники Божии, или хоть тому, что собрания законодательные имеют и желание и возможность найти наилучшие законы. Но мы ведь знаем, как делаются законы, мы все были за кулисами, мы все знаем, что законы суть

произведения корысти, обмана, борьбы партий, — что в них нет и не может быть истинной справедливости». («Царство Божие внутри вас»).

«Вы думаете, что ваши законы исправляют зло, — они только увеличивают его. Один есть путь пресечения зла — делание добра за зло всем без всякого различия». («В чём моя вера?»).

Вот почему, по мнению Толстого, люди должны руководствоваться в жизни не разными юридическими нормами, а заповедями Христа.

Будущее

Что же говорит Толстой о будущем? Как может быть устроена жизнь человечества, когда оно избавится от всяких поработителей, когда не будет на земле ни правительств, ни государств, ни писанных законов?

Мы обыкновенно думаем, что если человек отрицает настоящее, то он должен показать нам и план того будущего, ради которого он отвергает наше настоящее. Так и поступают всегда разные «освободители» человечества. Они всегда предлагают нам самые точные планы их будущего. Все они хорошо знают, что эти планы осуществить невозможно, ибо живую жизнь нельзя вложить в какие то теоретические схемы, но раз люди верят в эти мертвые схемы, то эти «освободители» и преподносят им эти теоретические фикции под видом научных схем.

Толстой же говорит, что «будущее будет таким, каким сделают его обстоятельства и люди».

Многие люди могут сказать поэтому: «Если у нас нет этих схем, то мы не можем разрушать старое». Толстой этим людям отвечает так:

«Если бы Колумб рассуждал так, он никогда не снялся бы с якоря. Сумасшествие ехать по океану не зная дороги, по океану, по которому никто не ездил, плыть в страну, существование которой — вопрос. Этим сумасшествием он открыл новый мир. Конечно, если бы народы переезжали

из одного готового hotel garni в другой, еще лучший, — было бы легче, да беда в том, что некому заготовлять новых квартир».

«Если бы жизнь отдельного человека при переходе от одного возраста к другому была бы вполне известна ему, ему незачем бы было жить. То же и с жизнью человечества: если бы у него была программа той жизни, которая ожидает его при вступлении в новый возраст его, то это было бы самым верным признаком того, что оно не живет, не двигается, а топчется на месте. Условия нового строя жизни не могут быть известны нам, потому что они должны быть выработаны нами же. Только в том и жизнь, чтобы познавать неизвестное и сообразовать с этим новым познанием свою деятельность. В том жизнь каждого отдельного человека, и в том жизнь человеческих обществ и человечества». («Царство Божие внутри вас»).

Можем ли мы согласиться с этим суждением? Прав ли Толстой, когда говорит, что мы должны думать не о том, как приступить к устройству нового общества, а как освободиться нам от нашего сегодняшнего рабства. Толстой в этом прав. Наше освобождение от современного экономического и политического рабства — это наша главная задача. Строительство же будущего общества — задача не настолько важная. Христос говорил: «Познайте истину и истина вас сделает свободными». Если же мы будем знать истину, то мы сумеем построить и новое общество.

Само собою разумеется, что каждый из нас должен знать, во имя чего, во имя какого идеала он отрицает современное несправедливое общественное устройство. Отрицание же ради отрицания является совершенно бессмысленным. Но когда Толстой отрицает современное общество, то он отрицает его ради Царства Божия. А идеал Царства Божия есть идеал совершенного анархического общества.

Толстой не верил только в те «точные» и «научные» планы нового общественного устройства, которые составляют в свих кабинетах разные реальные политики.

Осуществление

Как же может осуществиться это Царство Божие на земле? Толстой не признает ни древне-иудейской, ни церковно-христианской апокалиптики. Он не верит ни в иудейских, ни в христианских, ни в социалистических Мессий-освободителей.

«Люди, — говорит Толстой, — не должны больше ожидать, что кто то придет и поможет им: Христос на облаках с трубным гласом, или исторический закон, или закон дифференциации и интеграции сил. Никто не поможет, коли сами себе не помогут». («В чём моря вера?»).

«И не придет Царство Божие приметным образом и не скажут: вот, оно здесь или вот оно там. Ибо вот: Царство Божие внутри вас есть». (Лк. 17, 20).

«Для того, чтобы изменился противный сознанию людей порядок жизни и заменился соответственным ему, нужно, чтобы отжившее общественное мнение заменилось живым новым». («Христианство и патриотизм»).

Из этого следует, что «если ты землевладелец, чтобы ты сейчас отдал свою землю бедным, если капиталист, — сейчас бы отдал свои деньги, фабрику рабочим, если царь, министр, служащий, судья, генерал, то чтобы ты тотчас отказался от своего выгодного положения...» («Царство Божие внутри вас»).

Толстой не признает насилия, но его учение о пассивном сопротивлении злу является революционным учением.

«Это учение, — говорит Толстой, — не следует понимать так, «что оно будто бы запрещает всякую борьбу со злом». «Заповедь непротивления злу не означает также, что одна лишь часть людей обязана без борьбы покоряться тому, что известными авторитетами будет предписано им». Эта заповедь состоит в том, «чтобы никому, следовательно, и тем (и преимущественно тем), которые властвуют, не употреблять насилия ни против кого, ни в каком случае».

Дальше Толстой говорит, что правительству легче бороться с разными активными революционерами, признаю-

щими насилие, нежели с этими мирными людьми, отказывающимися от повиновения правительствам.

«Они могут перебить, переказнить, перезапереть по тюрьмам и каторгам на вечно всех своих врагов, желающих насилием свергнуть их; могут засыпать золотом половину людей, которые им нужны, и подкупить их; могут подчинить миллионы вооруженных людей, готовых погубить всех врагов правительств. Но что они могут сделать против людей, которые, не желая ничего разрушать, ни угрожать, желают только для себя, для своей жизни, не делать ничего противного христианскому закону, и потому отказываются от исполнения самых общих и потому необходимых для правительства обязанностей». («Царство Божие внутри вас»).

Заключение

Ознакомившись с отношением Толстого к власти, праву и государству, скажем, что хотя Толстой и не называл себя анархистом, но его учение является анархическим. Толстой не только анархист, но и великий индивидуалист. Правда, его анархизм имеет мало общего с анархизмом Бакунина и Кропоткина. Его анархизм основан исключительно на нравственных и религиозных началах. Толстой заявляет, что он не проповедует ничего нового, а проповедует только истинное учение Христа. И мы должны согласиться с этим заявлением. Толстой не сказал людям почти ничего нового. Он только старался доказать им, что подлинное учение Христа является учением анархическим, и что этим учением нельзя оправдывать существования власти и государства.

Вот этот то Толстой и дорог тем людям, которые стремятся к высшей справедливости.

1928

ГЕНРИК ИБСЕН

(1828—1906)

20 марта исполнилось 100 лет со дня рождения знаменитого норвежского писателя Генрика Ибсена. Имя этого великого писателя пользовалось очень большой популярностью в России, пока там не было еще советского правительства. Пьесы Ибсена ставились очень часто в Московском Художественном театре при участии Качалова и других знаменитых артистов. Имя Генрика Ибсена было известно в России каждому культурному человеку. Теперь, конечно, пьесы Ибсена сняты со сцены. Все его вещи считаются неприемлемыми для советского театра, ибо они враждебны «коммунистической идеологии».

Для одних большевиков, как, например, для советского профессора Фриче, Ибсен является «мелкобуржуазным» писателем, для других же он является очень опасным анархистом. А поэтому то пьесы Ибсена и были сняты со сцены после появления у власти большевиков. Хотя эти правители являются людьми очень невежественными и некультурными, но они всё же прекрасно понимают, что литератор может быть опаснее всяких пропагандистов и агитаторов. К числу таких опасных литераторов принадлежит, по мнению большевиков, и Ибсен.

Раньше в России не было таких явлений. Реакционное царское правительство было, как оказывается, более революционным, нежели нынешнее правительство. Оно разрешало к постановке не только пьесы Ибсена, но и других революционных писателей. Теперь, конечно, нет даже и этой свободы. И нет этой свободы потому, что советское правительство боится и «правых» и «левых». Хотя это правитель-

ство и презирает мелкую буржуазию, но с головы до ног оно является таким же мелкобуржуазным. Само собою разумеется, что каждый большевик хотел бы сделаться и крупным буржуа, но все эти мечтания являются пока бесплодными. Для этого нужна какая то особая коммерческая гениальность. Этой же гениальности у них нет, а есть только способность мелкого торговца.

А этот то торговец и боится и реакционных, и революционных веяний. Он, как и один из героев Ибсена, не признает ни бурь, ни тишины могильной.

* * * *

Ибсен является, несомненно, одним из величайших писателей нашего времени. После Байрона и Оскара Уайльда, никто еще не произвел в сознании людей такой великой революции, какую произвел норвежский писатель. Вполне понятно, следовательно, почему первые произведения Ибсена были отвергнуты современным лицемерным обществом.

Общество хотело победить писателя, но оно не устояло, в конце концов, перед его страшной силой и вынуждено было признать себя побежденным. Ибсен восстал не только против современной социально-политической действительности, но и против всех моральных ценностей.

Он обнажил духовное убожество людей, замаскированное очень часто разными идеями и фразами, и показал нам подлинного человека.

Ибсен написал очень много пьес. Во всех этих пьесах Ибсен является непримиримым революционером. Но главными его произведениями являются, пожалуй, следующие: «Пер Гюнт», «Бранд» и «Кукольный дом».

Пер Гюнт — это типичный мещанин. Его девиз — «великая кривая». Он не желает идти по прямым путям, потому что эти прямые пути бывают иногда очень опасными и суровыми. Поэтому то он и думает, что лучше (выгоднее) идти по кривой и «обходить сторонкой» разные опасности.

Мысли, дела, идеалы — всё это вещи пустые для Пер Гюнта. Всё это ему неведомо. Он живет только лишь данным мгновеньем. Он ничего не достигает сам. Он научился только воровать у жизни сладкие мгновения. Не даром, очевидно, его мысли и свились в клубки. Эти мысли говорят Пер Гюнту следующее:

«Мы — твои мысли. Но нас до конца
Ты не трудился продумать».

А поэтому то эти мысли и «свились в клубки». Им делать нечего в сознании Пер Гюнта.

Сухие сломанные соломинки тоже напоминают ему о себе. Они являются теми делами, которые он «совершить был бы должен».

Жалуются также и лозунги Пер Гюнта, ибо они остались не провозглашенными.

Много в жизни Пер Гюнта было приключений, но в каждом приключении он всегда шел по «великой кривой» и думал только лишь о том, чтобы извлечь из них какую нибудь выгоду. Не знает он ни подвига, ни героизма. Для него не имеет никакого значения даже смерть Азы. Какого то особенного трагизма эта сцена достигает у Грига, написавшего музыку к этой чудесной драматической поэме.

Чем же кончаются скитания Пер Гюнта? Кончаются они тем же, чем кончаются и скитания «блудного сына». Он возвращается на родину с опустошенной душой и с разбитым сердцем. Но этого блудного сына, забытого всеми людьми, здесь ожидает Сольвейг. Она уже состарилась, но всё же верит почему то, что блудный сын вернется перед своей смертью к ней. И ждет его годы и десятки лет. И она дождалась своего Пер Гюнта. Этот авантюрист вернулся на закате жизни к ней. И она, озаренная счастьем, хотя очень поздно пришедшим, поет ему свою колыбельную песнь:

«Спи, усни, ненаглядный ты мой.
Буду сон охранять сладкий твой».

Бранд — совсем иной. Бранд — анархист, задавшийся целью «правдой то сделать, что было лишь сном, в жизнь

провести свои грезы». Пер Гюнт идет по «великой кривой», Бранд же идет по прямой. Его девиз — «иль всё, иль ничего». Этот молодой священник восстает против опошленной государственной церкви и строит свой храм в горах. Путь к этому храму очень суров и тернист. Чтобы пройти этот путь, чтобы войти в ледяной храм Бранда, нужно обладать величайшей духовной мощью. Поэтому то Бранд и говорит слабым о том, чтобы они лучше остались в долине. Этот путь настолько суров и тяжел, что его не проходит до конца даже его жена Агнес. В этом, очевидно, и была ошибка Бранда.

Долг для него выше любви. Поэтому то он и не знал милосердия. Бранд, очевидно, думал, что только в силу долга, а не любви, можно создать на земле «царствие Божие». Бранд говорит:

«Гибели час иль спасенья приспел,
Выполни, что тебе долг повелел
И ты обновишь эту землю».

Долг не знает жалости. Поэтому то Бранд жертвует ради этого страшного долга и малюткой-сыном и своей женой, этим неземным созданием, и сам, в конце концов, является жертвой этого же долга. Только в минуты смерти, среди громовых раскатов, Бранд задает Богу такой вопрос:

«Боже, ответь мне в час смерти моей,
Легче-ль песчинки в деснице твоей
Воли людской quantum satis?».

И голос говорит ему о том, что истинный Бог есть не Бог долга, а Бог любви и вечного милосердия. Бранд слышит такой ответ:

«Бог он — deus caritatis».

Этого великого анархиста Ибсен нарисовал нам в образе священника. Но суть вещей не в звании. Важно нам только то, что Ибсен показал нам подлинного анархиста, вспомнившего, к сожалению, очень поздно о том, что творческой силой является не только долг, но и любовь милосердная.

В этой драматической поэме, после которой Ибсен завоевал себе первое место в мировой литературе, отразился, словно в зеркале, весь духовный облик самого писателя. Ибсена мы имеем полное право назвать анархистом. Этим именем он и сам называл себя. Он, как и Ницше, посылал проклятья государству. В одном из своих писем к Брандесу он, между прочим, пишет следующее: «Государство — проклятье для личности. Какой ценой купила Пруссия свою государственную мощь? Ценою превращения личности в какое то абстрактное и географическое понятие... Долой государство! Только в такой революции я приму участие»... Он недоволен был также и парижскими коммунарами. Недоволен был потому, что они не уничтожили всякую власть во время восстания.

Проблема личности и общества выразились у Ибсена очень ярко не только в его «Бранде», но и во всех других его произведениях. Разбор его произведений с этой точки зрения сделал когда то Георгий Чулков в своей книге «Анархические идеи в драмах Ибсена».

Он не только анархист, но и великий индивидуалист. Устами своего доктора Стокмана он говорит следующее:

«Самый могущественный человек это тот, кто на арене жизни стоит совсем одиноко».

Такими же бунтовщиками против общества, против установившихся моральных традиций, являются у Ибсена и женщины. Нора в «Кукольном доме» бросает мужа и детей, ибо она хочет быть прежде всего человеком. Она не хочет быть только лишь женой и матерью. Так рассуждают у писателя и многие другие женщины. Многие из них гибнут, как погиб и Бранд, в борьбе за свою свободу, но никто из них не складывает своего оружия. Лучше погибнуть в свободе, нежели жить в рабстве.

Так говорил Ибсен.

1928

МЕЧТАНИЯ УЭЛЛСА

Герберт Уэллс принадлежит к разряду тех писателей, которые интересуются больше всего грядущими судьбами человечества. Грядущий день так же реален для Уэллса, как и настоящий день. Во имя дня грядущего он не приемлет этого страшного мира, в котором нет ни справедливости, ни счастья, ни свободы, и мысленно уносится в грядущие тысячелетия. Эти тысячелетия рисуются писателю в каком то лучезарном свете. Он видит в них эпоху Золотого века, которая, как говорят сказания, уже была когда то на земле. Трудно сказать, однако, где и когда была эта счастливая эпоха. Если в этих сказаниях имеется какая либо доля правды, то надо полагать, что все эти сказания относятся к погибшей Атлантиде. Имел в виду, повидимому, Атлантиду и Бульвер-Литтон, когда писал свою чудесную книгу «Грядущая раса».

Вся наша современная действительность является настолько уродливой и кошмарной, что всякая мечта о нашем лучшем будущем считается нами утопией. Мы так привыкли к ужасам нашей действительности, что не способны верить даже в возможность завтрашнего дня. Мы так привыкли ко всевозможным страданиям в жизни (личной и общественной), что не осмеливаемся никогда даже и думать о счастье. Счастье является для нас чем то почти невозможным. Оно улыбается нам иногда на одно мгновенье и исчезает на веки; коснется нас крылом и улетает прочь. Но мы довольствуемся даже и этим мгновением, если не в состоянии продлить его или остановить, как не был в состоянии остановить его и Фауст, когда говорил: «Остановись, прекрасное мгновенье!» Счастье сильнее страданий и смерти. Ради мгновенья счастья мы соглашаемся страдать целые годы. «Ради одной

минуты счастья, — сказала однажды недавно умершая молодая русская девушка, — стоит страдать даже всю жизнь!» Судьба приносит нам очень редко эти мгновенья счастья. А многие не видят счастья никогда. Поэтому, быть может, мы и называем утопией всякую мечту о счастье. Поэтому, быть может, мы и относимся с некоторой иронией ко всяким мечтаниям о нашем грядущем дне и называем их «бесплодными фантазиями».

К числу таких людей, которые могут заглядывать в наше будущее, принадлежит и Уэллс. Лучшие произведения этого выдающегося английского писателя посвящены этим грядущим тысячелетиям. Уэллс не может примириться с нашим сегодняшним днем и пробует нас перенесть в наше земное будущее. И мы, вместе с писателем, уносимся в этот далекий сказочный мир и наслаждаемся, хотя бы мысленно, своим грядущим счастьем.

Уэллс очень редко рисует нам это будущее какими то трагическими красками. Уэллс является глубоким оптимистом. Он верит искренно в возможность Золотого века. Сказания об этом веке он не считает утопиями. И этот век осуществится в будущем, ибо в основе социальной жизни, как и в основе нашей жизни личной, лежат законы вечного прогресса. С каждым днем совершенствуются не только наши духовные достижения, но совершенствуется также наша социальная действительность. Так думает Уэллс.

Он написал много романов о всевозможных технических достижениях в будущем («Машина времени», «Война миров», «Первые люди на луне», «Человек невидимка» и другие), но лучшими его произведениями являются, конечно, те, в которых освещаются вопросы социальные. К числу этих романов относятся следующие: «Когда спящий проснется», «Чудесное посещение», «Люди-боги» и «Сон». В первом из них, грядущий день рисуется писателю чем то довольно мрачным. В этом романе Уэллс нарисовал кошмарную картину централизованного капиталистического общества, которое мерещится ему где то в тумане будущего. Во втором романе он описал подробно разные приключения

Ангела в нашей земной действительности. В третьем романе Уэллс нарисовал чудесную картину будущего общества. Будущий социальный строй, как он описан в этой очаровательной книге, почти ничем не отличается от того социального и политического устройства, к которому стремятся нынешние анархисты. Недаром, очевидно, люди этого будущего общества и кажутся ему почти богами («Люди-боги» или «Яко боги»).

Четвертый же роман посвящен Уэллсом нашей суровой действительности. Эту действительность он подвергает в этой книге самой жестокой критике. Но и этот роман является романом «фантастическим», хотя в нём нет даже и признака гаданий и пророчеств. В этом произведении Уэллс опередил нас на два тысячелетия и устами своего героя, Сарнака, рассказывает людям той эпохи о положении вещей в нашем XX веке. В этом и заключается «фантазия» Уэллса.

В романе «Сон» Уэллс изображает группу молодых людей, очень внимательно выслушивающих повесть Сарнака о людях XX века. Среди его слушателей имеются, конечно, и две девушки, Сэнрей и Файерфлай, которые не менее мужчин интересуются серьезными вопросами. Они совсем непохожи на нынешних женщин, ибо почти все нынешние женщины интересуются только своею внешностью. О внутреннем же содержании они не беспокоятся. Имеются, конечно, исключения. Имеются и в наше время эти чудесные Сэнрей и Файерфлай. Никто не может их назвать «сосудами скудельными». Они озарены не только лишь тем Женственно-Вечным сиянием, которое к небу влечет человека, как говорится в «Фаусте», но обладают вместе с тем громадными духовными сокровищами. Но эти женщины встречаются необычайно редко. И все они живут недолго, ибо, по слову Ницше, «любимцы богов умирают рано».

Они, подобно ярким метеорам, живут один лишь миг на небе нашей жизни. И счастлив тот из нас, кто может приметить такую звезду! Пусть она утонула в вечности, но яркий свет ее остался навеки в той душе, которая эту звезду

приметила на небе. Пусть этот человек оплакивает вместе с Беранже эту погибшую звезду («О, плачь, мой сын, еще звезда скатилась»), но он в своих слезах является бóльшим счастливцем, чем кто бы то ни было. Ибо самым несчастным человеком является тот человек, которому нечего в жизни оплакивать. Иные слезы дают нам больше счастья, нежели смех и веселье. Вот этими яркими звездами и грезятся Уэллсу Сэнрей и Файерфлай.

Каким же образом мог знать Сарнак об этих странных людях, живших в XX веке? Как мог он говорить о той социальной действительности, которая теряется где то во тьме истории? Не мог же он ознакомиться с культурой и цивилизацией XX столетия по всевозможным книгам об этой эпохе, как, например, не можем мы сейчас подробно изучить жизнь древнего Египта.

Вопрос разрешается просто: Сарнак уснул после своей прогулки и в этом сне он вспомнил свою жизнь в том отдаленном прошлом. Вся эта жизнь прошла перед Сарнаком подобно кинематографической ленте. Были сфотографированы даже все мелочи этой жизни. Вспомнил он свое детство, сопровождавшееся страшными лишениями, вспомнил весь социальный быт XX столетия, вспомнил свои случайные успехи в жизни, вспомнил свою любовь в этой прошедшей жизни, вспомнил даже и тот момент, когда он был убит какими то громилами. Дальше он ничего не помнит. Где же он был в течении двух тысяч лет? Жил ведь Сарнак, под именем Гарри Мортимера Смита, в XX столетии, а возродился вновь после двух тысяч лет. Этого он не вспомнил. Это осталось тайной для Сарнака.

Сарнак рассказывает, что жил он в Англии «за некоторое время до великой войны и социальной катастрофы». Это была какая то жуткая и чудовищная эпоха. Эту далекую эпоху можно назвать, по мнению Сарнака, детством человечества. Вот что рассказывает Сарнак об этой эпохе:

«В том старом мире, где не существовало ни свободы, ни порядка, вся земля была поделена на разного вида и величины участки. Последние принадлежали людям, которые

делали с ними, что им было угодно, и которые сами тогда подвергались разным притеснениям и бесполезным ограничениям. И в Черри-Гарденс определенного типа люди, называвшиеся спекулянтами, скупали участки земли, зачастую совершенно неподходящей, и строили на них дома для всё возрастающего населения, которому иначе некуда было бы деваться. Эти постройки возводились без всякого плана. Спекулянты строили их то здесь, то там, и каждый из них старался только о том, чтобы построить дома как можно дешевле и продать или сдать их в наем как можно дороже». Всё это происходило потому, рассказывает дальше Сарнак, что в том мире существовало какое то право частной собственности, совсем неведомое его слушателям. Земля принадлежала частным лицам, считалась, по какому то праву, их собственностью. Право это приводило к тому, что человек не мог даже ходить там, где ему захочется. Всюду в то время можно было видеть следующие грозные надписи:

Частная собственность.
Вход строго воспрещается.

Всюду господствовал тогда принцип «нерегулируемого и бесконтрольного размножения». «Нелепое размножение это, — говорит Сарнак, — было зрелищем, драмой всей атмосферой моей жизни».

«Но были же у них наставники, священники, доктора и правители, которые могли бы научить их лучшему?» — сказала одна слушательница.

«Они существовали не для того, чтобы наставлять их и вести на путь истины, — ответил Сарнак. — Эти руководители и учителя жизни были какие то странные люди. Их было много и они никем не руководили. Вместо того, чтобы учить мужчин и женщин регулировать рождаемость, предотвращать болезни и благородно совместно трудиться, они просто мешали всему этому». Этот вопрос считался тогда запретным. В том мире не было никаких детских садов. Были только какие то сборные места, называвшиеся школами, но и в этих школах детей ничему не учили. В этих

школах, рассказывает Сарнак, были только какие то старые карты Европы и Азии, рваные хрестоматии, экземпляры Библии и сборники гимнов. «Нас выстраивали, — говорит он, — в ряд и заставляли распевать оригинальную вещь, носившую название таблицы умножения:

Дважды два — четыре.
Дважды три — шесть.
Дважды четыре — восемь.

Вообще, большей частью нас заставляли распевать — разумеется, в унисон — религиозные гимны. Историю же нам преподавали таким образом: Вильгельм Завоеватель — 1027, Вильгельм Рыжий — 1087». Почему не было в то время лучших школ? «Потому, что Англия скупилась на самое жалкое образование своим детям. Таким же точно образом поступали и все прочие страны. Тогда на эти вещи смотрели иначе, чем теперь. Все были охвачены каким то умственным затмением. В Америке, считавшейся по понятиям того времни гораздо более богатою, чем Англия, народные школы были поставлены, если только это возможно, еще хуже и оборудованы еще плоше».

Церковь в то время тоже была очень странным явлением. «Каждая церковь утверждала, что именно она является представительницей истинного христианства». «Общее мнение от церковной службы получалось следующее: под видом восхвалений и поклонения Богу, мы в сущности винили именно и исключительно Его во всех бедствиях, которые постигали человечество. При этом мы снимали с людей всякую ответственность за весь хаос в их жизни и за те несчастья, которые обрушивались на человечество». Дальше Сарнак говорит, что хотя эти церкви считались тогда христианскими, но они не имели, вероятно, даже малейшего представления о том, чему учил Христос.

Самыми выдающимися героями той эпохи были не гении, не выдающиеся ученые и моралисты, а всевозможные авантюристы и правители. Так, например, те люди относились с каким то благоговением к какому то цезарю, «кото-

рый назывался Юлием Цезарем и был тем ававтюристом, который подавил последние вспышки угасшей Римской республики». Все короли того времени пользовались большими почестями, хотя почти все эти короли и правители были совсем ничтожными людьми.

Вот что говорит Сарнак своим слушателям об английском парламенте XX столетия:

«Тут заседал парламент. В его палатах король, являвшийся просто куклою, гнусная аристократия и мошенническим образом избранное сборище законоведов, финансистов и авантюристов, среди всеобщего умственного застоя того времени, принимали на себя личину мудрости и выявляли свою власть». Вот каковы были парламенты и правители в этой далекой древности! Такое положение вещей нисколько не мешало людям считать подобные формы правления, являвшиеся страшным издевательством над людьми, формами демократическими. Нужно еще заметить здесь, что это английское правительство считалось одним из лучших. Правительства же других стран, даже республиканских, были еще хуже.

Каковы же были аристократы того времени, каковы были те люди, которым всячески старались подражать и все простые смертные? Чтобы познакомить своих слушателей с аристократами XX века, Сарнак подробно описал им лондонского лорда Брамбля. Этот лорд Брамбль прекрасно играл в карты. Значительную часть своего времени он тратил на посещение различных ипподромов и на пальбу по голубям. «Его сиятельство был тонкий гурман и во время обедов слишком уж увлекался портвейном. В те времена люди еще курили и лорд Брамбль уничтожал ежедневно по 3-4 сигары. В трубке он усматривал нечто плебейское, папиросы считал пригодными для лиц с женственным, слабым складом нервной системы. Газету он еще мог кое как прочесть, но отнюдь не книгу, не будучи в состоянии на некоторое время сосредоточить на ней свое внимание. После обеда в гостях он обыкновенно отправлялся в театр или

какой либо мюзик-холл, где можно было видеть более или менее обнаженных женщин. Костюмы того времени вызывали в таких людях, как лорд Брамбль, острое ощущение потребности наготы. Такова была жизнь аристократии в те времена».

«Сами женщины того времени, — продолжает Сарнак, — сочувствовали упомянутой стрельбе, называли лошадей «милыми», разводили карликовых, уродливых комнатных собачек и охотно разрешали всем желающим любоваться их собственной наготою». В этом они находили громадное удовольствие. Эту наготу женщины демонстрировали тогда не только в театрах, но и в подвседневной жизни. «Женщины проводили большую часть дней недели за приобретением разных вещей, платьев, украшений, столового белья, ковров и драпировок. Они ничем не были заняты. Женщины были слишком невежественны, чтобы интересоваться чем либо дельным. Им больше ничего и не оставалось, как бегать по магазинам. Эти покупки представлялись им наивысшим в жизни, сущностью ее успеха; ими определялось их счастье!» Такую характеристику дает Сарнак нашим прелестным современницам.

Само собой разумеется, что при таком примитивном сознании человечества не могло быть и речи о счастливой семейной жизни. Счастливая семейная жизнь была почти что чудом. Семейная жизнь большинства людей была каким то адом. Не могли связать людей узами вечной любви и дружбы ни церковные, ни гражданские браки. Сущность же брака 40-го столетия мы узнаем из следующих слов Сарнака: «Священники всех религий, — говорит он, — когда либо существовавших на свете, не смогли бы крепче связать меня с Сэнрей, чем я сейчас связан с нею. Для того, чтобы соединить топор с рукояткою, разве нужны книга и алтарь?»

Слушая эту печальную повесть о человечестве, все его слушатели поняли, в конце концов, что люди того времени совсем не знали счастья.

«Но, — возразил один, — наверное счастье всё таки существовало. Была же хоть *иллюзия* счастья?

«Лишь мельком и обрывками, — ответил Сарнак. — Впрочем, мне думается, что Файерфлай совершенно права: во всём том мире не было счастливых жизней!

«Даже у детей?»

«Жизней, — сказал я, — а не частей жизни. Дети готовы смеяться и некоторое время прыгать, даже родившись в аду».

Сарнак прожил в той жизни больше четверти века, но он ни разу не встретил счастливого человека. Сам же он «только один раз видел счастье вдали». Подобная же мысль проводится и в книге Анатоля Франса «Сказка о рубашке». Герои этой сказки тоже искали на нашей злосчастной земле счастливого человека, но все их поиски оказались бесплодными. Впрочем, они нашли одного счастливца, но этот счастливец жил где то в лесу и не имел даже рубашки.

Величайшим же ужасом прошлых тысячелетий были, несомненно, войны. Люди безжалостно истребляли друг друга, но никто из них не мог бы ответить тогда на вопрос: ради чего устраиваются эти войны. Вот почему Сарнак и говорил тогда, что «лучше было бы, если бы они собрали нас, бросили бы жребий, убили бы кого нужно и покончили бы со всем этим разом, чтобы можно было либо умереть, либо возвратиться домой и заняться чем нибудь серьезным». Каждая из воюющих сторон ждала от войны хороших результатов, но она приносила зло и победителям и побежденным. «Мирвая война, — говорит Сарнак, — убила и перекалечила миллионы людей, всех сделала беднее. Война не изменила ни природы, ни невежества, ни дурных наклонностей тех миллионов, которые от нее уцелели. Хотя мировая война и возникла как следствие невежества и неправильных представлений, однако, она не сделала ничего, чтобы внести изменения в эту область. Когда она окончилась, мир стал гораздо беднее, но и беспокойнее прежнего, оставаясь, впрочем, всё тем же презренным, гнусным, полным разных случайностей миром, миром любостяжательным, расколовшимся, жеманно-патриотическим, неразумно плодовитым, грязным, больным, злобным и тщеславным. Потребовалось

до двух десятков веков научных исследований, тренировки, мышления и труда, чтобы произошла значительная перемена».

Впрочем, это и не удивительно. Ничего лучшего и невозможно было ожидать в то время; ибо люди того времени были почти дикарями, хотя они и гордились своими научными достижениями. Культура того времени была очень убогой и плачевной. «Как в школе, так и в церкви упрямый педантизм затемнял рассудок человека. Европейцы XX века, — продолжает Сарнак, — совмещали теологию фараонов, космологию сумерийских царей-первосвященников с политическими учениями XVII столетия и с этикой крикета и скачек... Все европейские столицы того времени, отличаясь честностью сорок и самостоятельностью обезьян, украсились обелисками, выкраденными из Египта». «Одною из действительно прекрасных вещей того времени была музыка. В некоторых областях человечество очень рано достигло совершенства. Мне кажется, что в области ювелирного дела ничто никогда не смогло превзойти изделий из золота и драгоценных камней эпохи семнадцатой египетской династии; много веков тому назад мраморная скульптура достигла своего апогея в Афинах задолго до завоеваний Александра Македонского. Сомневаюсь, — говорит Сарнак, — существовала ли когда нибудь на свете более чарующая музыка, чем те мелодии, которыми мы располагаем от эпохи смятения». Сарнак уверен, что он никогда не забудет тех музыкальных мелодий, которые слышал 2 тысячи лет тому назад. Впервые в этой жизни слушал он в хорошем исполнении отрывки из шумановского «Карнавала» и из произведений Баха и Бетховена. Эта музыка не утратила своего величественного значения даже в сороковом столетии! Не джаз-банд, конечно.

Вот какова была жизнь человечества в его далеком прошлом! Рассказ Сарнака обрывается. Он вспомнил всю свою земную жизнь в XX веке, но он не помнит ничего о своей дальнейшей жизни. Он сам не может понять этого вопроса. Он знает только то, что если он родился вновь через 2 тысячи лет и вспомнил одно из своих прежних суще-

ствований, то говорить о какой то смерти было бы бессмысленно. «Мы можем, — говорит Старлайт в конце его рассказа, — победить пространство и время, но никогда не одолеть нам тайны бытия; равно и того, отчего мы, существа, одаренные сознанием и волей. Жизнь и смерть как бы находятся в хрустальном шаре, в котором мы заключены навеки и который составляет наш предел. Жизнь не может, а смерть не хочет проникнуть за эти пределы».

Заключает же Сарнак свой рассказ следующими словами: «То была действительная жизнь, и, вместе с тем, то был сон, сон в жизни; эта же теперешняя жизнь — также сон. Сон в снах, сны, содержащие в свою очередь сны, пока мы, быть может, не доберемся до видящего все сны существа, содержащего в себе всё существующее. Жизнь не знает пределов чудесного и прекрасного».

Очень жаль, конечно, что Сарнак ничего не сказал нам о той совершенной и счастливой жизни, которую он встретил на земле в конце 4-го тысячелетия.

Но надо полагать, что эта жизнь похожа на жизнь тех людей, которую Уэллс так ярко описал в своем романе «Люди-боги». К ней приложимы, вероятно, те же слова, которые звучат так гордо и торжественно в последней сцене «Фауста»:

«Здесь совершается невероятное,
Здесь достигается недостижимое».

Этими словами можно и закончить.

ОПАСНАЯ ИГРА

Многие из нас хорошо помнят то время, когда между идеалистами и материалистами шли ожесточенные споры, вращавшиеся, главным образом, вокруг двух основных вопросов: теории познания и философии истории. Сознание определяет бытие или же бытие определяет сознание? Этот вопрос считался спорящими сторонами едва ли не самым важнейшим вопросом их спора.

Теперь этот вопрос затрагивается очень редко. Он потерял в настоящее время всю свою «важность» и исключительность и отнесен, как видно навсегда, в музей человеческой мысли. Ведь этот спор был в сущности слишком нелепым спором. Достаточно нам даже очень бегло присмотреться к любому явлению жизни, чтобы понять неосновательность различных материалистических «истин». Все их философские и социологические концепции не могут выдержать даже самой поверхностной и несерьезной критики.

Все мы, ведь, знаем, что одна и та же вещь рассматривается нами с разных точек зрения. Книга, прочитанная мистиком и атеистом, становится сейчас же двумя книгами, книгою мистика и книгой атеиста, ибо каждый из них поймет эту книгу *по своему*. Любое произведение искусства тоже будет расматриваться нами с разных точек зрения. Так, например, гробницу Тут Анк Амона художник будет рассматривать только с художественной стороны; мистик будет искать в ней ценностей религиозных; историк будет изучать ее как историческое и культурное явление, а коммерсант будет смотреть на эту вещь тоже совсем иначе: он будет давать этой вещи только лишь денежную оценку. Он не найдет в ней ни художественных красот, ни религи-

озных символов, а будет задавать себе только такой вопрос: а сколько тысяч долларов он мог бы получить за эти драгоценности?

У нас имеется одна и та же вещь, один и тот же кусок бытия, но все мы понимаем эту вещь по своему. Единое здесь становится множественным. Наше сознание определяет данное явление. Но никогда еще не было случая, чтобы какая нибудь вещь могла определять наше сознание. Если бы это было так, то наши мысли были бы тождественными. Но этой тождественности мы не замечаем. Оценка всякого явления является оценкой субъективной. Какова наша духовная и познавательная структура, таковыми кажутся нам и все мировые явления.

Так же рассматриваем мы и социальные события. Эти события все мы рассматриваем тоже субъективно. Марксисты, например, будут искать в каком либо событии определенного экономического базиса, идеалисты же будут искать в нём базиса духовного. Вполне понятно, следовательно, почему всякое историческое событие является тоже каким то множественным. Люди не могут дать ему оценку объективную.

Поэтому, очевидно, и русская революция является такой же множественной. Одни находят в ней нечто величественное и грандиозное, другие же видят в этом событии одни лишь ужасы и преступления. Одних она научила одному, других же она научила другому. Она дала нам *разные* уроки. Вот эти разные уроки она дала и русским анархистам.

* * * *

Все мы до русской революции были в духовном отношении какими то ужасно неподвижными. Имели мы учения Бакунина, Кропоткина и Штирнера и не нуждались больше ни в каких учениях. Эти учения мы понимали, конечно, по своему, часто совсем превратно, но все мы верили в их вечную непогрешимость. В наших рядах были даже такие фанатики, которые считали наших теоретиков чуть ли не па-

пами анархического Рима. Но вот пришла русская революция и в наши души закрадываются некоторые сомнения. Сомнение же, как мы знаем, является началом нашего мышления. В этот момент и мы начали мыслить. Это сомнение не привело нас, разумеется, к разочарованию в самых основах наших вероисповеданий, а проявило в нас духовное движение. Все мы (за немногим исключением) тогда же поняли, что анархизм нуждается в каких то дополнениях. Со времени Бакунина нам никогда не приходилось сталкиваться с суровой жизненной действительностью. Действительность же русской революции предъявила нам много серьезных требований. Все мы заметили тогда, что в анархизме есть какие то дефекты. Многие важные вопросы современности были для нас мучительными и ужасными. Произошло же это потому, что многие из них не были рассмотрены основательно нашими же учителями, а сами мы о них ни разу не подумали. Этих вопросов оказалось множество. Поэтому, вероятно, русские анархисты и совершили в то время так много роковых и непоправимых ошибок.

Но вот прошла эта страшная революционная буря и мы оглядываемся сейчас на свое же прошлое. Мы вспоминаем сейчас все свои старые ошибки и начинаем заполнять в нашем движении различные идейные и практические пробелы. Не отвергаем мы сейчас учения наших учителей, а начинаем только дополнять их в некоторых отношениях.

Многие из нас были участниками и свидетелями этих революционных событий. Казалось бы, что хоть до некоторой степени эти события должны были бы дать нам общие уроки, но этого мы пока что не видим. Все мы и эту революцию поняли только по своему. По своему мы также объясняем многие ошибки. Здесь тоже подтверждается учение идеалистов. Наше сознание определяет данное явление.

* * * *

Русская революция породила несколько новых течений в анархизме. Многие из них были настолько нелепыми и несостоятельными, что на них не стоит даже останавливаться.

Некоторые из них (как, например, анархо-универсализм, неонигилизм, анархо-футуризм, пан-анархизм) умерли от своего малокровия через несколько дней после своего рождения. Другие же и по сей день живут еще в нашем движении.

Чем объясняется такое множество теорий и учений? Чем объясняется подобная метаморфоза? Наша пассивность превратилась в действие. Наше спокойствие вдруг стало неспокойствием. Мы не довольствуемся уже ценностями старыми, а начинаем создавать какие то иные ценности.

Эта метаморфоза объясняется, очевидно, только тем, что мы живем лишь временными ценностями. Учения Бакунина, Кропоткина и Штирнера тоже были в известном смысле временными, ибо они могли быть приложимы только к определенному лишь времени. Если бы эти учения не были временными, они, повидимому, не нуждались бы в каких то дополнениях.

Каковы же все эти поправки и дополнения? Будут ли они вечными или же будут временными? Да, они будут временными, они тоже окажутся когда нибудь умершими. Мы тоже применяем их к определенному лишь времени. А многие из нас их применяют даже и к пространству. Поэтому, быть может, многие из нас задумываются сейчас очень часто о национальном вопросе. Старое решение этого вопроса тоже нуждается в каких то дополнениях. Имеется также и множество других вопросов.

А что же будет после нас? — Нас тоже будут исправлять и будут переделывать. Будут переделывать для того, чтобы и эти переделки кто то переделал.

Что же это такое? Не Сизифова ли это работа? Почему наблюдается такая безотрадная картина? Наблюдается она потому, что большинство из нас является детьми только своей эпохи. Все мы живем духом этой одной эпохи и не заглядываем никогда в глубины самой вечности. Если бы мы заглянули хотя раз в глубины этой вечности, мы начали бы жить какими то иными ценностями. Наши духовные ценности и достижения были бы в этом случае настолько мощ-

ными и величественными, что о них *разбивалось* бы время, как разбивается оно о мощь египетских пирамид. Среди нас нет почти совсем тех *старцев,* о которых, как сообщает в своем «Тимее» Платон, в Саизском храме говорил жрец грекам:

«Тогда в этом Саизском храме, окруженном Нилом, один из самых старых жрецов сказал путнику: О, Солон, вы, греки, всегда останетесь детьми, и нет ни одного грека, достойного прекрасного имени старца». — И Солон спросил: «Что хочешь ты этим сказать?» — «Что души ваши слишком молоды», — ответил жрец. — «У вас нет ни одной старой доктрины, перешедшей к вам от предков, ни одного учения, передаваемого из века в век седеющими головами»...

Хотя мы и называем себя очень часто идеалистами, но в наших рядах встречаются очень редко подлинные идеалисты. Громаднейшее большинство из нас не имеют ничего общего с истинным идеализмом. Наш ограниченный идеализм простирается большей частью только на исторические события. В области же чисто философской (этической и эстетической) мы до сих пор плетемся еще, по какому то недоразумению, за разными материалистами. В этом то, очевидно и заключается наша трагедия. Этот материализм делает нас реальными политиками. Реальный же политик — дитя *своего* времени. Для него нет ни прошлого, ни будущего. Этот политик знает только настоящее. Вот почему он и думает, что существуют на земле только сегодняшние идеалы. Идеалы же прошлого и грядущего для этого политика совсем не существуют: одни из них, по его мнению, давно уже умерли, другие же еще не родились.

Вот почему меняются так быстро разные программы этого политика. Сегодня изменяются формы и функции общественного организма — завтра изменятся его же убеждения. Завтра же этот реальный политик будет рассматривать иначе многие вопросы. То же самое будет делать этот политик и послезавтра. И так до бесконечности.

Он никогда не найдет ту «точку опоры», которую искал когда то Архимед; без этой же точки опоры, никто не

может перевернуть землю. Где же можно найти ее? Ее можно найти только в самой вечности. Ее нужно искать в тысячелетней мудрости, а не в случайных мыслях и желаниях. Если мы будем ближе к этим прекрасным старцам, о которых повествует в своей книге Платон, мы будем ближе к истине и правде. Думается, что эти старцы имеются где либо и сейчас; они должны быть где то. Если же мы сами станем когда либо этими вечно-юными старцами, тогда, повидимому, мы узнаем истину. Тогда вопрос Пилата: Что есть истина? — будет казаться нам смешным, а не мучительным. Только тогда, повидимому, не придется нам так часто «исправлять» различные ошибки и заблуждения. А заблуждений всевозможных у нас очень много. Ни одно социальное учение люди не понимают так ложно и превратно, как понимают многие из нас идею анархизма. Имеются, ведь, даже такие глупцы, называющие себя анархистами, которые нам заявляют иногда, что в анархизме нет никакой конечной цели. Почему в наших рядах появляются подобные «философы»? Потому что эти «философы» ищут истину только во временных и преходящих явлениях. Отсюда то и вытекает это чудовищное извращение анархизма.

* * * *

Новейшими течениями в *русском* анархизме, с которыми все мы должны считаться, являются два основных течения: одно из них является *мистическим,* другое же *авторитарным.* В мистическом течении мы слышим отзвуки тысячелетней мудрости; в течении же авторитарном слышится жалкий лепет реальной политики. Одно из них (мистическое) является учением общечеловеческим, другое же (авторитарное) является учением типично пролетарским. Классовая природа этого учения роднит его во многих отношениях с российским большевизмом. На этом то уродливом течении, каким является авторитарный анархизм, и хочется сейчас остановиться несколько подробнее.

Это течение в нашем движении было когда то совсем незначительным. Во время русской революции оно рассма-

тривалось нами как нездоровое явление, но многие из нас тогда же думали, что в эту исключительную революционную эпоху возможны всякие стихийные явления. Во время революции людям некогда думать о стройных идейных системах. Поэтому и данное явление считалось многими из нас продуктом революции. Его считали мы тогда явлением стихийным. Нашим предположениям не суждено было, однако, оправдаться. Это течение не умерло в день смерти русской революции, а существует еще и в настоящее время. И даже больше этого: оно обзавелось своими «теоретиками».

Эти «мыслители» оплакивают сейчас горькими слезами гибель русской революциии и обвиняют в этом... русских анархистов. Здесь то и начинается опасное им мудрствование. Число этих мыслителей совсем невелико. Но проповеди их мы слышим очень часто. Их голоса доносятся к нам из Европы. Одни из них находятся в Москве, другие же в Париже. Одни из них мечтают о создании какой то полувоенной анархической партии, другие же стремятся к власти и господству. Вот эти то авторитарные и централистические начала и положила парижская группа русских анархистов в основу своей уродливой программы, именуемой по какому то недоразумению, «Организационной платформой Всеобщего союза анархистов». Вот в этой то полу-анархической, полу-большевистской программе парижская группа и оправдывает все те стихийные и хаотические начала, которые родились некогда в грозе и буре русской революции.

Самым болезненным явлением в нашем движении группа считает нашу дезорганизованность. Как же избавиться от этой дезорганизованности? «Нам жизненно необходима организация, — говорится в ее «Организационной платформе», — которая, объединив большинство участников анархического движения, установила бы общую тактическую и политическую линию в анархизме и стала бы направляющей для всего движения». «Анархизм является не красивым воображением, не кабинетной мыслью философа, а социальным движением трудовых масс и уже по одному этому он

должен сплотить свои силы в общую, постоянно действующую организацию, как того требуют действительность и стратегия социально-классовой борьбы». Вот здесь и начинается та страшная игра, которая ведет нас не к анархии, а к власти и централизации. Само собой разумеется, что дезорганизованность и несогласие в нашем движении нам следует изжить во что бы то ни стало. Наше движение будет широким и внушительным только тогда, когда в наших рядах будут господствовать согласие и солидарность. Как же достичь подобной солидарности?

В программе парижской группы имеется ясный ответ: всем анархистам нужно отказаться от своей индивидуальной свободы и записаться в эту новую анархо-политическую партию. Таким образом можно достичь, конечно, единства. Но разве такое единство имеет какую нибудь ценность? — Нет, подобное единство нашего движения не стоит даже медного гроша. В такую партию могут вступать только те анархисты, которые хотят уйти из нашего движения. Если бы в эту организацию вошли только одни единомышленники, то и в этом случае в этой организации никогда не было бы полной солидарности. Мы, ведь, неоднократно пробовали объединяться на *идейной* почве, но результаты этого объединения были всегда плачевными. Да и сейчас еще в нашем движении имеются такие организации, в которых нет идейных разногласий. Но и в этих организациях нет внутренней гармонии. Всё это и свидетельствует о том, что никакие наши партии (и даже убеждения) никогда не избавят нас от нашей дезорганизованности. Полная солидарность будет господствовать в нашем движении только тогда, когда в основу нашего объединения будет положена широкая терпимость. Ярким примером этой солидарности была когда то Всероссийская Федерация Анархистов. В эту Федерацию входили и коммунисты, и синдикалисты, и индивидуалисты, и мистики, но ни в одной русской анархической организации не было никогда подобной солидарности. Подлинная солидарность вытекает ведь не из идейных источников (разве нет врагов-единомышленников?), а вытекает целиком из

нашей духовной культуры. Наше движение было таким убогим не потому, что в анархизме есть различные течения, а только потому, что все мы были до сих пор очень плохими анархистами и очень плохими людьми. Этой простой и очевидной истины не поняла парижская группа. Она и до сих пор предает анафеме тех анархистов, которые не принимают всех ее «законов». Она и до сих пор еще считает, что анархизм является ее лишь достоянием.

* * * *

Трудно сказать читателю, для кого именно написана эта «Организационная платформа». Если она написана для анархистов, то в ней должно быть меньше агитации, а больше конкретных положений; если она написана для людей образованных, то она должна быть более грамотной в социологическом отношении; если она написана для рабочих, в ней не должно быть в этом случае такого чудовищного искажения анархизма.

Анархизм, по мнению авторов этой платформы, является классовым учением. Для анархистов существуют только два (!) класса людей: пролетариат и буржуазия. Борьба этих двух классов «всегда являлась тем главным фактором, который определял форму и строение» общественной жизни. «Социально-политический строй каждой страны есть прежде всего продукт классовой борьбы. Его структура служит показателем того, на каком пункте и в каком состоянии остановилась и находится теперь классовая борьба». Так представляется вся мировая история. Что же можно сказать об этой философии? Можно сказать, пожалуй, что только самый ограниченный и примитивный человек может иметь подобное суждение. Классовая борьба никогда не определяла форм общественной жизни. Они определяются только духовным развитием человечества. Классовая борьба может определять до некоторой степени формы экономические, но она никогда еще не определяла общественно-политического устройства. Решающую роль играют в этом отношении не классы, а партии. Политиче-

ские формы определяются иногда даже религиозными движениями, как это было некогда в английской революции. Что же касается наших духовных достижений, то их никоим образом нельзя считать продуктом классовой борьбы.

К этой то классовой борьбе и призывают нас парижские анархисты. Во имя же чего должна вестись эта классовая борьба? Во имя чего должна быть произведена «насильственная социальная революция?» Во имя личности? Во имя права? Во имя общечеловеческого счастья? — Нет. Эти анархисты не знают никакой человеческой личности (ни личности «вообще», ни личности «мистической»). Не ведут они эту борьбу и во имя права. Не признают они также «единого человечества». Они ведут ее во имя классовой диктатуры, во имя установления диктатуры труда. Только труду, говорится в этой платформе, «принадлежит право руководства всей хозяйственной и общественной жизнью». Почему они стремятся так к этой пролетарской диктатуре? — Потому, что эта диктатура не будет нас эксплуатировать и предоставит в наше же распоряжение все земные блага. Для этого будут созданы особые органы управления. Этими органами управления будут тогда рабочие советы, фабрично-заводские комитеты или рабочие фабрично-заводские управления. «Органы эти, связанные между собой в пределах города, области и затем всей страны, образуют городские, областные и наконец всеобщие (федеральные органы руководства и управления производством)». Чем отличается подобная система от нынешней советской системы? Отличается только тем, что вместо политической власти там будет установлена власть экономическая.

Вот почему критика власти вообще является у них какой то несерьезной критикой. С одной стороны, они отрицают ее, с другой же стороны, они стремятся к власти и господству. Отрицают они точно также и современное правовое и политическое государство и создают вместо него государство экономическое.

Как же произойдет эта социальная революция? Она будет совершена рабочими и крестьянами. Идейное же ру-

ководство событиями должно принадлежать одним лишь анархистам. Для защиты революции от всевозможных бунтовщиков будет создана «рабоче-крестьянская» (анархическая) армия, подчиненная во всех военных и политических действиях командному составу. Это явление уже окончательно дополняет картину «будущего общества», как представляется оно нам в этой «Организационной платформе». Таковы главные положения этого большевистского анархизма.

В дополнение же ко всем этим диким извращениям анархизма, этими анархистами признается еще «принцип коллективной ответственности», в силу которого «за революционно-политическую деятельность каждого члена Союза (анархистов) ответствен весь Союз; точно также за революционно-политическую деятельность всего Союза ответствен каждый его член». Что означает этот принцип? Он означает собою круговую поруку, означает восстановление в нашем движении позорного института заложничества. К этому положению уже нельзя ничего прибавить. Здесь удивляет нас одно лишь обстоятельство: почему подобные анархисты не перешли до сих пор в коммунистическую партию? Они нашли бы там готовые программы, ничем не отличающиеся от этой «Организационной платформы».

Вот к чему приводит иногда людей игра с анархизмом.

«БОРЬБА» ЗА КУЛЬТУРУ

Года полтора тому назад московским книгоиздательством «Техника» была перепечатана книга Шюле «Техническая Термодинамика». Эта книга была перепечатана с разрешения соответствующих властей, выразивших книгоиздательству даже некоторую благодарность за издание этой книги. Эта крайне необходимая для студенчества книга была в то время почти недоступной для бедных студентов. Случайно попадались иногда в некоторых магазинах старые экземпляры этой книги и сейчас же покупались более состоятельными студентами. Вместо одного рубля (нормальная стоимость книги) эти студенты платили за нее 5-6 рублей золотом. Книгоиздательство «Техника» продавало эту новую книгу по 1 руб. золотом.

Казалось бы, что большевистские власти должны были бы только поблагодарить книгоиздательство за эту добрую помощь, оказанную русскому студенчеству, и успокоиться на этом. Но вышло несколько иначе. Государственное Издательство благодарило за это дело издателей книги, предложило им напечатать эту книгу даже в одной из лучших государственных типографий (где она и была напечатана), сообщив при этом, что Государственное Издательство не намерено заниматься переизданием этой крайне необходимой книги. И это верно. Государственное Издательство занималось печатанием не серьезных и необходимых книг, а печатало в бесконечном количестве экземпляров произведения Ленина, Зиновьева, Демьяна Бедного (Придворова), Барбюсса, Маяковского, Луначарского и других пролетарских писателей. Этих книг никто не покупал, никто и не читал. Но, тем не менее, печатать их было необходимо: книги написаны начальством и вождями...

Спустя некоторое время Государственное Издательство «опомнилось». Когда оно узнало, что в книгоиздательство «Техника» начали поступать большие требования на эту книгу даже из провинции, оно делает запрос издателям этой книги, на каком основании эта книга была ими напечатана, когда право издания всех учебников принадлежит только государству. Издатели книги предъявили ему его же собственные разрешения, а также разрешения и других властей, но все эти бумажки оказались недействительными. На основании существующих законов издатели не имели права печатать этой книги — и больше ничего.

После этого издатели решили передать все экземпляры этой книги Государственному Издательству по действительной стоимости этих экземпляров. Но Государственное Издательство не согласилось с этим предложением. Оно решило передать это дело в суд, привлекая к ответственности издателей не за нарушение законов о печати, а предъявляя издателям иск в несколько тысяч рублей золотом за... принесенные Государственному Издательству убытки. В чём же заключаются эти убытки? Они заключаются в том, что Государственное Издательство могло напечатать эту книгу и продавать ее по одному рублю золотом за экземпляр. Книга же эта уже напечатана другим издательством, благодаря чему Государственное Издательство и потерпело эти убытки.

Я не знаю, чем кончилась эта судебная история. Надо думать, что издатели оказались виновными, ибо советский суд защищает прежде всего интересы государства, и что Государственному Издательству удалось прибрать к своим рукам весь книжный магазин книгоиздательства «Техника». Вознаградить эти убытки деньгами книгоиздательство было бы, конечно, не в состоянии.

Так ведут борьбу за культуру и знания русские большевики.

1924

НА СВАЛОЧНЫХ МЕСТАХ

Около трех лет тому назад на окраинах больших городов можно было видеть такие кошмарные сцены, перед которыми бледнели даже потрясающие страницы андреевского «Царя-Голода». Эти кошмарные сцены можно было видеть на свалочных местах, манивших к себе, подобно золотым приискам, тысячи людей.

В те времена на свалочных местах с утра до ночи наблюдалось большое оживление. Голодные и бездомные люди с нетерпением ожидали грузовиков с мусором, а когда грузовики прибывали, они как хищные звери набрасывались на сброшенный мусор и начинали раскапывать его руками. Люди извлекали из него всё то, что напоминало пищу или одежду: заплесневелый хлеб, куски гнилого мяса, испорченные овощи, изношенную одежду и обувь, металлические вещи, бутылки и разные другие предметы. В результате этого, количество вывезенного из города мусора сильно уменьшалось: часть его попадала в желудки людей, а часть уносилась, как нечто ценное и необходимое.

Подобные сцены в свое время были сфотографированы и описаны многими американскими журналистами, но ни одному из них не удалось своими описаниями произвести на читателей такое впечатление, какое производили эти сцены. Они были настолько ужасны, что передать их сущность человеческим языком невозможно.

Теперь таких кошмарных явлений нет вероятно ни в одном городе. Теперь безработным не приходится разрывать кучи мусора, чтобы найти корку хлеба или кусок гнилого мяса, так как они получают помощь от властей. Я не знаю, в каких размерах оказывается помощь безработным,

но по словам некоторых русских безработных, им не приходится голодать.

Теперь почти такие же кошмарные сцены наблюдаются в области духовной. Если раньше свалочные места осаждались голодными рабочими, то теперь небольшая часть американской интеллигенции оказалась на тех свалочных местах, где выбрасывается всякий идеологический мусор, всякие отбросы человеческой мысли.

Американская интеллигенция сейчас переживает какой то тяжелый кризис, какую то болезнь. Она ищет выхода из создавшегося положения, ищет путей к лучшему будущему. Она подвергает переоценке все старые, сомнительные ценности и пытается создать что то новое.

В результате всех этих исканий в Америке в течение последних нескольких лет появилось несколько новых течений мысли (технократы, утопийцы и др.). Быть может, все эти новые течения мысли не будут иметь никакого значения в общественной жизни, быть может они окажутся мертворожденными младенцами, но это второстепенный вопрос. Здесь важно то, что люди чего то ищут, хотят создать что то лучшее.

Но среди этих людей находятся такие лица, которые живут только тем, что находят на свалочных местах. Они роются в кучах идеологического мусора, в кучах отбросов человеческой мысли и извлекают оттуда всякий хлам, будучи уверенными в том, что они извлекают какие то потерянные сокровища.

Я имею в виду в данном случае ту часть американской интеллигенции, которая в последние годы начала увлекаться немецким марксизмом и русским большевизмом. Как это ни странно, но в Америке имеются такие профессора, студенты, литераторы, художники и юристы, которые сами на свалочных местах питаются марксистско-большевистским мусором и хотят кормить им других. Правда, русская интеллигенция тоже однажды питалась этим мусором, но это было тогда, когда марксизм существовал только в теории. Марксистскую действительность предвидел только

Ф. Достоевский, но с ним никто не соглашался. Русская интеллигенция до того была одурманена марксистским опиумом, что от этого дурмана её отрезвила только большевистская революция так, как предсказывал Достоевский.

После русской революции марксизм оказался на свалочных местах во всех странах. От него с ужасом отвернулись все подлинно культурные и свободолюбивые люди. Но небольшая часть американской интеллигенции считает сгнившую марксистскую схоластику и кровавую большевистскую действительность, теми краеугольными камнями, на которых должна строиться общественная жизнь всего человечества.

Этих людей одновременно хочется жалеть и презирать. Их положение во много раз ужаснее, чем положение тех безработных, которые копались в мусорных кучах в поисках корки хлеба. Безработные делали это потому, что их заставлял голод, а эти люди добровольно питаются отбросами человеческой мысли.

1935

НЕВЕЖЕСТВО И КРИЗИС

В Чикаго открылась конференция домохозяек, на которой выступил с интересной речью бостонский экономист А. Броун. В своей речи Броун заявил, что нынешний промышленный кризис вызван финансовой катастрофой 1929 года, а финансовая катастрофа явилась результатом «финансовой неграмотности населения».

По заявлению А. Броуна, в Соед. Штатах имеется не больше 2 проц. людей, знающих финансовый (денежный) вопрос, а 98 проц. являются совершенно неграмотными в этом отношении, о чем свидетельствуют исследования американской ассоциации по распространению экономических знаний, в которой он работает уже несколько лет. Он также сообщил, что в Соед. Штатах есть только один город, Бруклайн (Массачузетс), где во всех школах, начиная с киндергартена, учащиеся изучают экономические науки и денежный вопрос; во всех же других городах эти предметы изучаются только в высших учебных заведениях, на экономических факультетах.

На первый взгляд, мысль А. Броуна может показаться парадоксальной, ибо ни один видный экономист не заявлял до сих пор, что между нынешним кризисом и финансовым невежеством подавляющего большинства людей существует какая нибудь связь.

Только марксистские «мудрецы» связывают умственное состояние людей с экономическими условиями. Но они считают, что не умственный уровень людей определяет экономические условия, а экономические условия определяют умственное состояние людей. Невежество, таким образом,

по их мнению, является не фактором, а результатом существующих экономических условий.

Но если броуновское выражение «финансовое невежество» заменить словами «общее невежество», то окажется, что Броун больше прав, чем «мудрецы» из марксистского лагеря. В таком случае, его мысль не будет абсурдной и парадоксальной.

А. Броун ошибается только в том, что считает невежество какой то активной силой, создающей те или иные социальные явления. Это неверно. Невежество не является активной силой, ибо оно никогда ничего не создавало и не может создать. Невежество — это отсутствие знания, или пустота. А пустота ничего не создает. Она может быть использована как разрушительными, так и творческими силами, как для плохих, так и для хороших целей.

Но так как количество невежественных людей страшно велико по сравнению с культурными и образованными людьми, то их невежество всегда представляло собою известную количественную силу, которую не могла сломить качественная сила культурных людей. Уже много столетий передовые люди всего мира пытаются переустроить общественную жизнь на лучших началах, но все их попытки разбиваются о скалы невежества, превратившиеся в крепости злых социальных сил. Прежде эти крепости были захвачены силами капиталистическими, а теперь некоторые из них захватываются еще худшими коммунистическо-фашистскими силами.

Но значение невежества, как главной опоры всех злых социальных сил, не изменилось: древнее рабство, феодализм, капитализм, коммунизм, фашизм, войны и разные другие социальные бедствия не могли бы не существовать, если бы не было невежества.

Поэтому приходится сказать, что не одна финансовая неграмотность, как думает Броун, а невежество вообще является одной из важейших причин всех социальных бедствий, в том числе и современного мирового экономического и политического хаоса.

Если бы подавляющее большинство людей знали, как нужно разрешить все социальные проблемы, то на земном шаре не было бы ни безработицы, ни нужды, ни войн, ни того политического бандитизма, который существует сейчас под именем коммунизма-фашизма.

Вся трагедия заключается, однако, не в том, что все эти явления существуют, а в том, что люди не хотят освобождаться от своего невежества, этой главной причины всех социальных бедствий.

1935

БЕСЕДА С КЕРЕНСКИМ

В 1917 году не было в революционной России более популярного имени, чем имя Александра Федоровича Керенского. Десять лет тому назад Керенский был не только лишь «верховным властелином», но он был также лучшим выразителем дум и стремлений русского народа.

Вспоминаются сейчас во всей яркости все те русские революционные события, вспоминается так же и премьер-министр Керенский, имя которого так тесно связано со всеми этими революционными событиями.

Керенского-министра пришлось увидеть мне впервые в Петрограде в 1917 году. И если бы кто-либо мне сказал тогда, что через 10 лет мне придется встретиться с Керенским-изгнанником на чужбине, я, вероятно, никогда не мог бы согласиться с этим предсказанием.

Но вот прошло 10 лет со дня Великой Русской Революции и я встречаюсь с Керенским-изгнанником. И в эти минуты я вижу перед собою уже не министра Керенского, а вижу только лишь изгнанника и человека.

И с этим-то изгнанником, а не с министром, значительно изменившимся и постаревшим за все эти кошмарные годы, имел на-днях я краткую беседу.

* * * *

Есть у меня много серьезных и наболевших вопросов. Хочется побеседовать об этих вопросах с Керенским и я направляюсь к нему в Дрейк отель. Секретарь Керенского предупреждает меня по телефону, что Александр Федорович очень занят, но что он сможет уделить этой беседе

10 минут. Я, разумеется, довольствуюсь и этими несколькими минутами и направляюсь к нему с этими вопросами.

Наша беседа длится очень долго. Эти 10 минут показались мне почему-то очень длинными. Когда окончилась наша дружеская, а не официальная, беседа, только тогда я, взглянув на часы, заметил, что эта беседа затянулась 35 минут.

Наша беседа начинается с «Рассвета». Александр Федорович очень доволен деятельностью русских рабочих организаций, которые своими силами создали этот ежедневный орган. Величайшее достоинство этого органа заключается в том, что он ведет непримиримую борьбу со всяким деспотизмом. Ведет борьбу эта газета и с монархическим, и с большевистским деспотизмом. Поэтому-то данная газета и является очень ценной для русской колонии. Есть, разумеется, и в этом органе свои неточности и недостатки, но эти недостатки относятся больше всего к его литературной стороне. Не нравятся, между прочим, Керенскому и многие статьи нашего многоуважаемого Ивана Кузьмича. Особенно не нравятся ему «критические» статьи Окунцова. Он не считает их достаточно серьезными. А многие из них, по мнению Керенского, «похожи на пасквильчики».

Я объясняю ему, что страницы нашей газеты открыты для всякой свободной мысли, и что за все статьи, печатающиеся на ее страницах, ответственны сами же авторы. Керенский удовлетворен подобным разъяснением. Я приступаю после этого к намеченным мною вопросам.

Прежде всего меня интересуют судьбы русского народа. Судьбы его — судьбы поистине ужасные. Над Россией, говорю я Александру Федоровичу, в течение многих столетий тяготеет какое-то страшное проклятие. Россия переживала некогда татарское нашествие, затем переживала царский деспотизм, со всеми ужасами крепостного права, а 10 лет тому назад над ней повисло новое проклятие, не уступающее по своему деспотизму даже средневе-

ковым полицейским государствам. Чем можно объяснить эту ужасную судьбу России?

— Этот вопрос, говорит Александр Федорович, является очень серьезным философским и социологическим вопросом. Некоторые русские историки, как, например, Ключевский, объясняют это явление тем, что в течение целых столетий Россия являлась каким-то барьером между Азией и Европой. России всегда приходилось удерживать натиски Азии на Европу. Положение Европы было всегда более выгодным и безопасным, нежели положение России. Поэтому, быть может, России и приходилось переживать так много катастроф. Я думаю, однако, что здесь имеются и причины другого свойства. Русский народ является каким-то женственным народом. В этом народе нет того действенного начала, которое так свойственно западно-европейским народам. В душе русского народа живет какое-то пассивное начало. Благодаря этой страшной пассивности, возможно было долгое существование царизма, благодаря этой же русской пассивности, стало возможным 10 лет тому назад появление такого же коммунистического деспотизма.

— Я думаю, говорю я Керенскому, что если бы в России было когда-либо рыцарство, этот народ не был бы, вероятно, таким пассивным и примиренческим и мог бы защищать себя с большим успехом от всякого насилия и деспотизма. Понятие чести и человеческого достоинства почти неведомы были в истории этого многомиллионного народа. Подлинные же рыцарские начала являются началами активными. Для подлинного рыцарства понятия свободы, чести и достоинства являются, пожалуй, высшими понятиями. Эти понятия являются чем-то почти священным для истинного рыцаря.

— Да, вы, пожалуй, правы, — говорит Керенский, — Рыцарство сыграло очень крупную роль в истории западно-европейских народов. Рыцарства же в России никогда не было. Но очень возможно также, что рыцарство и не могло бы развиться в России. Русскому народу ближе как-то сектантская пассивность, нежели рыцарская активность.

— Чем объясняется, по Вашему, гибель Февральской Революции, а также и падение Временного Правительства?

— Гибель Февральской Революции объясняется больше всего следующими обстоятельствами. Россия была до крайней степени истощена нуждой. В это время, как Вы помните, Россия переживала острый экономический кризис, хотя этот кризис являлся почти незначительным в сравнении с экономическим кризисом России во время гражданской войны. Русский народ был обессилен также и войной. Ему хотелось прекратить эту войну во что бы то ни стало. Этот народ готов был заключить сепаратный мир с немцами. Но Вы, ведь, хорошо знаете, что сепаратный мир был невозможен в то время. Я много раз тогда же заявлял, что всякая страна, если заключит сепаратный мир, окажется в числе стран побежденных, и этот сепаратный мир принесет ей значительно больше бедствий, нежели война. Жизнь подтвердила, как Вы видите, мои предположения. Во время войны Россия потеряла около 7 миллионов человек, а заключив сепаратный мир с немцами, потеряла в гражданской войне более 20 миллионов. После этого «мира» она подверглась полному экономическому и политическому бойкоту. Мы не могли ни в коем случае заключить такой сепаратный мир.

— Большевики, эти хорошие демагоги, начали кричать в то время о необходимости заключения сепаратного мира. Обещали «мир хижинам и войну дворцам». Солдатам, разумеется, уставшим от войны, все эти лозунги казались справедливыми. Эта демагогическая большевистская пропаганда распространялась тогда очень быстро в армии. В лице большевиков эти солдаты видели каких-то освободителей, в лице же Временного правительства эти солдаты видели врагов. Думаю, что этим положением вещей и объясняется больше всего сочувствие солдат большевикам. Такое же отношение к Временному правительству наблюдалось также среди многих рабочих и крестьян, которым большевики обещали передать фабрики и земли. Не было также и в недрах самого правительства необходимого

единства в действиях и воле. Этим и объясняется больше всего падение Временного правительства.

— Я думаю, — говорю я Керенскому, — что если бы Временное правительство передало всю землю крестьянам, оно произвело бы самую крупнейшую социальную реформу в России и было бы поддерживаемо, вероятно, многомиллионным русским крестьянством.

— Декрет о передаче земли крестьянам был приготовлен к Учредительному Собранию еще в марте месяце 1917 года. Временное правительство не могло, разумеется, сразу же осуществить эту великую реформу. Нам нужно было тогда думать больше всего о защите фронта, нежели о других вопросах. Большевики же, захватив власть, взяли в архивах партии Социалистов-Революционеров проект земельного закона и передали на бумаге всю землю крестьянам. Фактически же, большевики не произвели никакой аграрной реформы. 20 миллионов русских крестьян живет сейчас впроголодь. Несмотря на то, что в центральной России имеется очень много помещичьих земель, эти крестьяне, как и прежде, вынуждены переселяться в Сибирь. Вы и сами знаете, что мелкие имения передаются сейчас бывшим помещикам. Лучшие крупные имения принадлежат государству. Бедные русские крестьяне вынуждены сейчас работать в этих государственных имениям в качестве наемных рабочих. Положение этих рабочих ничем не отличается от положения прежних батраков.

— Не совершило ли Временное правительство страшной роковой ошибки, — спрашиваю Керенского, — восстановив 12 июля 1917 года смертную казнь на фронте?

— Я являюсь, — отвечает Александр Федорович, — самым непримиримым противником смертной казни. Тогда же обстоятельства на фронте были таковы, что Временное правительство не находило никаких иных мер, которые могли бы предупредить массовое дезертирство и удержать натиск немецких армий. В этом была какая-то неумолимая неизбежность. Другого выхода не было. Смертная казнь была нами принята в качестве меньшего зла. Но как нич-

тожны были все эти казни на фронте в сравнении с большевистским террором, когда людей казнили целыми сотнями и тысячами.

— Нельзя ли было предупредить гибель февральской революции, если бы Временное правительство отправило обратно в Германию «пломбированные вагоны» вместе с приехавшими в них большевиками?

— В пломбированных вагонах приехали из Германии только Ленин и Зиновьев. Временное правительство не могло их изгнать из страны потому, что все эти большевики, приехавшие также из других стран, считались изгнанниками и революционерами. Этим поступком Временное правительство могло бы восстановить против себя всё русское общественное мнение. В России были, ведь, осуществлены тогда все политические свободы: это же правительство перевозило тогда в Россию на свой счет всех политических эмигрантов. Если же эти пломбированные вагоны и были бы возвращены Германии, то эти же большевики могли бы приехать в Россию и другим путем. Конечно, если бы Временное правительство повело решительную борьбу с коммунистической пропагандой, ему быть может, удалось бы предотвратить октябрьский переворот. Но Временное правительство слишком уважало общественное мнение, слишком ценило личную и общественную свободу, а поэтому оно и не принимало никаких мер против большевиков. В этой то «мягкотелости» и обвиняют сейчас многие Временное правительство. Но мы не могли поступить иначе.

— Возможно ли в ближайшем будущем падение большевиков в России?

— Трудно, конечно, быть пророком, но всё же можно делать некоторые предположения о надвигающихся в России событиях. Политическое и экономическое положение России с каждым днем всё больше обостряется. Поняли сейчас ложь большевиков все обманутые ими рабочие и крестьяне. Недовольство большевистским режимом растет в России с каждым днем. Я думаю, что в сравнительно недалеком будущем это недовольство выльется в открытые

формы и большевистский гнет будет свергнут теми же русскими рабочими и крестьянами, которые по своей наивности, поверили демагогическим большевистским обещаниям.

— Какую форму общественной жизни считаете возможной в России после падения большевиков?

— Россия будет, по моему глубокому убеждению, той же свободной и демократической Россией, какой была она после февральской революции. Она пережила деспотизм и справа и слева. Только сейчас, после этого тяжелого и кошмарного опыта, она научилась ценить личную и общественную свободу. К этой свободе Россия вернется рано или поздно и никогда уже не отдаст ее на поругание ни монархистам, ни большевикам.

— Могут ли когда-нибудь осуществиться в России идеи Толстого и Кропоткина?

— Я думаю, что идеи Толстого и Кропоткина являются очень большим моральным коррективом к нашей общественной жизни, но я не думаю, чтобы эти идеи могли когда-либо осуществиться во всей их полноте. Это возможно было бы только при самой совершенной нравственности человечества. Сейчас же ни один народ не в состоянии жить без того руководящего центра, который мы называем правительством. Правительства, конечно, как вы знаете, имеются разные. Имеются правительства деспотические, но могут быть также и подлинно народные правительства. Думаю, что не случайно анархисты ведут сейчас такую непримиримую борьбу с большевизмом. Вы, вероятно, хорошо помните то время, когда русские анархисты пользовались неограниченными свободами. Они свободно проповедывали свое учение, свободно издавали также свои бесчисленные газеты и журналы. Этой свободой они и пользовались только лишь при Временном правительстве. Теперь, вероятно, и они поняли, что Временное правительство не было уж таким страшным даже и для них. Это правительство не только не преследовало их, но даже как бы содействовало их работе, предоставив им самую широкую свободу деятельности.

Здесь у нас начинается очень оживленная дискуссия об анархизме и государстве. В дискуссию вмешивается и секретарь Керенского. Я чувствую, разумеется, что нам так скоро не удастся убедить друг друга в необходимости анархии или же государства, и что пришел я к Александру Федоровичу не для академического спора, а для беседы по другим вопроса. Я замечаю также, что отнял очень много времени у Александра Федоровича и задаю, поэтому, ему свои последние злободневные вопросы.

— Признает ли американское правительство большевиков?

— Нет. Американское правительство не признает их до тех пор, пока они не согласятся с требованиями бывшего государственного секретаря Юза. Большевики же, как вам известно, никогда не могут принять таких условий.

— Что могут сделать здесь русские колонисты для блага будущей России

— Они должны, прежде всего, воспитывать себя политически. Могут они оказывать большую помощь политическим ссыльным и заключенным, которых насчитывается в советской России больше 50 тысяч. Они должны стремиться здесь к единству и пониманию друг друга. Должны бороться так же всеми силами с местными большевистскими агентами. Чешские колонии в Америке сыграли некогда очень большую роль в борьбе за свободу Чехии. Могут сыграть большую роль и русские колонисты в деле освобождения России от большевизма.

На этом и кончается моя беседа с Керенским. Хотелось побеседовать с ним больше, но я и так уже отнял у него около 40 минут. Я собираюсь уходить. Керенский дружески пожимает мне руки. А я высказываю свое пожелание, чтобы моя следующая встреча с ним произошла не в изгнании, а в той же русской революционной столице, где я и увидел его впервые в 1917 году. Керенский мило улыбается и отвечает мне: «Будем надеяться»...

1927

ПРИЧИНЫ НАШЕЙ ОТСТАЛОСТИ

Анализируя деятельность русской колонии в Америке, невольно приходится сказать, что её общественная работа проявляется чрезвычайно слабо. Причина этой слабости заключается в том, что колония попрежнему остается не организованной. Правда, небольшая часть колонии примкнула к обществам взаимопомощи, но сравнительно с общим количеством русских, находящихся в С. Ш. и Канаде, это небольшое количество. Другую часть русской колонии объединяют церковные братства, но опять таки не очень в большом количестве. Имеются в некоторых городах русские организации, ведущие свою общественную работу самостоятельно, но они очень слабы.

Одним словом, если посмотреть на общественную работу беспристрастно, то приходится сделать вывод, что русская колония находится в состоянии спячки.

Трудно сказать, что толкнуло русских людей в Америке к полному безразличию. Многие говорят, что безработица наложила свою печать на людей и убила всякие стремления к активной работе. Другие объясняют бездействие провалом русской революции, на которую она возлагала все свои надежды, но им несуждено было сбыться. Третьи заявляют, что главной причиной застоя является невежество, от которого она никак не может освободиться.

Несмненно, что безработица отразилась на настроении людей и поставила их в затруднительные условия. Но ведь от безработицы страдают все люди, а не только русские. Также не следует думать, что всё и на всегда потеряно в жизни. Без веры в жизнь не может быть радости. Что касается провала русской революции, то от этого больше всего страдает русский народ. Русская колония в Америке,

можно сказать, страдает лишь духовно, но не физически. Помочь русскому народу можно только активным действием, пропагандой против большевиков, а не тоской и нытьем. Люди убежденные и сознательные отдают свои силы и энергию на борьбу со злом и неотчаиваются подобно русским американцам, замкнувшимся в самих себя от всего мира.

По поводу невежества, господствующего в русской колонии, приходится говорить с болью в сердце. Дело в том, что старая колония прожила в Америке не меньше 20 лет. В течение двадцати лет были возможности выйти на путь просвещения, научиться очень многому. Но несмотря на это, старая колония какой приехала в Америку, такой она осталась и по сей день. Лишь отдельные личности стремились кое чему научиться, а подавляющее большинство не придавало никакого значения знанию.

Невежество надо считать главной причиной нашей неорганизованности. Если бы русская колония была более культурной и просвещенной, то её общественная жизнь была бы иной, чем теперь. Стоит только посмотреть, как колония относится к школьному делу, печати, книгам, русским концертам и лекциям и сразу станет ясно, что она меньше всего интересуется просвещением. Если она будет так продолжать свою личную и общественную жизнь, то, конечно, она всегда будет находиться на мертвой точке.

Хуже всего то, что большинство наших колонистов думает, что они всё знают. Это очень болезненное явление: люди не учились в школах, не читали книг, а считают себя всезнайками. Дело дошло до того, что никого нельзя критиковать, а нужно только хвалить всякую бездарность.

Вследствие всего этого, необходимо в печати и устно подвергать здоровой критике всякие плохие действия нашей колонии. Это даст возможность ей выйти на более правильный путь. Довольно хвалить самих себя. Нужно открыто и честно смотреть правде в глаза. Тогда мы познаем самих себя и все свои недостатки. А когда мы это сделаем, то станем более культурными и активными людьми.

1935

БУДУЩЕЕ РОССИИ

Русская эмиграция, разбросанная по всему миру, представляет собою чрезвычайно пеструю картину, если рассматривать её с политической точки зрения. В её рядах имеются монархисты, республиканцы, социалисты, анархисты, фашисты, младороссы, национал-большевики и другие группировки.

Все эти группировки, если не считать незначительного количества про-советчиков, являются антибольшевистскими. Они великолепно понимают друг друга, когда говорят о современной русской действительности. Каждая из них считает, что борьба за освобождение России от варварского большевистского ига — это священный долг каждого русского человека, независимо от его политических взглядов.

Когда же перед ним появляется вопрос, что ожидает Россию после большевизма, то они начинают говорить на разных языках и перестают понимать друг друга. Каждая группировка представляет будущее России по своему. Даже больше этого: каждая из них имеет подробную программу будущего устройства России. Одни из них, тем не менее, намерены считаться с волей русского народа, а другие готовы подчинить народ своей воле.

Но все эти программы — не что иное, как мыльные пузыри, которые лопнут в тот момент, когда эмиграция соприкоснется с Россией после падения большевистского режима. Если русский народ снова начнет проливать свою кровь, то вовсе не для того, чтобы проложить путь к власти какой нибудь эмигрантской группировке или заменить Сталина каким нибудь эмигрантским диктатором. Русский народ будет проливать кровь не для того, чтобы заменить

одно зло другим, а чтобы на развалинах большевизма создать лучший общественный строй.

Большой интерес представляют с этой точки зрения письма одного красного командира, печатающиеся в журнале «Часовой». Его последнее письмо написано 1 февраля текущего года, а поэтому оно отражает нынешние настроения в России.

Красный командир пишет, что схватка русского народа «с подлецами из Кремля неизбежна». Он, однако, предупреждает эмиграцию, что новая революция в России будет просходить только под знаменем «свободы и народоправства», а не под флагом восстановления старого режима или установления фашистской диктатуры. Поэтому он советует «белым» офицерам окончательно порвать с погубившим себя прошлым. «Революция, — говорит он, — не была бунтом. Это было естественное возмущение нации против бездарного правящего класса и бездарно ведомой войныбойни. Мы боремся с большевиками потому, что они извратили эту революцию, предали интересы России, оскорбили веру народную, запакостили его душу. Мы торжественно заявляем, что будем строить Россию не на возврате её к старому дореволюционному прошлому, а поможем её строить новой, взяв хорошие стороны старого, но признавая дух времени».

Обращаясь ко всей русской эмиграции, создающей подробные программы будущего устройства России, красный командир говорит:

«Бесконечно больно смотреть, что люди живут несбыточными надеждами и строят все свои расчеты на прекрасных, но совершенно непригодных для нынешней России идеалах и мечтаниях».

В настоящее время в России, по его сообщению, новая революция понимается приблизительно так:

Промышленность должна оставаться в государственном управлении, а частная собственность крестьян должна быть восстановлена по приговорам «свободных общин».

Должна быть восстановлена свободная торговля и закреплен 8-часовой рабочий день.

Что касается вопросов политических, то государственный порядок должен быть установлен свободным народным волеизъявлением. От всей советской системы должны остаться только свободные выборные советы, возглавляющие свободные общины. Народам России должна быть предоставлена самая широкая автономия, чтобы страна представляла собою «свободную народную федеративную державу».

Вот каким путем, по мнению красного командира, пойдет новая русская революция.

Нравится этот путь эмиграции или нет, но новая революция будет осуществлять какую то новую социальную программу, а вовсе не мертвые программы эмигрантских группировок.

Поэтому русская анти-большевистская эмиграция поступила бы очень благоразумно, если бы она перестала заниматься спорами и разработкой планов будущего устройства России, а больше и внимательнее прислушивалась к голосу русского народа и пришла ему на помощь в нужный момент.

Часть третья

БИБЛИОГРАФИЯ, КРИТИКА И ПИСЬМА

БИБЛИОГРАФИЯ

«ДОЧЬ КУЗНЕЦА»

С. С. МИХАЙЛОВ. «Дочь кузнеца». (Поэма). Том I. Нью-Иорк, 1922. Стр. 189. Цена 60 ц.

Имя автора, насколько мне известно, встречается впервые в русской заграничной литературе. В этой поэме, вернее, *повести в стихах,* автор изображает жизнь нашего русского человека, полную горя, страдания, зла, нищеты и невежества. Название книги не совсем соответствует ее содержанию, так как «дочь кузнеца» играет в ней второстепенную роль, хотя автор и называет ее «героинею жизни». Ей слишком мало уделено внимания на страницах этой печальной и правдивой повести. Впрочем, и нельзя было бы написать о ней больше, ибо героиня повести не принадлежит к числу истинно-героических женщин, встречающихся иногда в истории. Она — просто русская девушка, искренно *верующая* в возможность обновления социальной жизни; она — благородная, идеалистическая душа, напоминающая собой нигилисток 60-70 годов, которые так же, как и она, не совершив еще ни одного подвига в жизни, попадали в Сибирь и оставались беззаветно преданными своим великим и благородным мечтаниям. У нее нет еще органически целого миросозерцания, достаточно обоснованного социологически и философски. В ней проявляется только *воля к свободе,* которая, как и всякое другое интуитивно-эмоциональное, а не сознательное переживание легко может уклониться и в противоположную сторону. Das Ewig Weibliche ей также свойственно, как и всякой другой женщине, беззаветно и искренно любящей человека, посвятившего всю свою жизнь служению идеалу и увлекающего ее на тот суровый и тяжелый путь, на котором лежат только тернии.

Но, быть может, das Ewig Weibliches и является вечной прелюдией к Menschliches Alzumänschliches.

Более сильным героем этой повести является русский батрак, Петр Добров. Родился он в одной из приволжских деревушек, где вечными спутниками человеческой жизни были насилие, рабство и произвол. Его чуткая и отзывчивая душа не могла примириться с этой ужасной действительностью и начинала возмущаться против существующего порядка вещей, традиционной морали, полной напрасных надежд и бессмысленных ожиданий. В нём не живет уже то пассивное начало, которое так свойственно людям вообще, но в нём пробуждается нечто активное, пробуждается воля к борьбе за лучшее будущее: он становится уже своеобразным культуртрегером русской деревни. Но трудно жить этому человеку среди окружающего невежества, являющегося едва ли не величайшим злом. Трудно преодолеть это великое зло и служить «Богу истины». И он уезжает в город, уезжает в столицу и начинает «работать, — как говорит Г. д'Аннунцио, — над самим собой». Он вкушает запрещенный плод с дерева социальной правды, и начинает убеждать других в необходимости переустройства жизни на началах справедливости, равенства, правды и добра. Как и всякий революционер *из народа,* он не только проповедует революцию (как проповедуют и боятся ее многие аристократы), но он принимает в ней и самое деятельное участие. Результатом всей его деятельности является, конечно, Сибирь, куда была выслана также и Мария, «дочь кузнеца». И только после долгих мучений ему удается, наконец, уехать за океан, в чужую и неведомую страну. Через некоторое время приезжает к нему и Мария. Начинается новая жизнь в этой далекой стране, откуда им улыбалась когда то Свобода. Но и эта свобода не являлась их идеалом: здесь было только меньше зла, меньше несправедливости. Американская демократия не была их идеалом, ибо они, как и всякий другой анархист, презирали в одинаковой степени как политическое, так и моральное и экономическое рабство. И если они остались революционерами даже и в этой стране, ока-

завшейся для них убежищем и приютом, то нельзя, конечно, видеть в этих поступках их человеческой неблагодарности, ибо начала долга и идеи вечно господствуют над всеми началами человеческими. Не даром в словах Марии чувствуется такая глубокая анархическая космополитичность, когда она заявляет:

> Что отечества она
> На земле средь стран не знает,
> Хоть в России рождена»...

Поэтому, быть может, и самый благородный человек, самый великий мечтатель-идеалист может оказаться «плохим гражданином». «He is a bad citizen who rebels against his country».

Когда, после войны, вспыхнула, наконец, революция, сбросившая с русского многострадального народа все ужасы его политической и экономической жизни, герой повести, Петр Дубров, является уже перед нами не в качестве бунтаря, протестанта и мечтателя, но является уже *творческой личностью,* созидателем. В его творчестве чувствуется, конечно, дух некоторой некультурности, когда он ненавидит и презирает «тунеядца», «паразита» и «буржуа», ибо победитель не может ненавидеть и презирать побежденного. Даже больше того: истинный апологет свободы является непримиримым противником всякого господства. Если бывший плебей превращает вчерашнего патриция в своего собственного или общественного раба, то этот плебей становится более ужасным и ненавистным, чем какой бы то ни было деспот. Эпизоды этого господства встречаются в истории очень часто. Не о господстве пролетариата или аристократии может рассуждать анархист, но о господстве всеобщей *справедливости*. Он далек, конечно, от тех «политических деятелей», которые видят начала всеобщего блага в господстве разнузданной черни. В одинаковой степени чужды ему и политические филистеры и диллетанты. В хаосе грабежа и разрушения чувствуется, разумеется, полнейшая аморализация русской души, но и в этом хаосе он

видит лучезарные отблески грядущего дня, несущего исстрадавшемуся народу праздник освобождения. Герой повести был полон светлых надежд и радостных предчувствий, когда говорил:

«О, с какой надеждой билось
Сердце русское в груди!
Сколько радостью светилось
Дней прекрасных впереди!
О, как счастьем был усеян
Для Руси свободный час!
Как был нами возлелеян
Долгожданный день для нас!»

Но — увы! Это были одни лишь грезы и сновидения. Появился новый тиран более грубый и жестокий, сумевший превратить эту очаровательную и мимолетную действительность в какой то зловещий кошмар. Герой, оставшийся верным своему идеалу, хочет спасти свое знамя, бросаясь в битву с этим кровавым врагом. Но в этой борьбе прозвучал уже последний аккорд его жизни: он падает в бою, навек «сомкнулись вежды».

С точки зрения «литературной техники» книга содержит в себе много погрешностей. Слишком много в ней «постороннего» лирического материала, почти не соответствующего общему политическому содержанию книги, благодаря чему повесть и теряет свою сжатость и красочность. Литературная ценность её значительно увеличилась бы, если бы повесть была изложена на 70-80 страницах. При чтении книги, глубоко чувствуется поэтическое призвание автора. Резким диссонансом звучат очень часто самые разнообразные архаизмы. Совсем не простительны, конечно, в этой популярной повести и такие выражения, как альтруизм, эгоизм, эмпиризм, галлицизм, ригоризм и т. д., не говоря уже о таких выражениях, как «ингредиент» и «спич»: первое относится к *медицинской* терминологии, а второе — просто английское слово, не вошедшее даже и в разговорный русский язык. Чувствуется также не достаточное знание русского языка, выражающееся в частности и в не-

правильной постановке ударений во многих словах. Но это, быть может, объясняется долгим пребыванием автора заграницей, где в значительной степени ухудшается родной язык. Не мешало бы автору, прежде чем выпускать в свет свои произведения, давать их для просмотра какому нибудь старому литератору. Встречается много и корректурных погрешностей. Книга написана, повидимому, анархистом. Можно, безусловно, рекомендовать её русским рабочим, находящимся «по ту сторону океана».

1922

МАХНОВЦЫ

П. АРШИНОВ. *«История махновского движения» (1918-1921 гг.)*, с портретом Н. Махно и наглядной картой района и движения. Издание «Группы Русских Анархистов в Германии». Берлин, 1923.

Книга П. Аршинова не является, как говорит об этом и сам автор, полной историей махновского движения. В ней имеется много пробелов, много не освещенных сторон, главным образом отрицательных, этой махновской действительности, благодаря чему книга и кажется несколько тенденциозной. Впрочем, это объясняется, быть может, тем, что книга написана не беспристрастным и объективным историком, а очень ярким сторонником и непосредственным участником этого движения. Тем не менее, это повстанческое движение освещено в этой книге несравненно правдивее, нежели в большевистских и других контр-революционных источниках. Книга Аршинова посвящена главным образом военной стороне махновщины. Этому вопросу была посвящена в одном из номеров «Волны» статья В. Худолея и мы не станем поэтому останавливаться на этой стороне движения. Нас интересует другая сторона движения сторона общественно-идеологическая.

Общественного строительства, насколько нам это известно из книги Аршинова, в махновском движении не было почти никакого. Попытка создания свободной школы является в этом отношении, пожалуй, единственным эпизодом. Никаких других фактов Аршинов нам не приводит. Правда, во время этого движения было устроено несколько съездов, но съезды ведь и остаются только съездами: ареной споров, словесных состязаний и некоторых соглашений.

Мы знаем, разумеется, что в тех своеобразных условиях, в которых находилось махновское движение, и невозможна была всякая общественно-созидательная работа. И мы не станем поэтому указывать на эти недостатки движения. Насколько же нам известны планы этого строительства, то мы можем иметь о них некоторые суждения, можем подвергнуть некоторой критике эту сторону движения.

Общественным идеалом этого движения, а также и его руководителей, является создание вольных рабоче-крестьянских советов. Эти советы являются органами общественного самоуправления. Трудно, конечно, сказать, в чем выражалась бы деятельность этих советов. Если бы эти вольные советы, не обладали правом законодательства и принуждения, тогда они являлись бы совершенно ненужными учреждениями: они являлись бы организацией мелких и безответственных чиновников, не имеющих, в сущности, никакого общественного значения; они являлись бы особой армией бюрократов, живущих в качестве паразитов на всяком общественном теле. Ведь если функции этих советов были бы только исполнительными, тогда не нужны были бы для этого никакие советы, никакие выборные системы: всякая исполнительная работа могла бы быть поручена каким либо 3-4 человекам, которые могли бы справиться великолепно с возложенными на них задачами и обязанностями.

Если же эти советы, наряду со своими центральными органами, являлись бы советами законодательными, обладающими, следовательно, и принудительной властью, тогда эта общественная жизнь являлась бы особой формой государства. И этот общественный строй не имел бы в этом случае ничего общего с анархизмом. Это рабочее и крестьянское государство явилось бы идеалом более честных, нежели большевики марксистов, а не анархистов.

«В лице махновщины, — говорит Аршинов, — мы имеем массовое анархическое движение трудящихся — не вполне законченное, не вполне кристаллизованное, но устремленное к анархическому идеалу и пошедшее по анархиче-

скому пути». Аршинов упрекает русских анархистов в том, что они «проспали это движение», что они не приняли в нем никакого участия. «Этим, — говорит автор, — они доставили огромный ущерб и движению и себе». Но нам думается, что движение от этого ничего не проиграло. Быть может, даже выиграло. Никто ведь из русских анархистов, за исключением махновских анархистов, не стал бы создавать «вольных советов». Наоборот, они вели бы пропаганду *против* этих советов. Благодаря этому в махновском движении была бы большая дезорганизованность, а может быть, и разочарование в анархизме. И благо этому движению, что во главе его стояли только единомышленники. Русские анархисты не имели ведь тех качеств, которые необходимы махновцам. «Анархизм,—говорит Аршинов,— должен обрести единство воли и единство действий, точное представление своих исторических задач». Говоря проще анархисты должны создать свою особую политическую партию, со строгой централизацией и дисциплиной, как это наблюдается и в других политических партиях. Вот этих то необходимых махновцам качеств и не было у русских анархистов.

Но мы ведь знаем, что если бы анархисты создали свою политическую партию и осуществили бы в военном порядке анархическое общество, то ценность этого анархизма сводилась бы просто к нулю. Анархизм не может опираться на штыки; он может быть только продуктом духовной культуры человечества. Мы не хотим этим сказать, конечно, что не нужны никакие восстания и революции. Они имеют, разумеется, очень большое значение. Они являются необходимым активным протестом против всевозможной реакции. И мы оправдываем эти восстания, как оправдываем и махновское движение. Нельзя только, по нашему мнению, преувеличивать значения этих восстаний, нельзя также думать о том, что тем или иным инсургентским путем можно перестроить всю человеческую культуру. Подобная точка зрения была бы великим самообманом и заблуждением.

«Русских анархистов, — говорит Аршинов, — десятки лет треплет желтая малярия — дезорганизованность». Но нам думается, что это утверждение ни на чём не обоснованно. Если Аршинов считает дезорганизованностью нашу свободу мысли и свободу действий, в чём и выражается истинная красота анархического идеала, то с этой точки зрения махновские анархисты, проповедуя некоторые новые учения, вносят еще большую дезорганизованность в наши ряды. Но это нас нисколько не пугает. Мы — не политическая партия, члены которой обязаны говорить только то, что разрешает им Центральный Комитет. Пусть создаются новые учения. И если эти учения будут несостоятельными они очень скоро умрут своей естественной смертью. Когда же Аршинов говорит нам, что «стороной бессилия и бездействия анархистов является спутанность идей анархизма», нам думается, что это утверждение, если только думает так Аршинов, взято им просто с потолка. Если же Аршинову говорил об этом кто то другой, то он не заметил, очевидно, того, что в этом выражении была лишь некоторая шутка. Разнообразие идей и учений не есть еще хаос и спутанность. Если стать на точку зрения Аршинова, тогда надо сказать, что анархистов как таковых, нет, ибо никто не знает, что такое анархизм; не знает, с этой точки зрения, анархизма и Аршинов, не знает его и всё махновское движение. Можно ли после этого упрекать русских анархистов в том, что они не приняли участия в махновском движении, не приняли никакого участия в строительстве общественной жизни?

Теперь нам хочется остановиться еще и на моральной стороне движения. Правда, нам могут возразить махновцы, что во время войны некогда разговаривать о нравственности. И в этом утверждении есть некоторая доля правды, поскольку это относится к войне вообще. Что же касается махновского движения, которое Аршинов называет движением анархическим, то мы имеем полнейшее право предъявлять всякому анархическому движению некоторые моральные требования.

Следует указать прежде всего, что, прочитывая книгу

Аршинова, на нас производит несколько неприятное впечатление некоторая начальническая структура этого движения. От нее веет дыханием самых разнообразных приказов, распоряжений и подчинения. Чувствуется какая то диктатура, которая никоим образом не может проявляться в анархическом движении. Наряду с этим господствует какая то бессмысленная и ничем неоправдываемая жестокость, свойственная только большевикам и некоторым дикарям. «Помещики, — говорит Аршинов, — кулаки, урядники, священники, старшины, припрятавшиеся офицеры — все падали жертвами на пути движения махновцев». Автор книги говорит об этом совсем равнодушно, не придает этому никакого значения. Привык, должно быть, к этим явлениям. Даже больше того: автор сочувствует как будто этим явлениям. Но с нашей точки зрения в этих явлениях нет ни анархизма, ни подвига, ни справедливости. Убить безоружного священника не так уж трудно. Всякое убийство безоружных людей, а иногда и невинных, не имеет ничего общего с анархизмом. И всякое убийство безоружных людей может вызвать не сочувствие, а только отвращение. Расстрел посланца Врангеля, расстрел покаявшегося чекиста, спасшего жизнь Махно, — всё это говорит о том до какой степени махновцы пренебрегали всяким моральным отношением к людям. Расстрел повстанца за антисемитский плакат, расстрел 7 крестьян за устроенный ими погром, еще раз указывают нам на то, что махновцы были способны учить и убеждать людей... пулями. Но разве расстрелами можно доказать что либо? Разве постройкой тюрьмы можно уничтожить преступность? Ведь это делают и большевики.

Мы не сочувствуем атаману Григорьеву, мы не сочувствуем его движению, но казнь этого атамана является чем то возмутительным. Аршинов глубоко возмущается теми предательско-изменническими нападениями большевиков на махновцев и не замечает, повидимому, того, что и махновцы поступили с Григорьевым так же. «Чтобы найти к нему свободный доступ, Махно вступил с ним и его отрядами в связь, якобы для объединения всех партизанских сил». Для этой

цели был созван съезд повстанцев, на который приглашен был и Григорьев. На этом же съезде он был и расстрелян махновцами. Этот поступок не достоин революционера. Нельзя в таком случае возмущаться подобными поступками большевиков.

В махновском движении была еще одна коренная ошибка: это какая то наивная вера в возможность соглашения с большевиками. Махновские анархисты упрекают иногда анархистов Великороссии в некотором сотрудничестве с большевиками, но они не замечают, повидимому, того, что они занимали эту позицию даже тогда, когда все анархисты Великороссии отказались от этого сотрудничества. Нам могут возразить, что махновцы признавали только военное сотрудничество; но это возражение опровергается их договором с большевиками от 10-15 октября 1920 года. Никто из русских анархистов не работал в это время с большевиками. В этом договоре признается следующее:

«Свободное участие в выборах советов, право махновцев и анархистов вхождения в таковые и свободное участие в подготовке созыва очередного 5-го Всеукраинского съезда советов, имеющего быть в декабре сего года».

Нам не понятно после этого, на каком основании махновские анархисты упрекают некоторых московских товарищей в сотрудничестве с большевиками? Никто ведь из «советских анархистов» не доходил еще до такого соглашения. Это соглашение является ведь разделением власти и управления страной. Нам могут возразить, что этого в действительности не было, но это ведь не отговорка. Для нас важен принцип.

Анархисты Великороссии поняли свои ошибки во-время, махновцы же поняли их очень поздно. Поняли они это, очевидно, тогда, когда большевики разгромили это движение. Эта коренная ошибка движения и кроется, по нашему мнению, в том, что махновцы, с самого начала своего движения, не направили своего удара в сторону большевиков, оставив в покое всех бессильных священников и кулаков. Правда, не задолго до своего трагического конца, махновцы это по-

няли и начали сметать с лица земли всех без исключения большевиков, этих убийц и бандитов, но было уже поздно. Приходится только сожалеть о том, что махновцы не поняли этого раньше; поэтому, быть может, это движение и погибло.

Много есть отрицательного в этом движении, но много есть и положительного. Мы можем оценивать его разно; мы можем не соглашаться и с многими положениями Аршинова. Что же касается самой истории движения, то работа Аршинова, посвященная главным образом этой стороне вопроса является самой серьезной и интересной работой, мимо которой не может пройти ни один человек, интересующийся этим движением.

1924

КРЕСТЬЯНСКИЕ РЕЧИ

ЭНРИКО МАЛАТЕСТА. Крестьянские речи. Издание *Рабочего Вспомогательного Общества.* Балтимор, Мд. 1924. Стр. 47. Цена 15 цент.

Судьба книг кажется нам иногда такою же странною, как и судьба людей. Многие книги рождаются только для того, чтобы жить несколько мгновений и отойти безвозвратно «в царство великого безмолвия», в царство жестокой и неумолимой смерти. На долю же других книг выпадает счастье иное: они не подвержены болезни и старости, они живут по ту сторону времени и пространства, они не знают смерти.

К числу этих книг относятся и труды Э. Малатесты, имя которого пользуется среди анархистов такою же популярностью, как и имена Бакунина и Кропоткина. У Малатесты нет ни одной книги, которую можно было бы назвать скучной, неинтересной и утомительной. Наоборот, всякая строка, написанная Малатестой, является жемчужной нитью самых глубоких мыслей, самых живых и выразительных слов.

Величайшая ценность книг Малатесты заключается в том, что на их страницах излагаются в самой популярной форме не только самые злободневные житейские вопросы, но и вопросы самые сложные, которые встают перед нами при всякой теоретической попытке разрешения тех или иных социальных проблем.

«Крестьянские Речи» заслуживают самого широкого распространения не только среди крестьян и рабочих, но и среди тех лиц, которые привыкли читать книги более уче-

ные и серьезные. Эта книжка является не только критикой современного общества, но является вместе с тем и обстоятельным изложением анархического учения. Очень ценной она является еще и в том отношении, что в ней мы находим ответы на самые разнообразные «сложные» и «сомнительные» вопросы, с которыми приходится очень часто сталкиваться анархистам. К числу этих вопросов относятся следующие: тяжелый труд, умственный труд, грязная работа, желание жить не работая и т. д.

Книжка написана в форме диалога; благодаря этому она читается с большим интересом. Прочитывая первые её страницы, не хочется закрывать эту книжку, не прочитав её до конца.

Эта книжка снабжена предисловием А. Борового и очень интересной статьей П. Кропоткина «Все социалисты».

САККО И ВАНЦЕТТИ

THE STORY OF A PROLETARIAN LIFE. By Bartolomeo Vanzetti. Boston. Mass. 1923.

Эта брошюра, как говорит о ней в предисловии А. С. Блэквел, является «замечательным человеческим документом». Страницы этой маленькой книжки являются, какими то мрачными и безотрадными картинами человеческой жизни. Перед нами проходит детство автора, проходят школьные годы, не имеющие в себе еще ничего трагического. Затем наступает период самостоятельной жизни юноши-итальянца, полной всевозможных бедствий и скитаний. Он работает по 12-14 часов в сутки в хлебопекарнях и конфетных фабриках, но эта работа обеспечивает ему только полуголодное существование. И так проходят годы.

После смерти матери он уезжает в Америку. Но что же он встречает в этой Обетованной Стране? Здесь он встречает только холодное равнодушие и безразличие. Благодаря некоторым связям ему удается поступить здесь в ресторан; он моет там посуду. Через некоторое время его расчитывают и он оказывается в числе безработных. Проходит время: он поступает в другой ресторан, но и там ему скоро отказывают в работе.

После этого начинается скитальческая жизнь по Америке. Он хочет работать: стучится в двери фермеров, но никому не нужен этот несчастный итальянец. «Nothing doing... Nothing doing»... И только об одной американской семье у него сохранились лучшие воспоминания, которая так благородно и великодушно отнеслась к этому человеку, «пришедшему с родины Данте и Гарибальди».

Он переезжает из штата в штат, из города в город в поисках работы. Он находит иногда работу на железных дорогах, находит её и в других местах, но он не может долго там работать: больше не нужен. И длится так эта печальная история жизни.

В конце концов, вследствие какого то недоразумения или же провокации, следует арест, судебный процесс и... смертный приговор.

Духовная жизнь этого человека является жизнью богатой и разнообразной. Находясь на родине, он читает всё, что только ни находит: читает Амичиен, читает разные листовки, читает блаженного Августина, читает также «Божественную Комедию» Данте.

В Америке он изучает труды Кропоткина, Малатесты, Реклю, Мерлино, Маркса, Мадзини. Читает разные социалистические журналы, читает также патриотические и религиозные издания. Он изучает Библию и Жизнь Иисуса. Здесь он знакомится также и с историческими трудами, с работами Дарвина и Спенсера, Лапласа и Фламмариона. Он возвращается также к «Божественной Комедии» и к «Освобожденному Иерусалиму» Тасса. Он здесь читает Гюго, Толстого и Золя. Он перечитывает бессмертного Леонарди (мало известного русской читающей публике) и плачет вместе с ним...

А вот перед ним самая главная книга жизни. Это книга из книг, говорит нам автор. Кто научился читать эту книгу, тот знает, что «высшей целью человеческой жизни является счастье». И это счастье не заключается в каком то эгоизме и самолюбии, а заключается в счастьи других. «My happiness in the happiness of all». «Во всякой индивидуальности, говорит автор, имеются два Я: одно реальное, другое идеальное; это Я и есть источник всякого прогресса». Его идеалом являются те формы социальной жизни, в которых исчезнут всякие классы и привилегии, всякая борьба между людьми. «Очами души своей» он видит эту новую светлую жизнь, построенную на началах анархо-коммунизма и при-

зывает других к этой жизни. Он хочет видеть человека свободным, имеющим хлеб и жилище, свет и образование.

Брошюра написана очень ярко и красиво. В ней очень красочно вырисовываются перед нами и духовный облик самого автора. Читающим по-английски, эту брошюру необходимо прочесть. Хочется также выразить пожелание, чтобы эта брошюра была переведена кем либо на русский язык и напечатана в наших изданиях.

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ

Ю. МАРТОВ. Долой смертную казнь! Издание «Социалистического Вестника», Центрального Органа РСДРП. 1923.

Воззвание покойного Ю. Мартова было написано в конце 1918 года в качестве протеста против восстановления смертной казни в «социалистическом» государстве. Поводом к этому яркому протесту послужило первое узаконенное убийство большевиками капитана Щастного. В этом горячем и ярком воззвании Мартов указывает на лицемерие и демагогию большевиков, которыми они пользовались при Временном Правительстве. Эта партия говорила тогда, что «социалисты отвергают смертную казнь, отвергают хладнокровное убийство безоружных, обезвреженных преступников, отвергают превращение граждан в палачей, совершающих по приказу суда гнусное дело лишения человека, хотя бы преступного человека, высшего дара — жизни».

Когда же эти люди стали у власти, они «засучили рукава и приступили к работе мясников». Сначала убивали людей без суда. Убивали вооруженных и безоружных, убивали виновных и невиновных, убивали десятками, сотнями и по одиночке.

Истребив десятки тысяч людей без суда, — говорит Мартов, — большевики приступили к смертным казням «по-суду». Первой жертвой этого узаконенного убийства был капитан Щастный, которому отказали в праве вызвать на суд даже свидетелей. После процесса Щастного начала «работать» более усердно эта человеческая бойня, именуемая Трибуналом. Здесь не знают ни справедливости, ни жа-

лости, ни пощады. «При Николае Романове иногда удавалось, указав на чудовищную жестокость приговора, остановить его исполнение и вырвать жертву из рук палача». При большевиках же это невозможно. «Зверь лизнул горячей человеческой крови». Он требует её всё больше и больше.

«В 1910 году, — говорит Мартов, — на международном социалистическом съезде в Копенгагене было принято решение бороться во всех странах против варварства смертной казни». «Под этим решением подписались все нынешние вожди большевистской партии: Ленин, Зиновьев, Троцкий, Каменев, Радек, Луначарский. Их я видел там, — говорит Мартов, — в Копенгагене, поднимающими руки за резолюцию, объявляющую войну смертной казни». Теперь же эти лица создали «машину для человекоубийства».

Воззвание Мартова — это крик честной и благородной души *человека,* видевшего перед собой все ужасы и злодеяния большевиков. «Нельзя молчать!». Нельзя смотреть равнодушно на эти убийства, на этих «палачей-людоедов»-большевиков. «Долой смертную казнь!» Воззвание заслуживает широкого распространения.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРЕДРАССУДКИ

Религиозные предрассудки. (К. Ф. Г-ко), 1924, стр. 20.

Читая эту брошюру, появляются два вопроса: зачем люди пишут подобные вещи и зачем издательства печатают их? Трагедия подобной литературы заключается в том, что в ней смешиваются обычно два понятия: религия и церковь. Если в истории церкви имеется много отрицательных сторон, это не есть еще доказательство того, что всякая «религия — опиум для народа», и что нет никакого Бога. Грехи церкви ничего не доказывают.

И нельзя писать антирелигиозные и атеистические вещи ссылаясь на грехи церкви или на некоторые неточности и противоречия, встречающиеся в Библии или Евангелии, как это наблюдается в невежественной и вульгарной книжке Т. Пэйна или в брошюре Моста. Книги Штрауса и Немоевского являются, конечно, более серьезными, но и эти книги не выдерживают в сущности серьезной критики. Религия и теология — вопросы очень спорные и сложные. И нельзя писать брошюру на основании «доказательств» Пэйна и Моста. Это просто не только не убедительно, но даже смешно. Такая литература ничего не опровергает, ничего не доказывает и ни кому не нужна. Будда, Христос, Платон, Конфуций и Сократ веками будут жить до тех пор, пока будет жить культурное человечество. И нельзя их учения смешивать с церковью. Что же касается Штрауса, Немоевского и Пэйна, то все они маленькие величины. И в учениях Декарта, Лейбница, Канта, Фихте и Толстого есть больше противоположных мыслей, с которыми можно не соглашаться, но считаться надо, ибо знания этих людей нельзя ведь сравнивать с знаниями Штрауса и Пэйна.

ПУТИ БЛАГОСЛОВЕНИЯ

НИКОЛАЙ РЕРИХ. Пути благословения. Книгоиздательство «Алатас», 1924.

Книги, подобные этой работе Рериха, встречаются довольно редко в наше жестокое время. Люди нашего времени забывают правду и поклоняются лжи. Отвергают свет истины и принимают мрак. Попирают ногами своими мудрость человеческую и опьяняются каким то страшным безумием. Разбивают священные скрижали красоты и воспевают пошлость.

И книга Рериха является ярким протестом против этой пошлости. Книга зовет нас, в сущности, не к новой красоте, а к красоте забытой и отвергнутой.

Рерих относится как то враждебно к нашей уродливой цивилизации. Эта цивилизация — цивилизация бездушная. Она не знает вечного, не знает абсолютного. Рерих зовет людей к культуре подлинной, к культуре человеческой.

И этой истинной культурой является для Рериха культура лишь духовная. С каждой страницы его книги веет дыханием забытого Востока.

Книга состоит из нескольких набросков. И многие из них были написаны им на Востоке. Читая их, человек уносится как то в этот прекрасный мир, мир величайших достижений духа и забывает о той шумной и суетной жизни, которая так угнетает нас своей ужасной тяжестью.

Наступает какой то отдых душевный и человек чувствует себя освобожденным от всякой пошлости всей западной цивилизации.

Великий русский художник знает хорошо Европу. Но его тянет в Индию. Его привлекает к себе великая сокровищница духа. Пред ним лежат Пути благословения.

Зовет и нас он в храм Красоты и Мудрости, зовет к мистерии духовного преображения.

И голос Рериха кажется нам, русским, чем то необычайно-близким, родным и понятным. И, читая его книгу, мы как то мысленно принимаем ту чашу с новым причастием, которую держит в руках художник. И чаша та для нас является новым священным Граалем.

МИСТЕРИИ

БАЙРОН. Мистерии: Каин, Манфред, Небо и Земля. Перевод Бунина. Книгоиздательство «Слово».

Имя величайшего английского поэта очень хорошо известно русской читающей публике. Имя Байрона в России так же известно, как известны имена Пушкина, Лермонтова и Достоевского.

Нам даже кажется иногда, что в его английском происхождении имеется какая то роковая ошибка судьбы. Нам как то хочется считать Байрона русским. Байрон нам чрезвычайно близок. Близок он нашему мятущемуся духу, близок он нашему духовному пессимистическому миропониманию.

В этой книге имеются три лучшие его произведения. В этих произведениях встает перед нами духовный облик Байрона во всем его величии, дерзании и красоте.

Поэма «Каин» была в свое время признана в Англии поэмою безнравственной. Каин Байрона не имеет ничего общего с библейским Каином, убивающим брата своего из за личной злобы и зависти. Каин Байрона — это прежде всего тот человек, который ставит себе роковой вопрос: зачем человеку дана жизнь, со всеми ее горестями и результатом которой является неизбежная и неумолимая смерть?

Люцифер уносит Каина в какие то величественные и неведомые миры и Каин чувствует, что вся наша земная жизнь есть лишь мгновенный призрак.

И Каин, так же, как и Люцифер, восстает против воли Творца, создавшего весь этот смертный мир и жаждет Истины, Познания и Бессмертия.

Поняв, что он знает немногое, что он является также и смертным, Каин приходит в ужас от своего ничтожества в сравнении со всей вселенной. Он убивает Авеля, но он и сам не знает почему. Убивает он Авеля скорее всего в припадке какого то отчаяния.

* * *

«Манфред» является во многих отношениях более сильным произведением, нежели поэма «Каин».

«Манфред» многие критики ставят на ряду с «Фаустом» Гёте. Во многих отношениях он стоит даже выше Фауста.

Манфред — это воплощение самого трагичного пессимизма. Так же, как и Фауст, он приходит к тому заключению, что жизнь не имеет смысла. Так же, как и Фауст, Манфред постиг все значения, всю мудрость человеческую, но и все эти достижения не принесли ему желанного успокоения.

Он приходит даже к тому заключению, что «познание есть скорбь». И далее: «чем больше знаем мы, тем больше скорбим»...

И только лишь мечта дает возможность жить Манфреду. Это мечта о его возлюбленной и ушедшей от мира сего Астарте. В ее ушедшем образе лишь видит Манфред весь мир, со всеми его ценностями и красотами.

К нему является призрак Астарты и Манфред протягивает руки к своей возлюбленной, пришедшей к нему из мира теней.

Но к жителям этого мира нельзя прикоснуться. Тени не любят живых. И тень Астарты зовет Манфреда в этот таинственный и лучший мир, где «нет болезней и печали» и всевозможных страданий.

И Манфред умирает... Аббат ждет от него «хоть слова покаяния», а Манфред говорит ему: «Поверь, старик, смерть вовсе не страшна».

* * * *

Сюжетом мистерии «Небо и Земля» служит библейское предание о потопе. Эпиграфом к мистерии являются слова из книги «Бытия»:

«Когда люди начали умножаться, сыны Божии увидели дочерей человеческих, что оне красивы и брали их себе в жены».

Эта поэма не настолько сильная, как две предыдущие. Но, и в эту поэму Байрон вложил такое содержание, которое противоречит, в сущности, библейскому сказанию и заставляет нас смотреть на все эти легенды совсем не так, как мы смотрели раньше...

Поэмы переведены поэтом Буниным. Переводы Бунина считаются лучшими переводами этих поэм-мистерий. Стихи читаются очень легко. Они являются также и самым точным переводом, чего, нет у других поэтов-переводчиков.

1925

ПОДСНЕЖНИКИ

ЛИДИЯ НЕЛИДОВА-ФИВЕЙСКАЯ. Подснежники. Стихотворения. Нью Иорк, 1927. Стр. 93. 75 сентов. С портретом автора.

Недавно вышла в свет книга стихов Лидии Нелидовой-Фивейской. Хотя стихи молодой русской поэтессы и появлялись иногда на страницах русско-американской печати, но невоможно было до сих пор понять ее духовный облик и невозможно было внимательно присмотреться к достоинствам и недостаткам ее творчества.

Сейчас же, когда перед нами имеется целая книга стихов г-жи Фивейской, мы можем заглянуть до некоторой степени не только лишь в ее душевные переживания, но можем заглянуть также и в область ее творчества. Можно было бы, конечно, и не говорить об этих душевных переживаниях, но, ведь, не нужно забывать того, что в области искусства форма всегда бывает связана с содержанием. Нельзя назвать хорошим то стихотворение, в котором мы находим хорошее содержание, но не находим формы; нельзя назвать хорошим и то стихотворение, в котором мы находим самую совершенную форму, но не находим хорошего содержания.

Прежде всего нужно сказать, что поэтесса не принадлежит к числу «модных» поэтов. В ее стихах нет ни футуризма, ни имажинизма, ни других пролетарских веяний. Поэтому, быть может, чтение ее стихов и доставляет человеку подлинное эстетическое наслаждение. Стихом владеет Фивейская в совершенстве, и многие стихи ее являются своеобразной музыкой.

Нам так надоело за последние годы различное пролетарское творчество, не признающее ни формы, ни логики, ни грамматики, что чтение хороших стихов кажется нам

иногда даже какой то роскошью. Хороши, разумеется, с литературной точки зрения, и стихи Фивейской. Есть, впрочем, в ее творчестве и небольшой литературный недостаток: это излишнее употребление различных философских и ультра-модерных терминов. В хороших и музыкальных стихах все эти термины звучат каким то диссонансом. Они уместны в прозе, но неуместны в поэзии. Такие, например, слова как: фатальный, эластичный, комфорт, наркозы и другие не следует употреблять в поэзии. Эти слова, ведь, можно заменить другими.

Творчество г-жи Фивейской является чем то особенным. В нём отразился целиком дух нашего страшного времени. Г-жа Фивейская не принадлежит к числу тех поэтов, которые с высот Парнасса созерцают земные юдоли и пишут иногда о неведомых им страданиях человеческих. Она — дочь Земли. Она сама же переносит эти земные страдания, видит страдания других людей, и только им, этим страданиям, внемлет ее отзывчивое сердце. Во всех ее стихах слышатся отзвуки «мировой скорби». Но пессимизм ее является своеобразным пессимизмом. Он не имеет почти ничего общего с пессимизмом Будды, Шопенгауэра, Байрона и Леопарди. В пессимизме этих мыслителей и писателей имеется какое то активное начало. Их пессимизм является их миропониманием, иначе говоря, является своеобразной философией. Пессимизм же Фивейской является не миропониманием, а мироощущением; он вытекает не из интеллекта, а из ее сердца. Слышится иногда в ее скорбных стихах и голос многострадальной души.

Она не знает радости и счастья. Она находит в мире одни лишь страдания. Смотрит она на все эти страдания и слезы и сама же плачет. Оплакивает она жизнь других, оплакивает также и свои страдания в этом страшном мире.

«Моя душа стара, как мир...
На ней следы тысячелетий...
На ней печаль седых веков,
Как снежный ледяной покров...
Печаль и боль тысячелетий»...

Она вот и живет страданиями этих тысячелетий. Ничего не приметила она в этих тысячелетиях, кроме страданий, слез и горя. Вот эти то страдания и слезы и являются для поэтессы единственной действительностью мира. Всё остальное кажется ей призраками. Она согласна, очевидно, с Оскаром Уайльдом, который, находясь в тюрьме, пришел к таким же выводам. Вся его исповедь «De profundis» является гимном страданию.

Страдание и Смерть являются владычицами мира. Подвластны им не только люди, но и все вселенные. Поэтому то, вероятно, и царствует в мире страдание. Знают страдание даже цветы, вся жизнь которых кажется нам иногда каким то неземным блаженством. Блаженство их длится недолго. Приходит жестокая осень и они умирают тихо и печально. Всё же их прошлое является каким то мимолетным сном. В ее стихотворении «Осенние цветы» слышатся грустные вздохи цветов.

Таким же «осенним цветком» является в действительности и сам человек. Нет в его жизни ни весны, ни лета. Вся его жизнь — осень. И слышит он в этой жизни одни лишь печальные осенние песни. Хотя человек и считает себя властелином природы, но всё это владычество является одной лишь иллюзией. Если бы он был властелином природы, он был бы властелином и своей собственной жизни, был бы Зодчим и своей судьбы. Но этого, ведь, нет. Он до сих пор всё еще принимал свою судьбу как дар, но не создавал ее.

В пессимизме Фивейской слышатся не христианские и не буддийские, а исключительно языческие мотивы. В нём есть языческая боязнь этого мира, но не сознательное непринятие его. И не случайно, очевидно, поэтесса говорит, что ее душа — «родная дочь Эллады». И ее сердце — эллинское сердце. Ей более понятен в своей скорби Софокл, нежели Байрон и Леопарди. По язычески она понимает и природу. Природа ее мать, ее и божество. Существования же мира вне-природного она почти совсем не замечает. Она видит мир в двух лишь измерениях: она не замечает глу-

бины его. Хотя она и упоминает в двух или трех местах о Боге и Христе, но это упоминание является чисто случайным. Во что она пишет о природе:

«Люблю тебя, красавица природа.
Люблю тебя, моя божественная мать!
Лишь для тебя одной восторженная ода
Из скорбных уст моих готова прозвучать».

По язычески она боится жизни, но по язычески боится она и смерти. Жизнь для нее является какой то страшной неизбежностью, но смерть является чем то еще страшнейшим. Если в жизни есть много непостижимого, то смерть является, ведь, величайшей тайной. Вот почему Фивейская и умоляет время продлить ее земные мгновенья, хотя в этих мгновениях она не находит ни радости, ни утешения.

«О, время, подожди, продли свои мгновенья!
Мне страшно уходить в немую пустоту»...

Ее любовь тоже своеобразная. Она как видно, думает, что только лишь «последнюю любовь» можно назвать любовью истинной. Но ведь последняя любовь является чем то поистине ужасным и мучительным. Если человек любит кого нибудь сейчас и знает, что любит он последнею любовью, то эта любовь является для него подлинной Голгофой. Эта любовь ведет не к счастью человека, а к горькому отчаянию. Одна лишь есть любовь, дающая человеку блаженство и счастье — это любовь вечная, но не любовь последняя. А эта, ведь, любовь не может быть ни первой, ни последней. Она одна лишь — любовь истинная. Любви же временной нет и не может быть.

В конце книги имеется одно стихотворение, в котором очень ярко выражены душевные переживания Фивейской.

«Склонись ко мне, грустная Муза, на грудь,
Послушай, как сердце устало...
О, дай мне с последнею песней заснуть,
Чтоб биться оно перестало!..
Я пела о счастье, любви, красоте,
Но в жизни я их не встречала.

Я жизни не верила — только мечте
И песнь моя странно звучала.
И нет ничего, чтоб хотелось вернуть,
И я не нашла, что искала...
Склонись ко мне, грустная Муза, на грудь,
Послушай, как сердце устало»...

В этом стихотворении слышатся отзвуки скорби Леопарди. Имеется здесь даже сходство с его стихотворением «К самому себе»:

«Теперь отдохнешь навсегда,
Усталое сердце мое.
Исчез и последний обман,
Который я вечным считал»...

Есть в книге Фивейской и несколько лирических стихотворений. Есть, разумеется, и в них какие то печальные мотивы, но в них же именно и проявляется подлинный облик ее творчества. Особенно чудесны два стихотворения: «Деревенская песня» и «Умирающий лебедь» (последнее написано на музыку Сен-Санса).

Можно не соглашаться с мрачными настроениями нашей молодой поэтессы, но с творчеством ее обязан познакомиться наш русский колонист. В творчестве ее есть ведь, кроме скорби, много красивых и музыкальных вещей.

КРИТИКА

АССОЦИАЦИОННЫЙ АНАРХИЗМ

(Критический очерк)

В апрельских номерах «Американских Известий» появилась статья Ф. Кремера об ассоциационном анархизме Льва Черного. Я нахожу излишним писать в данном случае специальный ответ Ф. Кремеру, так как этот ответ он найдет вероятно в моем общем очерке, посвященном этому вопросу. Я ограничусь поэтому только двумя замечаниями общего характера, не относящимися, в частности, к затронутой теме.

Автор вышеупомянутой статьи находит почему то, что в наших рядах происходит какое то распыление сил, происходит, если только так можно выразиться, какой то идеологический разброд. Лично же я не вижу в нашем движежении ни разброда мысли, ни распыления сил. Если Кремер имеет в виду разных синдикалистов, то никто из анархистов, никогда и не думал о возможности совместной с ними анархической работы. Что же касается объединенных анархистов, которые, насколько мне известно, только и говорят об этом распылении, то я нисколько не верю в их грандиозные замыслы объединить разные анархические течения. Не верю потому, что эти «объединенцы» пытаются создать *новое* течение в анархическом движении, стараясь превратить его в какое то *главенствующее* течение. В своей работе они могут достигнуть, конечно, некоторых практических результатов, но это будет объясняться уже, очевидно, только «теоретической слабостью» некоторых товарищей. Это, ведь, не анархисты вообще, а новая анархическая секта, которая, строго говоря, совсем и не стремится к этому объединению. Объединение их заключается в следующем: объединяйтесь вокруг нас!

Вот почему мне и думается, что в нашем движении нет ничего страшного и трагического. Мы все идем своими собственными дорогами, как это было и до сих пор. Мне только хочется выразить пожелание, чтобы никто не мешал друг другу в работе. К этому мы и должны стремиться.

Что же касается нашего догматизма и критицизма, то я совсем согласен с Кремером, «что наши идеи и учения, как и всякая наука, нуждаются в постоянном новом толковании, вследствие появления новых фактов или нового порядка старых вещей». При этом я делаю только одну оговорку: если мы производим опыт какой либо критики наших учений, если мы отвергаем некоторые универсальные истины, необходимо в этом случае противопоставить этим истинам нечто *новое,* более ценное и научное. Когда же некоторые «критики» начинают говорить нам о ненаучности и несостоятельности современного анархического учения и не дают нам ничего другого, мы просим этих критиков оставить нас в покое и не мешать нам в нашей работе. Пусть они обвиняют нас в догматизме! Признать же таких критиков и ученых мы, разумеется, не можем. Пусть они сначала докажут нам, что их учение является последним словом науки и философии, тогда мы без всякого сожаления сдадим в архив наши старые истины. Вот почему мне и думается, что все разговоры о ненаучности анархизма являются просто игрою в слова. И пусть себе этой игрою занимаются те, кому, повидимому, больше нечего делать.

В основу ассоциационного анархизма Льва Черного положены какие то странные, какие то специфические начала. В основу этого учения положены принципы какого то своеобразного эго-индивидуализма, не имеющего почти ничего общего с эгоизмом Штирнера и с индивидуализмом Ницше. Понятие Ichheit, на котором построил Фихте всю свою замечательную систему, тоже не приложимо к учению Черного. Не приложим к нему также и высоко-благородный

одухотворенный индивидуализм Оскара Уайльда. Эгоиндивидуализм Черного не выражается в сознательном господстве сильного над более слабым, не выражается он также и в поедании слабого. Он выражается в какой-то обособленности от людей, в какой то интуитивной боязни нашей грандиозной, по своей сложности, жизни. Благодаря этому, индивид Черного проходит перед нами не в качестве воина, рыцаря и победителя, а в качестве какого то безличного и неизвестного существа. В нем нет величия, нет гордости и силы. Он не имеет даже имени. Поистине, жалкое зрелище! Печать Свободного Ничтожества лежит на челе этого индивида. Индивид Черного боится мира, боится и людей. Во многих отношениях он идет по стопам ибсеновского Пер-Гюнта: «Будь доволен самим собой». Ему не нужны люди, не нужен людям и он. Жизнь этого индивида похожа на жизнь черепахи. Не больше одного мгновения он может созерцать окружающее. Великий шум жизни вызывает в нем чувства боязни и страха и он скорее прячется в свою скорлупу от этого страшного мира. Индивид Черного не хочет трогать других индивидов, не хочет приносить им вреда, не хочет нарушать их жалкого существования. Наряду с этим он хочет, чтобы эти безличные и безжизненные индивиды поступали с ним так же. Этот индивид является каким то жалким и безотрадным существом. Он боится всякой общительности, всякого соприкосновения с людьми. Для сохранения своей абсолютной свободы ему необходимо было бы, пожалуй, повесить на груди дощечку, начертав на ней единственное credo индивидов: Не трогай меня! Не вреди! Иначе и нельзя представить себе этого индивида.

Живя в своем тесном жилище, живя в своем уединении, индивид не хочет видеть ни красоты, ни трагедии жизни. Ему неведом героизм, неведомы высшие подвиги и порывы, ему неведомо даже и творчество. Он — вечный труженик, он — вечный раб своей низменной жизни. Бытие этого индивида заключается, кажется, только в желудке, заключается в каком то самодовольном — полуживотном суще-

ствовании. Из двух положений — недовольный Сократ или самодовольная свинья — индивид избирает очевидно последнее. Вот в этих положениях и заключается смысл жизни индивида. Это мы увидим также и в его учении.

* * * *

В своих философских и социологических концепциях Черный становится на точку зрения материализма и объективизма, примыкая таким образом к школе материалистов. Эта же «каинова печать» марксизма лежит, как мы увидим дальше, и на всем учении Черного. Значение идеалистического метода в социологии и философии сводится, по его мнению, просто к нулю.

«Идеалист стремится вскрыть суть наших нравственных понятий субъективным путем, он хочет *психологически* определить, что такое справедливость, свобода, власть, равенство, руководясь своими ощущениями, руководясь тем, что он понимает под равенством, свободой, справедливостью... и так как каждый, будучи воспитан в иной среде, имеет разные взгляды, то и равенство и свобода каждым понимается разно». Этот субъективный метод, являющийся «творчеством из собственной головы», не приводит нас, по мнению Черного, даже к правильной постановке социальных вопросов. О разрешении их не может быть и речи.

Что же отсюда следует? — Отсюда следует, что в основание всех социальных исследований необходимо положить «другой метод, метод материалистический и объективный». Этот «материалистический метод видит суть нравственных, общественных и политических отношений и взглядов не в психике, не в нашем сознании, а в фактическом отношении одного человека к другому». «А раз фактические отношения материальный факт, то, следовательно, и все наши нравственные и политические понятия, являясь лишь типичными отношениями, имеют свои корни в земле, а не на небе и не на скрижалях, данных небом». Всякие идеологическо-духовные ценности и понятия явля-

ются, следовательно продуктом материально-экономической эволюции. «Способ производства, — говорит Черный, — кладет свой отпечаток на все идеологические формы — на политику, мораль, религию, семью и право». «Экономическое рабство создает и политическое и моральное». Разве не этому учат марксисты?

Правда, Черный разбивает наше «я» на две части: «на физический организм и на духовную личность», но эта духовная личность есть, в сущности, тот же физический организм. Она является продуктом нашей физической эволюции. «Духовная личность, — говорит Черный, — это тот политический, моральный, религиозный, житейский облик человека, который каждый носит в своем физическом теле и который в каждом живом существе вырабатывается в борьбе за существование». Всё это так нелепо и анахронично, что мы не считаем даже необходимым говорить здесь об идеализме и материализме, о роли личности в истории и об экономическом детерминизме марксистов. Эти вопросы блестяще разработаны у Кареева, Хвостова, Фулье и у других социологов.

На неприкосновенности этого существа, именуемого индивидом, и строит Черный свое материалистическо-дарвинистское учение. Абсолютная неприкосновенность этого индивида является альфой и омегой его существования. В этом и видит Черный начала истинного анархизма. Принцип «не вреди» в качестве общего и абсолютного правила должен распространяться на все взаимоотношения индивидов. И этот принцип должен господствовать не в силу каких либо этических, эстетических или правовых норм, а в силу не нарушения вечного сна и спокойствия самодовольного индивида, влюбленного в свой собственный безличный образ, в свое черепашье жилище. Это «не вреди и не трогай меня» достигает высшего апогея в следующем примере Черного.

«Положим, что кто нибудь, купаясь в реке, безрассудно выплыл на её середину и вследствие судорог начинает тонуть, моля о пощаде. Будет ли вредом с моей стороны,

если я вздумаю по каким либо соображениям отказать утопающему в помощи, или, наоборот, вред заключается в притязании на помощь? На первое предложение — ясный ответ. Человека в реку бросил не я. Значит, не я наношу ему физический вред, а сам себе он; значит, отказ в помощи не будет вредом... наоборот, требование помощи есть вред для меня, ибо этим выражается притязание на мое «я», на мою силу, которая принадлежит только мне и на которую никто не смеет иметь притязания без того, чтобы не обратить меня во вьючного верблюда, в раба... В притязании на помощь есть уже посягательство — и индивид должен с ним бороться». Он, этот индивид, должен отталкивать, следовательно, и руку утопающего, если она протянута к нему за помощью. Это есть нарушение свободы индивида. К чорту утопающего! Do not touch me!

Индивид не может спасать погибающего. Всякая помощь погибающему граничит с риском, самоотречением и самопожертвованием. Подобные же отношения к людям являются достоянием только рабов. «Рабы создали этот тип отношений и от него несет рабским духом». Для индивида нет ни эгоизма, ни любви. «В моральном отношении индивид, сделавшийся сторонником принципа «не вреди», презирает и ненавидит эгоизм и любовь. Эгоизм противен стороннику «не вреди» потому, что он обращает личность другого в вещь, в бездушный предмет; любовь — потому, что она обезличивает человека, превращая его в «жертвенное животное». «Эгоизм — это ворон, выклевывающий глаза ближнему. Эгоизм — это ястреб, растерзывающий голубку. Эгоизм — это гиена, роющаяся во всякой падали». «Любовь — это учение всех слабых и жалких натур». «Любовь — это пиявка». «О, любовь! Куда ты только не заведешь человека, в какую грязь не окунешь его! Посмотри, во что она обратила «я» в теории непротивления злу насилием — в предмет издевательства для «ты». Она стерла личность из ранга человека. Неприкосновенность к ней не относится. Щеки «я» сотворены как будто специально для пощечин «ты», и спина его — для палок. О, гнусная любовь!».

Может ли после этого индивид чувствовать жалость и сострадание к ближнему, не говоря уже о дальнем, которого любил так Ницше? Может ли он пожертвовать собою ради спасения ближнего? О, нет, конечно, нет! Может ли он принимать жертвы ради своего спасения? О, нет! Он жертв не принимает! «Герой — это человек умирающий, но не жертвующий ради своего спасения ближним» и не жертвующий собою ради спасения ближнего. Вот почему ему враждебен эгоизм, враждебна также и любовь. Таковы отношения индивида к людям.

* * * *

Индивид Черного, как и подобает истинному индивиду, восстает прежде всего против общества и коммунизма. Вопросы желудка — это важнейшие проблемы его бытия. Он очень боится того, что «в коммунизме одни рабочие не получат того, что им следует, другие получат больше того, что им следует, получат то, что следует другим. Коммунизм облагает более сильных налогом в пользу более слабых». А разве может этот индивид, с таким громадным желудком и маленькой головой, отдать кусок хлеба более слабому? О, нет! Это невозможно! Это — эгоизм слабого и самопожертвование индивида! «Коммунист — это вьючный осел». «Коммунизм несет индивиду полную экономическую несамостоятельность, ставит индивида в полную зависимость от общества». Слабые будут эксплоатировать сильных. Некоторые из членов общества откажутся, например, от употребления вина и табаку, откажутся от посещения театров. Они будут, конечно, принимать участие в общем строительстве, но разве они получат сверх своих потребностей какое либо добавочное вознаграждение? А подобное положение вещей влияет на энергию рабочих, вызывает «всеобщую лень и экономический застой». «Посмотрите, — говорит индивид, — как ленивы рабы, посмотрите, как нерадивы чиновники, посмотрите на вялость арестантов и апатию эксплуататоров — и вы убедитесь в истине». «Вместо роскошных палат и рога изобилия коммунизм дает ла-

чуги и нищету». «В коммунизме рабочий совсем бросит работать».

Люди не равны. Так говорит природа. «Коммунисты же протестуют против природного неравенства людей... Им завидно, что есть люди сильные. Они смотрят на ваше здоровье, силу, как на привилегии. Они хотят отнять у вас эти привилегии, лишить вас даров природы, высших способностей, посредством имущественного, политического и семейного уравнения. О, подлые пауки! Коммунисты стремятся к своему среднему индивиду, отвлеченному понятию, а для *конкретного индивида* куют цепи рабства. Пауки, эгализаторы! Будьте же последовательны, — кричит в исступлении индивид, — вставьте в свое учение полное физическое уравнение: вы хотите уравнять наши силы, способности, уравняйте и красоту, подрезав носы красивым и сильным». «О, подлые тарантулы!».

А рост населения? Ведь в коммунистическом обществе никто не будет заботиться, по его мнению, о своих детях. Разве в этом случае люди не станут размножаться, *«как крысы?»* И разве это не угрожает, в конце концов, гибелью обществу?

А коммунистическая нравственность? «При коммунизме, мы нравственно погибнем, выработав какую то рабскую, прирученную душу, трясущуюся, если она хотя на каплю разойдется с общим мнением; при коммунизме мы превратимся в *нравственных лакеев*». «Право, противно и больно смотреть, когда толпа говорит индивиду: «иди туда» — и он, как баран, блея и мотая головой многоголовому тирану в знак подчинения, бредет на указанный урок». Мораль коммунизма — это «мораль стада», стада блеющих овец.

А старики? Что будут делать с ними? Индивид говорит им следующее: «Трепещите же, старики! В будущем коммунистическом строе вам медики вместо лекарства дадут отраву».

А брак? Разве будет предоставлено индивиду право свободного выбора подруги? (Я уже вижу, читательницы,

ваши бледные от ужаса лица). О, нет! Коммунизм «может издать закон об общем браке, как издан закон об общей собственности». Быть может будут существовать также для этого и «министерства любви».

Что же такое в конце концов коммунизм? «Коммунизм — это грандиозная больница и грандиозное благотворительное учреждение для всех выбитых жизнью». Больше того: «коммунизм — это режим казармы, *громадный дом терпимости»* (подчеркнуто автором) и «сумасшедший дом». Коммунизм ведет к вырождению и индивид пророчествует ему скорую гибель. «Он умирает у нас на глазах, — говорит индивид, — от него веет трупным запахом». Так понимает индивид коммунизм. Что мы можем сказать после этого нашему сумасшедшему индивиду? Он не захочет ведь и слушать наших доказательств и нашего толкования коммунизма.

Во всей антисоциалистической литературе нет, насколько нам известно, более низких, более пошлых и отвратительных суждений о коммунизме, нежели суждения этого злополучного индивида. У английского юмориста Джером-Джерома есть интересный рассказ о коммунизме будущего («Новое равенство»). Коммунизм представляется Джерому каким то универсальным уравнением всех членов общества во всех отношениях. Одинаковые жилища, одинаковая одежда, одинаковое питание. Люди не имеют даже имен: это считается неравенством и привилегиями. На своих спинах эти люди носят жестянки с номерами, заменяющими им имена. Есть точно также и у французского писателя Лабуле политический памфлет под названием «Принц-собачка», в котором описывается «государство ротозеев». Есть и у нашего Козьмы Пруткова «Проект введения единомыслия в России». Читая суждения о коммунизме этого индивида невольно хочется думать, что в основание этих суждений положены эти классические «коммунистические» произведения. Становится стыдно за автора.

Правда, в конце своей книги Черный посвящает несколько строк и анархическому коммунизму, желая пока-

зать нам, повидимому, что он проводит некоторое разграничение между коммунизмом вообще и анархическим коммунизмом, но это он делает, очевидно, только по некоторым «дипломатическим» соображениям. На многочисленных страницах своей книги Черный мечет громы и молнии против всякого коммунизма. Он не стесняется даже выдавать в качестве истинного коммунизма социальное учение Платона и Кампанелы, изложенное последним в «Городе солнца». Трагичнее всего, быть может, то, что автор излагает разные учения не по трудам самих мыслителей, а по критическим и историческим работам других лиц. Ведь Черный знал прекрасно, что в настоящее время нет, очевидно, на земле ни одного человека, который мог бы проповедывать учения этих писателей. Таких людей, впрочем, не было никогда. Не мог же автор ломаться таким образом в открытую дверь. Это было бы так нелепо, как было бы нелепо стрелять из пушки в воробья. Речь идет у него, следовательно, о коммунизме нашего времени, об анархическом коммунизме. Черный только боялся, повидимому, сознаться в этом, ибо анархисты могли бы потребовать у него доказательств, почему коммунизм является домом терпимости. Они могли бы привлечь автора книги к ответственности за самую низкую, пошлую и наглую клевету. Ведь Черный восстает, прежде всего, против принципа «с каждого по способностям, каждому по потребностям», а разве этот принцип не является принципом анархического коммунизма?

* * * *

Какое же место занимают в анархической мысли учения Бакунина, Кропоткина и Толстого? Все они, по мнению Черного, не являются истинными анархистами. «Воспитанные в предрассудках социализма и любви, ни Бакунин, ни Кропоткин, ни Толстой не могли окончательно порвать со своими старыми взглядами. Они исказили учение Прудона, который, по мнению Черного, является подлинным анархистом и самым «гениальным умом», Черный считает его ге-

ниальным только, повидимому, потому, что «никто сильнее его не ругал и не ненавидел капитала». В этих качествах мы не находим, разумеется, никакой гениальности, ибо и индивид Черного умеет ругаться лучше самого Прудона, и гениальность его пришлось бы рассматривать только через микроскоп. «Все, что они (Бакунин, Кропоткин, Толстой) усвоили от Прудона — это идею безвластия». Девиз же Кропоткина: «от каждого по силам и каждому по потребностям» — и подавно ничего общего с анархизмом иметь не может». «Из последовательных анархистов приходится выкинуть Толстого и Кропоткина, имеющих в своих системах очень мало анархического». Пусть себе какой нибудь профессор Эльцбахер считает их учения самыми серьезными и состоятельными. Его научное исследование анархизма не имеет ровно никакого значения для индивида. Да и что это за книга? — Чепуха — исследование юриста и философа. Вот если бы Эльцбахер был индивидом, тогда, быть может, он и сумел бы написать книгу серьезную и интересную. Так говорит об анархистах индивид.

* * * *

Основным принципом социальной справедливости является для индивида следующий принцип: «каждому по его труду». На этом принципе и строит индивид свое существование. В противоположность государственным и коммунистическим формам общественной жизни индивид строит свое общество на началах «натурального хозяйства» и на началах ассоциационных. Если индивид сумеет производить всё для себя необходимое, тогда все социальные вопросы могут, конечно, легко разрешиться. Но мы знаем, что этот способ производства в наше время уже никуда не годится. Всё это было свойственно человеку каменного века, вооруженному острыми зубами и дубиной. Современная же экономическая жизнь несколько отличается от жизни дикаря. Это учитывает также и индивид Черного. Правда, ему хочется пользоваться свободой и независимостью этого дикаря, но индивид не хочет почему то «ползать на четверень-

ках». Поэтому то, при всей своей мизантропии, он и вступает в некоторое общение с окружающими его людьми.

Каким же образом будет организовано производство будущего? Каким образом будут узнаваться самые разнообразные нужды этих индивидов? Крупное производство будет организовано на ассоциационных началах. Ассоциации будут составляться путем договора. Каждый работник будет получать полный продукт своего труда. Для учета потребностей индивидов будет существовать особое центральное статистическое бюро, в котором будут концентрироваться всевозможные спросы и предложения. Когда индивид будет чувствовать потребность в каком либо продукте, он может отправиться в бюро и узнать, с кем может он обменяться продуктами своего труда. «Положим, я — сапожник. Я узнал, что вам нужны сапоги — и вот мы с вами уговариваемся. Вы записываете себе сапоги, я — кожу, гвозди, ушки. Или, скажем, вы требуете холщевую рубашку. Портной заключает с вами договор и дает вам рубашку. Портной же выписывает холст и для того заключает договор с ткачем. Ткач же, зная что вам нужен холст, заключает договор с прядильщиком». Такова сущность договорного производства. Если же у меня, скажем, закажет кто либо одежду, я должен буду заключать бесконечное количество договоров с разными производителями необходимых мне для одежды материалов; производители этих материалов — с другими производителями и так до бесконечности. После подобного способа производства и обмена товаров ни одного индивида нельзя представить себе работающим. Это было бы невозможно физически. Вся жизнь этого индивида проходила бы в этом случае в составлении и заключении миллионов договоров. Для работы же у индивида не оставалось бы даже и одной минуты, а тем более потому, что эти договоры «никогда и не заключаются на целые годы; они заключаются лишь на одно действие, на исполнение одной работы, одного предприятия». В дополнение к этому эти договоры не являются для человека чем то обязательным. «Я могу порвать их каждую минуту,

не докончив дела». И индивид Черного говорит нам после этого, что «почти вся экономическая жизнь может быть построена на таких договорах». Надо надеяться, что все эти положения не нуждаются ни в критике, ни в комментариях. Мы и без того можем представить себе, во что может превратиться впоследствии это пошехонское производство.

Впрочем, Черный допускает и другой способ обмена и распределения продуктов. Для этого будут существовать особые «почты-склады», в которых можно будет купить все необходимые продукты. Как купить? Для этого будут введены индивидами особые трудовые боны, называемые ими «квитанциями». Эти квитанции будут иметь то же значение, какое имеют в наше время денежные единицы. Продукт своего труда индивид сдает в этот склад и получает оттуда квитанцию на столько то рабочих часов. На эту же квитанцию он может получить другой, необходимый для себя, продукт, равняющийся по своей стоимости такому же количеству рабочих часов. Будет введена, следовательно своеобразная денежная система, которую предлагают, в частности, и марксисты.

Каким же образом будет определяться стоимость продуктов? Мерилом ценности продуктов будет являться средняя единица трудового времени. «Положим, — говорит Черный, — что на стакан ушло 20 минут, на стул 200 м., на диван 800 м.». «Тогда стоимость стакана будет равняться 20 минутам среднего труда, стула 200 минутам». Это «мерило стоимости *объективно и справедливо* для всех людей». Если же люди, более слабые, потратят на производство стакана вдвое больше времени, 40 минут, это ни в коем случае не даст им права на получение продукта, ценность которого равняется 40 минутам среднего труда. «Если слабый, при такой системе, захочет от сильного взять диван, то сильный скажет: «давай 40 стаканов (а не 20), ибо в диване в 40 раз больше равной энергии» — и слабый ничего не может сказать: попробует сделать стакан и диван и убедится в истинности требований сильного». Таковы мерила ценности продуктов производства.

Что же отсюда следует? Отсюда следует, что индивиды не будут равны даже и относительно в имущественном отношении. У них будет существовать частная собственность. Будут богатые-сильные, будут и нищие-слабые. Общество индивидов будет являться, следовательно, новой репродукцией с картины капиталистического общества. А раз будет богатство и бедность, необходимо признать право передачи индивидами своего имущества тем или иным лицам, необходимо признать *право наследования,* которое Черный и не отрицает. А ведь это право было отменено даже большевиками! Вот здесь то и зарыта собака! Но индивид и не скрывает этого. Он говорит слабому: «выродку естественная смерть». Пусть вымирают слабые! Индивиду некогда думать о слабых. Он никогда не в состоянии наполнить даже свой собственный желудок. К чорту всех слабых! Пусть поедают друг друга!

А вот индивид разрешает земельный вопрос. «Земля — ничья». Её нельзя, к сожалению, разодрать на мелкие кусочки. Необходимо признать поэтому только *«равное право пользования на землю»*. Никто не может лишить нас права на получение своей доли. «Земля — ничья, в пользовании — мы равны: подай же мою долю, и больше ничего». «Никто не может вмешиваться в мою деятельность». «Как я поступлю со своим участком, как я его буду обрабатывать — это моя воля, и никакое общество не имеет ни малейшего права писать мне законы». «Какой же кусок земли может занимать каждый для своих нужд, соблюдая указанные условия?» Количество населения изменяется. Нельзя поэтому раз навсегда разделить всю землю между всеми индивидами, живущими в данное время. Отсюда вытекает следующий ответ: *«Максимум земли, которую каждый может занять определяется наличным населением и приростом, могущим быть в течение его жизни»*. Если бы вся земля была распределена в данное время, тогда пришлось бы, вследствие прироста населения, производить ежегодно переделы земли. Поэтому то Черный и предлагает учитывать заранее возможный прирост населения, благода-

ря чему «передел наступит лишь после смерти пользователя». Лучшие участки земли облагаются в этом случае рентой. Таково «разрешение» земельного вопроса.

* * * *

Теперь нам понятно, почему индивид так восстает против коммунизма, а в частности, и против высокой нравственности коммунистов. Ему неведомы понятия солидарности, сочувствия, справедливости и гармонии. Теперь нам понятно также, почему этот злополучный индивид не считает анархистами Кропоткина, Штирнера, Бакунина и Толстого. «Штирнер и Кропоткин не чистые анархисты. Штирнер не отделался еще от буржуазии, а Кропоткин от христианства и коммунистов. Штирнер проповедует: «делай, что хочешь», Кропоткин же хочет обратить анархистов в стадо блеющих баранов. Сейчас, — продолжает он, — мне удалось прочесть статью Кропоткина — «Анархическая мораль». Это нечто ужасное! Копыта, вымя, рога, бычачьи тупые морды так и торчат на каждой строке». У нас нет никаких желаний обижать в данном случае этого индивида и говорить ему разные неприятности, но, тем не менее, после подобных его рассуждений, все же приходится сказать, что этот индивид является в самом деле самодовольной свиньей. Не может же ведь человек говорить разные мерзости только потому, что у него есть язык. А индивид это делает.

В противоположность социальной справедливости Толстого и Кропоткина индивид проповедует новые взаимоотношения между людьми. Если ты болен и слаб, если ты стар и беспомощен, — тебе нечего больше делать на земле. Ты — «лишний человек». И ты уйдешь из этого мира, ибо ни один индивид тебе не поможет. И индивид очень доволен, что «слабые будут пропадать, а сильные не будут расточать своих сил на поддержание вырождающейся жизни». Все слабые — это «разлагающиеся трупы». Зачем же их поддерживать? Нет, не поддерживать их надо, а сделать всё возможное для того, чтобы они выбрали себе «доброволь-

ную смерть» и не позволили себе сосать кровь индивида. Единственно, что может предложить индивид старику, больному и слабому, — это яд и веревку для добровольного ухода от жизни. Таковы законы природы, — говорит он, — таковы законы и дарвинизма. Учение Дарвина, на котором построили логически свою философию марксисты, является, по мнению Черного, подлинным анархизмом. «Первое поверхностное сравнение, — говорит Черный, — прямо говорит о полной солидарности анархизма с дарвинизмом. Чем дальше вы будете углубляться в этот вопрос, тем всё крепче и крепче будет первое впечатление. Посмотрите бегло на наш строй (строй индивидов) — и вы увидите истину сказанного». В этом отношении прав, разумеется, Черный. Его анархизм есть дарвинизм, с которым мы, анархисты, можем вести только самую жестокую и беспощадную борьбу. С нашей точки зрения — не должно быть животных среди людей. Мы должны изгонять их из человеческого общества. Животным место среди животных. Вот что мы можем ответить на это. Мы не стесняем этим индивидов, а только хотим, чтобы они ушли в свое дарвиновское звериное царство. Пусть они там поедают друг друга, если это им так нравится! Люди же хотят жить богатой духовной и материальной жизнью, которую никогда, очевидно, не в состоянии будут понять животные. Таково наше отношение к марксизму и дарвинизму.

* * * *

Теперь необходимо еще обратить внимание на правовую сторону жизни индивидов. Что такое право вообще? Что такое законодательство? Что такое суд и судья? На все эти вопросы Черный не дает нам ни одного серьезного ответа. Разрешение им всех этих вопросов заставляет нас думать, что он не считал нужным прочесть даже какого нибудь учебника по общей теории права. Право, законодательство, суд и судья существуют, по его мнению, только потому, что существуют преступления: преступления же

происходят только потому, что существуют богатство и бедность. На этом основании будут преступления, следовательно и в обществе индивидов.

«Что такое судья? — Это человек, присвоивший себе право судить меня, — человек, смотрящий на меня, как на судебное мясо». Неужели Черный не знает того, что и сами судьи сидят иногда на скамье подсудимых. Обращаясь к судьям он спрашивает их: «Кого вы намереваетесь судить? Чье имущество охранять хотите? Народ — гол; у народа брать нечего. Буржуазную, воровскую собственность хотите вы защищать? Кого же вы хотите посадить на скамью подсудимых? Богачей? Нет, богачи не воруют. Дети народа, выброшенные нуждой, кризисом и безработицей, подымаются на богачей. Им то вы и готовите кандалы». Все преступления сводятся, следовательно, к воровству. «Задумывались ли вы, — спрашивает он читателя, — над тем, отчего бывают преступления?» — «Они происходят от разорения, нужды, голода, которые являются результатом индивидуальной борьбы за существование и эксплуатации одних другими». Какое жалкое объяснение! Неужели кроме воровства нет никаких других преступлений? Одно ведь только современное уголовное право предусматривает целые тысячи самых разнообразных преступлений, не имеющих в данном случае никакого отношения ни к бедности, ни к воровству. Об этом Черный очевидно и не подумал, как не подумал он и о значении законодательства. Ведь те же религизоные войны, о которых он вспоминает, прекращены были путем законодательным; они прекратились только тогда, когда были изданы законы о веротерпимости.

Всякие преступления нельзя объяснять исключительно бедностью и нищетой. Это мы знаем из судебной практики. Имеются преступники очень богатые и состоятельные. Мотивы преступлений их — разные. Многие из них совершают преступления из за любви к риску, или из за любви к искусству. Представим себе общество индивидов. Найдутся люди, которые совсем не захотят работать, а будут заниматься систематическим воровством, грабежами и даже

убийствами. Кто будет их судить? — Никто. Суда у индивидов нет. Будет господствовать право сильного. Суд несменяемый — это олицетворение какого то издевательства и произвола над человеческой личностью. — Суд присяжных (а также и третейский суд) — это «самоотречение от себя, это уступка своих прав толпе». Единственная форма суда, какую может признать индивид, это форма «личного суда». Эта форма суда выражается в следующем: «Если мы с кем поссоримся, то сами сумеем и разобрать свою ссору». «Своих судебных прав мы никогда не уступим другим». «Суд индивида будет всегда справедливее, ибо самим участвующим индивидам суть дела виднее, чем посторонним лицам». Поэтому то «индивид» и будет справедлив в своих решениях». Не только с точки зрения юридической, но и с точки зрения простого здравого смысла подобное решение вопроса кажется просто смешным. Не только из судебной практики, но и из житейского опыта мы знаем, что ни один обвиняемый не считает себя виновным. Наоборот: он обвиняет своего противника. Этот суд не может, следовательно, достигнуть никаких результатов. Чем же, в конце концов, может разрешиться то или иное столкновение индивидов, если невозможно разрешение вопроса мирным путем? «Он может вылиться после этого в форму дуэльную». Но ведь и в этом случае не может быть и речи о справедливом разрешении того или иного вопроса, ибо дуэльный суд не имеет ничего общего с справедливостью, осуществление которой преследует, в сущности, всякая форма суда. К дуэльному суду мы прибегаем не для защиты своей правоты (ведь и противник прибегает к этому), а для защиты чести. Результатом этого суда является не осуществление справедливости, не наказание виновного, а победа физического превосходства, силы и ловкости. Мы знаем, например, что мы виновны, но результатом дуэльного суда является наша победа. Разрешает ли всё это хотя сколько нибудь вопросы объективной справедливости? — Нет. Вот почему в обществе индивидов и будет господствовать право сильного и более ловкого.

Заметим еще, кстати, что Черный допускает еще существование и детских судебных ассоциаций, которые будут судить в случае необходимости многих жестоких родителей. В этом положении судебная и правовая сторона жизни индивидов находит свое последнее завершение. Дети будут судить родителей! Из судебной практики мы знаем, что малолетние дети не могут выступать нигде даже в качестве свидетелей, вследствие своей несовершенной психики, а Черный хочет отдать жизни родителей целиком в руки детей.

* * *

Могут ли после этого существовать в обществе индивидов хотя какие нибудь правила поведения? — Нет. Индивид должен быть свободным. «Если мне нравится, я могу ходить и голым, ибо это моя индивидуальность, и тут нет ничего предосудительного». «Нагота не затрагивает ничьей физической и моральной личности». «Мы не имеем права негодовать ни на грусть, ни на веселость проходящих. Всё это их личное дело». Это относится также к общественной тишине и спокойствие. Устами своего читателя Черный задает себе следующий вопрос: «По вашему, значит, делай что хочешь? Вы, наверное, позволите толпам ходить по улицам с пением; вы, наверное, позволите звонить в колокола. Но понимаете ли вы, что делаете? Понимаете ли вы, что таким распутством вы парализуете всю цивилизованную жизнь? Барабанный бой, крики, звон — будут вас глушить, как обух глушит треску... Вы не будете иметь покоя ни днем, ни ночью. Представьте себе, что какой нибудь шалопай будет трезвонить целую ночь. Он вас приведет в истерику, если вы немного нервны. Он прикончит жизнь больного, которому нужен покой...»

Является ли подобное положение злом? — Нет. Нельзя стеснять свободу индивида. Если только он своими действиями не приносит физического и морального вреда другим индивидам, он может делать что угодно. Впрочем, Черный утешает нас следующим ответом на это:

«Во-первых, чем цивилизация выше, тем меньше будет всяких выходок, в роде трезвона, барабанного боя и стрельбы.

Во-вторых, такие дикие проявления и сейчас не часты.

В-третьих, с шумом можно бороться разными средствами — постройкой высокой стены с улицы, более толстых стен домов, широтою улиц, обсаживанием домов со стороны улиц небольшими рощицами, выкапыванием подземных комнат, помещением домов на далеком расстоянии друг от друга, занятием большого количества земли под жилища»...

Необходимо еще сказать пару слов о браке индивидов. Это необходимо сделать для успокоения наших уважаемых читательниц, которых индивид Черного так напугал коммунистическим браком. У индивидов брак — «дело самих индивидов». Встречаются индивид с индивидкой. «Заключают промеж себя договор любить друг друга» и начинают жить счастливой жизнью. Вопрос, как видите, разрешается просто: заключил договор — и живи. Пользуйся благами общества индивидов.

* * * *

Заканчивая этот очерк мне хочется сказать, что учение Черного не имеет почти ничего общего с анархизмом. Это учение марксизма и дарвинизма. Вполне понятно, почему никто из анархистов не заинтересовался этим учением. Это учение умерло в день своего рождения. В дополнение к этому, книга Черного написана в форме какой то обличительной речи. Каждая страница её очень ярко изобилует самыми грязными и вульгарными выражениями. Во многих отношениях она является каким то юмористическим произведением в стиле Чехова и Марка Твена и вызывает только смех. Поэтому, быть может, и мой очерк не лишен ненекоторых «тяжелых» выражений, а отчасти и юмора. Но иначе и нельзя писать о таких книгах и учениях...

1924

АНАРХИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

АНАРХИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК. Орган объединенных анархистских организаций. №№ 1—6, 1923 (Берлин).

На всякое появление нового анархического органа можно смотреть с двух точек зрения. Разве это не отрадное явление, — может сказать какой либо товарищ, — если анархическая литература обогатилась еще одним, новым, изданием? И разве это не нелепость, — может сказать нам другой анархист, — если та или иная группа, при наличии *нескольких* анархических органов, начинает издавать свой собственный журнал, распыляя таким образом и литературные, и материальные силы? И следует сознаться, что во всех этих положениях есть некоторая доля правды. Всё это учитывали, вероятно, и наши берлинские анархисты. В передовице первого номера редакция «Анархического Вестника» соглашается с тем, что «органов анархической печати — немало», и что « увеличивать, без достаточных оснований, их число еще одним, отрывая на него и силы, и средства было бы непростительно». Тем не менее, они «признали необходимым издание еще одного анархического органа»; они признали это потому, что ставят «этому органу совершенно особую задачу» и надеются «поставить его на более широкий, глубокий и прочный фундамент, чем это обычно бывает».

В чем же выражаются эти *особые* задачи «Анархического Вестника»?

Первой его задачей является *«дальнейшая теоретическая разработка самых основ нашего учения и мировоззрения»,* т. к. «нынешний разброд анархической мысли и анархи-

ческого движения зависит в большей степени от того обстоятельства, что анархизм всё еще не представляется научно обоснованной (не в марксистском, а в истинном смысле слова), строгой и стройной системой. Обще-философские, биологические и социологические основы его остаются разрозненными и смутными. Даны лишь некоторые отдельные руководящие линии, развиты лишь некоторые стороны, установлены лишь некоторые положения. Набросана общая схема. Самое же здание едва начато». Эту задачу можно считать, таким образом, задачей *строго научного* (философского, биологического, социологического и исторического) характера.

«Второй основной задачей» этого нового «журнала является *разработка ряда существеннейших для анархического движения вопросов чисто практического характера»*. Сюда относятся *«организационные вопросы»*, «ряд *тактических вопросов», «объединения анархистов»*.

Следует, конечно, согласиться с берлинскими анархистами, что все эти замыслы и задачи поистине величественны и грандиозны. Следует опасаться только одного, чтобы все эти замыслы и задачи не разбились о собственное величие, о чем, быть может, и не подумали эти товарищи.

Посмотрим же теперь, сумела ли редакция этого серьезного научного органа осуществить в той или иной степени свои великие замыслы? Сумела ли она справиться сколько нибудь с теми «обширными задачами», которые поставила перед собою?

Редакция, как это видно из всего теоретического материала, не примыкает ни к одному традиционному течению анархической мысли. Она считает, как это было указано выше, «что анархизм всё еще не представляется научно обоснованной, строгой и стройной системой». Анархизм в теории и практике страдает, — пишет редакция, — «отсутствием ясного, определенного, и в то же время, достаточно широкого *синтеза,* который освободил бы как анархическую мысль, так и анархическую деятельность от целого ряда заблуждений, уклонов и извращений; синтеза, который

ликвидировал бы в наших рядах — с одной стороны, обычное узкое сектантство, взаимную, не имеющую под собой серьезных оснований, нетерпимость, с другой, — свойственную анархизму расплывчатость, разбросанность мысли и действия». Задача редакции сводится, таким образом, *к созданию научной анархической мысли,* к серьезной и научной переоценке тех идеологических ценностей, которые, как нам казалось до сих пор, не были настолько ненаучными и анахроническими, чтобы их можно было сдать без всякого сожаления в какой-нибудь историко-идеологический музей.

В чем же выражается эта переоценка? Высказана ли на страницах «Анархического Вестника» какая либо новая, научная и интересная мысль? Сумела ли редакция, отвергая старые идеалы, дать своим читателям хотя бы самое минимальное представление об идеалах новых, более жизненных и динамичных?

На эти вопросы будем отвечать уже самими фактами. Обратим наше внимание на тот материал, которым заняты многочисленные страницы «Анархического Вестника».

В первом номере этого журнала нельзя, конечно, найти что либо научное и интересное. Первый номер всякого издания носит, по какой то традиции, программный характер. Так и в «Анархическом Вестнике» напечатана, разумеется, длинная передовица, с очень коротким содержанием; в этой передовице подвергаются суровой критике не только анархисты, но и все анархические концепции. В противоположность старой «ненаучной» анархической идеологии, выдвигается теория «объединенного анархизма», теория анархического синтеза. Рассматривать эту теорию с научной точки зрения не приходится, т. к. в ней нет ни одного научного положения, нет ни одной научной мысли: вся эта «новая» теория является только простым эклектизмом. Это не наука; всё это может быть только практическим предложением.

Среди всего материала, помещенного в первом номере журнала, выделяется больше всего по своему интересу (а

не по учености) статья Полонского «Об индивидуализме», «Записки» Махно, статьи исторического характера («Трагедия Николаевска на Амуре» и «Анархическое движение в Италии»). Что же касается остального материала, то в нем нет не только ничего интересного, но в некоторых статьях, нет ничего и анархического («Промышленность в России»). Напечатаны (вернее, *пережеваны*) «Письма о пережитом» Волина, печатавшиеся раньше в «Волне». К великому стыду своему и великому унижению своего литературного и человеческого достоинства, автор этих писем переносит их окончание в «Анархический Вестник», не имея никаких оснований для этого. Подобный поступок можно было бы сравнить с поступком какого либо лектора, начавшего читать лекцию в Нью-Иорке, например, и перенесшего её окончание в Москву. Письма, конечно, не серьезные: ни одного факта, ни одной ссылки, ни одного веского аргумента. Есть только яркие и красочные выражения, которые автору свойственны, как поэту. Целых 14 страниц журнала занято необычайно скучной перепиской по делам «анархобольшевиков». Помещено также несколько воззваний. Таково содержание первого номера этого «научного» органа.

Материал второго номера является большей частью продолжением с первого номера. Выделяется больше всего статья М. Неттлау. Передовица более слабая, чем, например, в номере первом. Зато анархическая хроника заслуживает здесь должного внимания. Науки же всё еще нет.

Самой ученой статьей третьего-четвертого номера следует считать, повидимому, статью Волина «О синтезе». Эта статья заслуживает более подробного критического разбора, т. к. она является философским обоснованием «объединенного анархизма». В ближайшем будущем эта статья будет нами разобрана более подробно. Сейчас же необходимо только ограничиться указанием на то, что эта статья могла бы быть написана скорее всего каким нибудь студентом первого курса, желающим на чужой счет казаться оригинальным и интересным, а не таким серьезным человеком, как Волин.

Читателям, не искушенным в философии, эта статья и в самом деле может показаться оригинальной и интересной, а тем более потому, что автор этой статьи преподносит читателю самые разнообразные мысли, как нечто самостоятельное. В самом же деле, эта статья является слабым изложением учения Гераклита Эфесского о вечной текучести Бытия, а также изложением учений софистов, скептиков и пробабилистов. *Всё* это было сказано еще до Р. Х. Если не знают этого некоторые читатели, то автор об этом безусловно знает. Впрочем это не важно. Ведь очень ценный вклад сделали в сокровищницу человеческой мысли и скептики, и софисты. Не следует только, излагая то или иное учение, вводить в заблуждение некоторых читателей, говоря им, что это учение есть учение новое. Нельзя тем более говорить читателю, что это есть научное и философское обоснование анархизма. Если автор думает так серьезно, то вся эта «теория синтеза» кажется просто смехотворной. Нельзя же, в самом деле, писать статьи на философские темы, не обладая необходимым для этого знанием. Для этого не достаточно знать только такие философские термины, как «вещь в себе», «абстрактный», «эмпирический», «телеологический», «метафизический», а необходимо нечто большее.

В этом же номере имеется заметка «О религии». Это уже не что иное, как профанация мысли человеческой. Не мог бы, как нам кажется, ни один серьезный журнал принять на свои страницы подобные мысли и рассуждения. Вопрос решается совсем по-большевистски: религия — опиум для народа. Но разве это — суждение? Разве это научная мысль?

Разве имеет также хотя какое либо отношение даже к «объединенному анархизму» «хозяйственная политика большевиков», которой так интересуется «Анархический Вестник»?

Впрочем в этом номере имеется довольно интересная статья с.-р. Штейнберга о П. Лаврове.

В пятом-шестом номере имеются статьи Неттлау и Роккера, читающиеся, конечно, с большим интересом. Помещена также недурная заметка о «Чикагских мучениках». Зато в «русском обозрении» говорится очень много о «Политических последствиях НЭП-а», о «ножницах». Эти статьи и без всяких оговорок могли бы быть помещены «в редакционную корзину», а не на страницы анархического журнала.

Прочитывая, таким образом, все номера вышедшего журнала, можно сказать, безусловно, что замысел берлинских анархистов пока не осуществился. В этом журнале нет пока ни одного нового слова, нет ни одной научной мысли. Много обещано и ничего не сделано. А сделать и написать за это время можно было бы многое. Содержание журнала нисколько не оправдывает издания этого нового органа.

Нельзя же, в самом деле, считать научной ту теорию, которую пробует развивать в этом органе софист и скептик — Волин, задавая себе следующий вопрос: Что есть истина?

На этот вопрос можно дать ему следующий ответ: Для софиста и скептика Истины нет...

1924

УРОКИ «МОРАЛИ»

В номере седьмом «Анархического Вестника» напечатаны два документа, которые можно назвать, в сущности, своеобразными уроками «морали». Речь идет здесь о «протесте-опровержении» Группы Русских Анархистов в Германии и о статье Горбунова. Оба «документа» написаны против злополучной статьи В. Худолея «О наших разногласиях».

Редакция «А. В.» нашла эту статью совсем неприличной и нетоварищеской. Исходя очевидно из очень высоких и благородных соображений, редакция не нашла поэтому возможным для себя вступать с Худолеем в какую бы то ни было полемику. И это моральное величие редакции «А. В.» я мог бы только приветствовать, если бы... если бы Берлинская группа, которая, как мне известно, и редактирует этот журнал, не напечатала бы на его страницах своего «протеста». И юридически редакция «А. В.» будет права, конечно, если она будет говорить кому либо о своей моральной высоте, ибо этот «протест» написан ведь не ею, а... Берлинской группой. Фактически же этот подход к делу можно назвать традиционным стрелянием из за угла из кривого ружья, очень свойственным некоторым людям. Этим стрелянием в своих противников занимается, следовательно, и редакция «А. В.». В противном случае она не помещала бы на страницах своего «идеального» журнала подобных «документов».

Я очень внимательно прочел статью Худолея. И должен согласиться, разумеется, с Берлинской группой, что в этой статье имеется несколько неприличных для литератора выражений. Не стану я поэтому оправдывать редакцию

«Волны», что она допустила эти выражения. Но, ничего уж, видно, не поделаешь. «Не ошибается только тот, кто ничего не делает». Эта ошибка была допущена еще быть может и потому, что в редакции «Волны» нет, как мне из-известно, слишком утонченных аристократов, которые ругаются не хуже простых смертных, но ругаются очень вежливо и деликатно. Вполне возможно, следовательно, что они, эти простые смертные, и не заметили этой «ругани» в статье Худолея. И, словами Ибсена надо оправдать этих смертных:

«Простится то, чего не можешь,
Но не простится то, чего не захотел».

Ничего другого, более страшного, в этой статье нет. Нет также личных оскорблений. Статья написана только в резком духе. Но если бы это была даже и личная ругань (хотя это совсем недопустимая в печати вещь), то в некоторых случаях эту ругань можно было бы даже оправдывать в качестве меньшего зла. Всякая ссора, всякая ругань — дело очень плохое. Но если отношения между теми или иными товарищами являются несколько острыми и натянутыми, мне думается в этом случае, что лучше уж поссориться и даже выругать друг друга, нежели устраивать какие нибудь... кулачные расправы.

Я понимаю, почему редакция «А. В.» не нашла возможным ничего ответить Худолею по существу затронутых им вопросов. Ей просто нечего было сказать. А к чему можно «придраться», к этому постаралась придраться Берлинская группа. Она протестует против ругательств, протестует против нарушения принципов анархической этики и не замечает, очевидно, того, что она и сама нарушает эти этические принципы, нарушает даже простое понятие чести.

Для того, чтобы «опровергнуть» заявление Худолея о переходе синдикалистов к большевикам, Берлинская группа заявляет, например, без всякого стеснения, что эти ренегаты находились также и в рядах анархо-коммунистов, указывается в этом случае на Александра Ге и братьев Гор-

диных. Это уже совсем не морально. О ренегатстве А. Ге вопрос и до сих пор еще остается спорным. Есть очень много оснований думать, что А. Ге никогда не был ренегатом. Если же у Берлинской группы имеются по этому вопросу какие либо данные, их необходимо опубликовать в печати. Обвинять же мертвого без веских оснований ни в коем случае нельзя, ибо мертвые не могут отвечать живым.

Что же касается «братьев Гординых», то этот «довод» является уже умышленным и нечестным. Гордины никогда не были ни коммунистами, ни анархистами вообще. И никто из русских анархистов не считал их таковыми. Правда, у них были свои последователи и поклонники, что-то около 5 человек («союз пяти угнетенных»), но ведь и всякий дурак имеет на нашей грешной земле своих поклонников и последователей. Нельзя, следовательно, приводить подобных «доказательств», а тем более в то время, когда указывают на грехи другого. Гординых можно было бы назвать анархистами только в том случае, если бы, например, редакцию «А. В.» и Берлинскую группу можно было бы называть не их собственными именами, а корпорациями ученых, философов или художников. Но это ведь абсурд!

Нельзя, следовательно, Берлинской группе писать для кого то уроки морали, если она сама не является образцом нравственной чистоты и нравственного поведения. Следует помнить слова Р. Роллана: «Если ты хочешь освещать жизнь другим, ты должен сам быть солнцем».

И нечего обижаться на редакцию «Волны», если она совершила только одну ошибку, а не две. А напечатать этот урок «морали» — это и означало бы совершить еще одну ошибку...

* * * *

Горбунову тоже не нравится ссора. Он называет её болезнью. Но как от неё излечиться? Горбунов решил, повидимому, что самому надо заболеть для этого этой болезнью. Переживешь её — будет не опасной. И Горбунов пи-

шет статью, пишет против Худолея. Он посылает её в редакцию «Волны», но редакция отсылает эту статью обратно. И Горбунов пишет жалобу на «Волну» в редакцию «А. В.», который печатает эту жалобу, выражает сочувствие «пострадавшему», печатает также произведение Горбунова. Зачем, в самом деле, писать после этого редакции «А. В.» особый ответ Худолею, когда против него пишет и группа, и Горбунов. Нападать же втроем на одного несколько даже стыдновато.

Против чего выступает Горбунов? — Он восстает, прежде всего, против разъединенности, которую проповедует, по его мнению, Худолей. О каком объединении говорит Горбунов? Анархисты-коммунисты довольно хорошо ведь объединены и организованы. Это наблюдается в России и в Америке. Если же появляются на свет Божий какие либо мелкие новые группки (в полтора человека), то не может же ведь всё наше движение присоединяться к этим новорожденным группкам. Если эти группки имеют искреннее желание работать в движении, то они сами должны присоединяться к общей работе. Какое же другое объединение необходимо этим группкам? И если эти группки не принимают участия в общей работе, значит, у них нет и желания работать в общем деле. Зачем тогда и разговаривать о каком то объединении? Хуже всего то, что они хотят занять в движении какую то руководящую роль и начинают вмешиваться в «чужие дела». Сами ничего не делают, мешают и другим в работе. Не это ли называется «объединением»?

В своей критике «объединенного» анархизма и синдикализма Худолей разумеется прав. И в этой критике нет ничего оскорбительного. Но этой критики не понял Горбунов; не понял, очевидно потому, что он является «простым малограмотным рабочим». С одной стороны, если он не понял этой критики, это быть может и так, а с другой же стороны, мне что то не верится, чтобы его статья была написана малограмотным рабочим. Кто знает, быть может за его именем скрывается кто то и более грамотный.

Критики Худолея он не понимает, а критиковать Худолея берется. Когда Худолей, более компетентный в экономических науках, нежели Горбунов, говорит о том, что после революции «некоторое время и в некоторых местах *вероятно* будет существовать денежная система», здесь Горбунов оказывается не малограмотным человеком, а, если хотите, экономистом и начинает критиковать эти *предположения* Худолея, принимая их за чистую монету. Худолей, видите ли, «не знаком ни с капиталистической системой, ни с революционной борьбой трудящихся и место таким героям не в анархических рядах, а в кадетских или меньшевистских». Хороший, значит, малограмотный, когда дает уроки экономики Худолею!

Горбунов упрекает Худолея в непонимании махновщины. Но кто знает, быть может Худолей, находясь в России, знает об этом движении несравненно больше, нежели сам Горбунов. Книга Аршинова еще не авторитет. Эту книгу оценивают разно и критики (тот же Худолей, М. Мрачный, Е. З.). И не следует вмешиваться кому бы то ни было в дело критики той или иной книги: это дело критиков и автора книги. Пусть они выясняют истину. И если русские анархисты (и Худолей в том числе) не приняли участия в этом движении, то у них были вероятно, в этом отношении какие либо серьезные соображения. Все это выяснится в будущем.

Когда же Горбунов, желая, очевидно, принять на себя обязанности адвоката редакции «А. В.», спрашивает Худолея, где находился он в такое то и такое то время, что делал, то эти вопросы кажутся мне совсем уже не анархическими. Это уж допрос человека; эти вопросы относятся ведь к личной жизни. Это самая подлинная болезнь.

Во-первых, Горбунову можно было бы ответить так: а вам-то какое дело, где были люди и что делали? И кто вы такой, что берете на себя смелость спрашивать людей об этом? А во-вторых, если все анархисты будут спрашивать друг друга, где кто был, что делал, чем занимался, каково было поведение, в каком доме жил (советском или

частном), на ком женился, мы в этом случае дойдем Бог знает до чего. Низость и пошлость. Такие вопросы свойственны только деревенским бабам-сплетницам, а не серьезным людям. Правда, последних вопросов не задает Горбунов Худолею, но такие люди, кажется, имеются.

Да, болезнь тяжелая, но излечитесь сначала сами, а потом уже начинайте лечить и других. Иначе этой болезнью заражаются и здоровые люди...

НЕСКОЛЬКО СЛОВ

(Ответ Волину)

В июльском номере «Волны» появилась статья Волина, по поводу которой я и считаю необходимым сказать несколько слов. Прежде всего, мне хочется сказать, что я не в состоянии ответить Волину на все затронутые им вопросы; это было бы невозможно для меня ни логически, ни физически. Объясняется всё это, вероятно, тем, что в статье Волина затронуто «многое множество» вопросов, не имеющих между собою ни связи внутренней, ни связи внешней. Здесь и анархизм, и критицизм, и скептицизм, и философия, и библиофильство. Здесь речь идет не только о моей статье, но речь идет и о других статьях. Даже больше этого: сюда относится Москва, сюда относится и дом Советов, сюда относятся и «славословы Ленина». Таких статей еще никто, кажется, не писал. Для этого и в самом деле надо иметь какой то «синтетический» склад ума. Но у меня нет такого синтетического мышления. И я должен сознаться, что писание таких статей — мне не по силам. Таких статей писать я не умею. Я ограничусь, поэтому, только немногими замечаниями.

Прежде всего я должен сказать следующее: на целый ряд предъявленных мне обвинений (демагогия, неискренность, нечестность, «обрабатывание» читателей) я не считаю для себя возможным писать даже и двух слов. Я не желаю уверять читателей, что я — безгрешный, искренний и честный человек, а все остальные люди — какие то лжецы и лицемеры. Я полагаю, в данном случае, что клятвами и уверениями нельзя ничего доказать. Я не могу иметь та-

ких возвышенных суждений о себе, и таких низких суждений о других людях. Пусть люди думают обо мне что угодно. Пусть они имеют обо мне самые низкие суждения и, тем не менее, я никогда не буду уверять их клятвами, что я — не низкий человек, а человек — возвышенный.

Напрасно Волин думает, что у меня было желание «стереть его с лица земли». У меня не было этих желаний и намерений. У меня не было для этого решительно никаких оснований. У меня не было никакого желания вступать даже в какую бы то ни было полемику с Волиным. Я не такой уж праздный человек, чтобы мог заниматься какой то полемикой. И, когда я писал свою статью об анархизме и скептицизме, — моя задача была очень скромная. Мне хотелось только указать на то, что философская часть статьи Волина является совсем несостоятельной. И моя критика статьи Волина была лишь некоторой гносеологической критикой. В своей статье я не касался, например, совсем всех социально-политических суждений Волина. Об этом я и не хотел писать. Все эти вопросы и суждения меня интересуют мало. И всякие суждения Волина, относящиеся к этим социально-политическим вопросам, имеют для меня второстепенное значение. Этим вопросам — грош цена. И вся эта политика есть для меня мещанство. Этим и объясняется, повидимому, мое поверхностное отношение ко всякому мещанству и к политике. И если люди пишут иногда о разных социально-политических вопросах, и не заглядывают никогда в глубинные основы Бытия, у меня нет в этих случаях никаких желаний писать что либо против них. И все писания этих людей являются для меня только какой то словесной гимнастикой. И если бы я, или кто либо другой, стал возражать им на все эти суждения и писания, тогда и в самом деле пришлось бы оказывать много чести всем этим мещанам и политикам.

Но все мои искания лежат в иной плоскости. Они лежат не в плоскости мещанской, а в плоскости бытийной, в плоскости онтологической. Свое миросозерцание я не хочу склеивать из разных черепков. Для этого надо иметь какой

то мозаичный склад души. Для этого надо быть типичным мещанином. Мещанская душа живет двумя лишь измерениями: она не знает глубины, она не знает цельности. Поэтому то каждый мещанин живет лишь только в плоскости и склеивает свое миросозерцание из всевозможных пестрых черепков. Но мне все это чуждо. Политика, мещанство и политические писания меня интересуют мало. И не могу я тратить время на всякую полемику с политиками и мещанами. И, если я подвергнул некоторой критике статью Волина, то я подвергнул этой критике только ее философскую часть. Когда люди занимаются разной словесной гимнастикой в сфере политики, — это меня нисколько не касается. Когда же свою гимнастику они переносят в сферы более серьезные, хотя бы в сферу философии, — всё это и вызывает во мне какие то очень досадные чувства... Это обстоятельство и заставило меня написать статью против философствований Волина.

Вторая статья Волина начинается с эпиграфов. Этими эпиграфами ему хотелось, вероятно, подкрепить свои шатающиеся синтетические суждения. Но все эти эпиграфы не имеют для меня абсолютно никакого значения. Лаказ-Дютье не является для меня авторитетом. Еще меньшим авторитетом является для меня журнал Берлинских анархистов. Не убеждают меня также в состоятельности волинского синтеза и все подчеркнутые фразы. Если бы даже вся статья Волина была написана курсивом, то и это мне еще ничего не доказывало бы.

Меня очень огорчает то обстоятельство, что Волин имеет очень плохие суждения о наших товарищах и читателях. Он сомневается в моей искренности, сомневается в искренности и других товарищей. Только себя он называет, очевидно, искренним. В конце своей статьи он говорит только о некоторых искренних товарищах. Все остальные для него, повидимому, люди несерьезные. Впрочем, они другими и не могут быть, если их может кто нибудь «обрабатывать». С его точки зрения, все наши читатели делятся на два лагеря: читатели волинские и мои читатели. И

такое плохое суждение Волин имеет, разумеется, о моих читателях. Его читатели — другие. Читателей Волина нельзя, повидимому, «обработать». Волин пишет, например, что, излагая чужие мысли и учения, он не считал нужным упоминать никаких имен, так как учения эти известны всем людям. Достаточно, например, по его мнению, написать «вещь в себе» и всем будет понятно, что речь идет о Канте. Достаточно написать по-гречески «панта-рей» и всем будет известно, что речь идет о Гераклите. Достаточно написать по-латински «cogito, ergo sum» и всем будет известно, что речь идет о Декарте. Таковы читатели Волина. Они знают философию, они читают по-гречески и по-латински. Мои читатели — не знают ничего; их можно «обрабатывать демагогически». Так почему то думает Волин. Если же у нас читатели одни и те же, то положение вещей мне представляется в ином виде. Если все наши читатели принадлежат к типу «обрабатываемых», если они не знают Канта, Гераклита и Декарта, тогда Волин обязан был указывать, чьи изречения он пишет и чьи учения он излагает. Если же наши читатели знают Канта, Гераклита и Декарта, тогда он не имел права даже и думать (а тем более писать), что я хочу их «обрабатывать» демагогически». В таком случае и сам Волин принадлежит к числу этих «обрабатываемых».

В своей первой статье я указал на то, что Волин излагает чужие мысли и чужие учения. Это я подтверждаю и сейчас. Хотя Волин и думает, что он излагал свою точку зрения, и разные философские положения были лишь иллюстрациями к его доводам, я все же не согласен с этим. В статье Волина нет ни одной оригинальной мысли. Это мнение я подтверждал в своей статье самыми разнообразными цитатами. Сейчас я не считаю нужным приводить вторично разные цитаты для нового подтверждения своего мнения. Сознательно это делал Волин или несознательно, я, разумеется, не знаю этого. Я знаю только то, что он не указал ни одного имени кроме Декарта, на учении которого он почти и не останавливался; он остановился на греческих школах. Статьи так никогда не пишутся. Нельзя писать так

просто. Нельзя предполагать, что читатели сами догадаются, о чем идет речь. Я очень склонен думать, что очень немногие из них читают по-гречески и по-латински, что очень немногие из них знают Канта, Гераклита и Декарта. Другие же читатели едва ли смогут догадаться, о чем пишет Волин. Для большинства из них вопросы философии являются, быть может, какой то китайской азбукой. Впрочем, догадываются читатели о чем пишет Волин или же не догадываются, — это меня нисколько не касается. Я полагаю, что я имел полное право высказать свое мнение о статье Волина. Это я и сделал. Читатели здесь не причем. Читатели есть читатели, а мое мнение есть мое мнение. Вещи, кажется, совершенно разные.

В статье Волина есть одна мысль, которую можно назвать отчасти его мыслью: это его синтез. Строго говоря, и эта мысль — старая. Но я об этом не писал и не намерен был писать. Этот вопрос — вопрос пустячный. И я не знаю, разумеется, чем руководствовался Волин, когда он излагал все эти мысли и учения; незнанием или какой то демагогией, о которой, впрочем, я совсем не говорил. Этого я не хотел и не хочу знать. Я считаюсь только с фактами. Всякие подозрения мне совершенно чужды.

И когда Волин заявляет, что он никогда не подвергал критике анархические принципы и идеалы, что он не касался никогда вопросов этики, что он не претендовал на изложение нового учения, что он нигде не говорил читателям о научном и философском обосновании анархизма, что он нигде не претендовал на построение новой системы, я в этом случае не знаю, как ответить Волину. Если от всего этого Волин сейчас отказывается, тогда передо мною появляется следующий вопрос: о чем же писал Волин? Писал из за любви к искусству? Занимался в самом деле только словесной гимнастикой? Всё это мне совершенно не понятно. Если он ни о чем не писал, тогда он прав, конечно, когда говорит мне, что моя «тяжелая артиллерия» бьет мимо цели. С этим согласен в этом случае и я: я был уверен, что передо мною имеется некая цель, имеется нечто реальное,

но всё это в действительности оказалось только каким то миражем. И мне пришлось стрелять, таким образом, только в пустое пространство.

Впрочем, всё это не так. Передо мною не было этого пустого пространства; передо мною была некая реальность. Когда Волин писал свою статью, он очевидно нечто утверждал; наряду с этим Волин и отрицал также нечто. Законы логики ведь таковы, что отрицание предполагает утверждение, а утверждение предполагает отрицание. Нечего, следовательно, заявлять Волину, что он ничего не отрицал и ничего не утверждал. Нельзя допустить мысли, чтобы Волин не знал этих простых законов логики. В противном случае его писания являлись бы только набором слов. Но всё это не так, конечно. В его статьях имеется и отрицание, имеется и утверждение. В других местах Волин указывает постоянно на несостоятельность современного анархического учения; анархизм для него еще не обоснованная научно система; во всех писаниях своих он проповедует какую то синтетическую теорию (надо думать, что научную) и всё же заявляет почему то, что он не отрицает ничего и ничего не утверждает. Всё это, конечно, не серьезные суждения. Так можно писать лишь в том случае, если человеку хочется просто отделаться от надоевших ему «критиков». Не всё ли равно, в сущности, что им сказать? Вполне понятно, следовательно, почему и Волин заявляет, что он ни о чем не писал, и что мои суждения к нему совсем и не относятся.

Я не знаю также и того, трагически ли Волин вопрошал о истине, хотелось ли ему жаловаться на текучесть бытия, хотелось ли ему «пускать пыль в глаза читателям», хотелось ли ему рядиться в тогу софиста? Желания человека ко мне не относятся. Ко мне относится только то, что есть в действительности. И вся моя «тяжелая артиллерия философии» сводилась не к критике желаний и намерений Волина, а к критике действительности, к критике высказанных мыслей.

Что касается знания слова «синтез», то я должен сказать на это, что оно употребляется именно в смысле логи-

ческом или диалектическом (не говоря, конечно, о химическом его значении). Если же оно употребляется в других смыслах, то это есть лишь обывательское и примитивное понимание синтеза. И если Волин называет синтезом «обобщение» и «гарномическое сочетание разрозненных явлений и понятий», такое понимание синтеза есть обывательское понимание. Но это не есть синтез. Науку и философию еще возможно синтезировать. Но здесь возможно только синтезирование. Но даже в этой области совсем немыслим синтез. Синтезирование и синтез — понятия разные. И очень жаль, конечно, если Волин думает, что это — одно и то же. Что же касается других явлений, явлений, скажем, социально-политических, то всякое «обобщение» этих явлений нельзя назвать даже и синтезированием. Это «обобщение» будет являться лишь произвольным смешиванием разных вещей и понятий. И само собою разумеется, что результатом этого «обобщения» будет не гармония, а лишь искусственно произведенный хаос. Не все явления, ведь, поддаются гармоническому обобщению. В склеивании различных черепков я вижу не синтез и не гармоническое обобщение их, а самую бессмысленную работу. Этой работой может заниматься только тот, кто не в состоянии создать ничего целого и нового. Эту работу, видимо, и исполняет Волин. И хуже всего то, что эти кучи разных черепков он называет синтезом. Свое же смешивание и склеивание их он называет теорией синтеза. Если бы он сознался в этом раньше, о всей этой теории никто не стал бы, разумеется, и разговаривать. И пусть себе он занимался бы игрою в эти черепки. Но раньше всё это представлялось чем-то более серьезным. Теперь же оказалось, что не только его философия, но даже вся его теория синтеза была лишь платьем андерсеновского короля. Все его подданные думали, что у короля какое то волшебное платье, а этот король-то оказался голым...

Об искании истины можно сказать следующее. Если Волин только констатирует истину, а не оправдывает и не принимает ее, тогда и все искания ее являются бессмыслен-

ными. И все искания ее будут являться в данном случае уже не внутренней необходимостью, а лишь исканием ее из за любви к искусству. Истину нельзя назвать только фактом или же «вещью в себе». В истине есть нечто безусловно должное. Истину мы не можем отрицать. Если же мы отрицаем и не принимаем истину, она для нас не истина. В этом вопросе как раз и смешиваются две проблемы: проблема сущего с проблемой должного. Но Волин думает, повидимому, иначе. Проблему истины он очевидно сравнивает с проблемой этики, где можно отделить вопросы сущего от всех вопросов должного. Он думает, повидимому, что это же разграничение возможно и в вопросах истины. Не даром он обрушился даже на Гегеля, что тот смешал проблему сущего с проблемой должного. И когда Волин проводит эти же разграничения в вопросах истины, вся его истина оказывается мифом. Он констатирует и отрицает истину. Это и в самом деле возможно может быть для Волина. Ни для кого другого это невозможно. Мы не можем отрицать истину. Отрицанием истины мы утверждаем неистину. И если мы иногда ищем или создаем истину, всё это делаем мы ради принятия ее и ради ее утверждения. Если же истина будет только сущим, а не должным, она не будет для нас истиной. Она будет только каким то «куском жизни». Вот в этих то кусках жизни нельзя смешивать вопросы сущего с вопросами должного. Но это не имеет отношения к понятию истины. И если Волин упрекнул меня в смешивании двух этих понятий, я склонен думать в этом случае, что о природе истины он просто не подумал.

Нравственный абсолют и абсолют вообще для меня тесно связаны с понятием истины. Если же эти понятия не имеют ничего общего с истиной, тогда в основу этой истины положено — ничто.

Еще несколько слов о заключении статьи Волина. Это заключение меня не может оскорбить. Мне только очень жаль, что Волин так компрометирует себя подобными унизительными для человека писаниями. Теряет всю свою серьезность и начинает заниматься какими то жалкими вы-

мыслами. Это, ведь, очень унижает человека; подобные писания делают человека смешным. Я никогда не мог допустить мысли, что Волин может опуститься в такие грязные низины. Он говорит еще после этого, что я желаю дискредитировать и опорочить его имя. Наоборот, мне хотелось бы сейчас очистить Волина от всей этой грязи, в которую он окунулся, но я всё больше убеждаюсь в том, что ему нравится это нравственное болото, и что в этом болоте Волин купается совершенно сознательно. И заключение его статьи вызывает во мне только чувства сожаления... Ничего другого я и не могу сказать об этом заключении.

1924

КАНДИДАТ В ЧЕКИСТЫ

В октябре месяце прошлого года П. Аршинов выпустил в свет брошюру (16 страниц) под заглавием «Анархизм и диктатура пролетариата». Эту брошюру Аршинова следует назвать «Платформой № 2», так как она является дополнением к его «Организационной платформе», опубликованной в 1926 году.

В брошюре Аршинова, в сущности, нет ничего нового. Кто внимательно читал его «Организационную платформу», тот видел, что она является только предисловием к настоящей платформе. Читая «Организационную платформу» Аршинова, каждый идейный анархист знал, что Аршинов не сказал в ней *самого главного,* и что он рано или поздно должен будет выпустить вторую платформу и показать в ней свое подлинное лицо.

Так это и случилось. Через 5 лет после появления «Организационной платформы» он выпустил в свет вторую платформу, в которой довел до логического конца свою основную мысль о власти и государстве.

Говоря о своей «Организационной платформе», Аршинов пишет следующее:

«Со времени выхода в свет «Организационной платформы» (1926), на меня с разных сторон посыпались обвинения в стремлении большевизировать анархизм, подменить его безвластную природу властническими положениями».

Это, конечно, верно. Когда вышла в свет «Организационная платформа», все видные европейские анархисты отнеслись к ней отрицательно и заявили, что она противоречит основным принципам анархизма и по существу является не анархической, а большевистской платформой.

Аршинов, однако, не соглашался с подобной оценкой его уродливого детища и продолжал утверждать, что он написал свою платформу не для того, чтобы разлагать анархическое движение, или подчинить его Коминтерну, а чтобы укрепить и расширить его.

Аршинов клялся всеми своими святынями, что он является стопроцентным анархистом, и что он чувствует себя страшно оскорбленным, когда некоторые анархисты заподозревают его в соучастии большевизму.

И вот, вместо того, чтобы опровергнуть все обвинения и подозрения, Аршинов во второй своей платформе заявляет, что анархисты были правы, когда обвиняли его в умышленном разложении анархического движения. В своей брошюре Аршинов открыто исповедуется перед анархистами: да, я со времени выхода моей «Организационной платформы» *тайно* работал в пользу большевизма, тайно разлагал анархическое движение, но так как моя долголетняя работа в ваших рядах не увенчалась успехом, то я сейчас срываю со своего лица анархическую маску и открыто заявляю о свооем уходе в большевистский лагерь.

Ветеран анархического движения Э. Малатеста писал после выхода платформы, что людям, подобным Аршинову, не дают покоя успехи большевиков, а поэтому они стремятся не к устройству анархической революции, а к установлению анархической... диктатуры. Аршинов возмущен, конечно, заявлением Малатесты и говорит, что его уход в лагерь большевиков объясняется не завистью к большевикам, а полной несостоятельностью современного анархизма. «Думать и говорить так, — заявляет Аршинов, — значит не знать, чем рабочие больше всего жили, находясь в рядах анархизма. И этим незнанием и непониманием болеет не только Малатеста, но большинство теоретиков современного анархизма».

Что же этим хочет сказать Аршинов? Он хочет сказать, что если бы Малатеста, Неттлау, Грав и другие видные анархисты лучше знали анархизм (так, как знает его Аршинов) и чаяния рабочих, то они тоже отряхнули бы анар-

хический прах со своих ног и начали бы служить верой и правдой Коммунистическому интернационалу, а может быть, поступили бы на службу даже в ГПУ для защиты «диктатуры пролетариата» от всех явных и тайных врагов. Почему же Аршинов стал поучать уму-разуму Малатесту, пробывшего в рядах революционных рабочих свыше 50 лет? Да потому, видите ли, что Малатеста не знает трудящихся, не знает того, чем живут рабочие. Малатеста, Неттлау и другие ветераны анархического движения проповедуют просто «анархизм», в то время как этот анархизм является какой то фикцией. Подлинный анархизм, по мнению Аршинова, это не просто анархизм, а «анархизм рабочий». А этот «рабочий анархизм», неведомый Малатесте, по своей природе является не анархическим, а государственно-диктаторским. Поэтому, «рабочий анархизм» и выступает в защиту диктатуры пролетариата.

Так, приблизительно, Аршинов объясняет свой переход в лагерь большевиков. Но это, конечно, простая игра слов. 9 лет тому назад, когда Аршинов писал громовые статьи против русских анархо-большевиков, он говорил, что эти люди перешли к большевикам не по идейным соображениям, а просто потому, что они никогда не были подлинными анархистами, и что свои шкурные интересы они ставили выше идейных и общественных интересов. Аршинов назвал этих людей (Новомирского, Забрежнева, Сандомирского, Гроссмана, Шатова и других) самыми подлыми и низкими людьми и предлагал выметать их железной метлой из анархического движения.

Всё это теперь нужно сказать и о самом Аршинове. Он, подобно вышеупомянутым лицам, ушел из анархического движения, очевидно, потому, что никогда не был настоящим анархистом и не знал анархизма: а если и знал его, то знал по изложению Плеханова, Ленина и... Дзержинского. Не исключена также возможность и того, что он еще до выпуска своей платформы работал в анархическом движении в качестве большевистского агента.

О русской революции Аршинов пишет следующее:

«Русская революция 1917 года явилась первым генеральным испытанием для анархизма... Необходимо было указать ближайшие этапы ее развития. Необходимо было предложить конкретный план ее осуществления и укрепления. Всё это необходимо было тем более сделать, что в 1917 году народилась новая сила, поставившая социальную революцию в порядок дня — большевизма. Последний выдвинул свою формулу социальной революции, которая во многом отличалась от формулы традиционного анархизма. Спор между анархизмом и большевизмом пошел о *путях революции,* о методах ее осуществления и защиты. И я считаю, что именно на этой почве анархизм понес жестокое поражение, от которого никак не может оправиться и последствием которого является упадок анархического движения во всех странах».

«В самом деле, — большевистская формула социальной революции, изложенная в брошюре Ленина «Государство и революция», — чрезвычайно проста и ясна: капиталистические классы и их государство ниспровергаются, собственность их отбирается в общенародное достояние, но физически и социально-эксплуататорские классы остаются со всей силой своего сопротивления, со своими стремлениями и попытками реставрировать низвергнутый капитализм. Для подавления этого сопротивления и этих попыток победивший в революции рабочий класс создает систему диктатуры, которая защищает революцию на весь период социалистического строительства, вплоть до момента, когда буржуазия перестанет существовать, как класс.

«Эту формулу социальной революции анархисты отвергли. Они исходили из той мысли, что создание в революции диктатуры, как государственной системы рабочего класса, неизбежно приведет к делению самого рабочего класса на властвующих и подчиненных, вызовет к жизни привилегии и монополии и возродит, таким образом, прежний строй политического и социального неравенства, против которого боролся порабощенный рабочий класс».

Подобную анархическую точку зрения Аршинов считает неправильной, несмотря на то, что все предсказания русских анархистов относительно диктатуры пролетариата оправдались на 100%. Как известно, «диктатура пролетариата» давно уже выродилась в России в диктатуру над пролетариатом, в диктатуру коммунистической партии, вернее в диктатуру вождей этой партии. При этой диктатуре, вернее охлократии, в России существует такое же неравенство, какое существовало до революции, ибо как до революции существовали привилегированные классы и группы, так существуют они и сейчас.

Аршинов, однако, принимает целиком формулу Ленина, изложенную им в брошюре «Государство и революция», и повторяет вслед за Лениным, что подобные явления перестанут существовать в будущем... когда перестанет существовать буржуазный класс.

Ленин написал свою брошюру в тот момент, когда в России быстро разросталось анархическое движение и когда почва под диктатурой коммунистов сильно колебалась. Написал он свою брошюру, конечно, не для коммунистов, а для анархических дураков, пытаясь подкупить их разговорами о том, что коммунисты рассматривают диктатуру как временное явление, связанное с переходным периодом, и что конечной их целью является анархическое устройство общественной жизни. Так как диктатура находилась тогда еще в младенческом возрасте, то Ленин, конечно, мог говорить о ней что угодно. И некоторые анархические дураки поверили его заявлениям, что диктатура будет отменена после уничтожения буржуазных классов, и что коммунистическая партия приступит к постройке анархического общества.

Если бы к этим дуракам присоединился тогда и Аршинов, в этом не было бы ничего удивительного. Но он принял формулу Ленина не тогда, когда можно было заниматься гаданием по поводу ее правильности или ложности (брошюра Ленина была напечатана, кажется, в 1918 году), а много лет спустя, когда диктатура вылилась в самые чудовищные и отвратительные формы, когда она превратилась в под-

линный деспотизм, в то время как по формуле Ленина она должна отмирать наряду с отмиранием буржуазных классов. Если принять формулу Ленина, то нужно сказать, что раз в России не существует буржуазного класса (промышленников, помещиков, банкиров и коммерсантов), то не должно быть и диктатуры. Но мы хорошо знаем, что диктатура в России не отмирает, а укрепляется. Поэтому не приходится говорить о правильности формулы Ленина. Ленин и сам знал, что его формула — ложная, но он пользовался ею в качестве приманки для ловли анархических дураков. И если Аршинов принял эту ложную формулу только теперь, то это свидетельствует о том, что он либо никогда не был анархистом, либо является архи-дураком.

Если Аршинов не архи-дурак, то почему он в течение 14 лет отвергал эту формулу и разглагольствовал об анархизме? Почему он не присоединился к первым анархическим дуракам и предателям, переползшим в коммунистическую партию в 1918 году? На эти вопросы Аршинов, к сожалению, не дает ответа, а поэтому трудно установить, кем он был до сих пор — архи-дураком или большевистским агентом.

Его брошюра свидетельствует только о том, что в настоящее время он является страстным защитником большевистской диктатуры и Чека. В своей брошюре он говорит не о своем банкротстве, а о банкротстве анархизма. «Пролетариат России это чуял, — пишет он, — поэтому он, в огромной массе своей, пошел не за анархистами, а пошел по пути организации классового господства труда над капиталом». По его мнению, «анархическое безвластие» (!) неосуществимо без диктатуры, без Чека, без физического истребления всех врагов революции. «Революционный анархист, — пишет Аршинов, — не должен отступать перед тем фактом, что система диктатуры означает систему власти и, следовательно, противоречит анархической теории безвластия. Следует всегда помнить о том, что и самые лучшие теории должны проходить через контроль жизни. Анархическая теория бесклассового и безвластного общества на

другой день социального переворота потерпела полное поражение, и в этом надо открыто сознаться. В споре о роли *пролетарского государства* в революции прав оказался Маркс и Ленин, а не Кропоткин. Должно, однако, заметить, что и Кропоткин к идее пролетарского государства, в том смысле, как эту идею разработал Ленин в брошюре — «Государство и революция» — относился, по свидетельству Вл. Бонч-Бруевича, сочувственно».

Аршинов, таким образом, предлагает анархистам стать государственниками, отказаться от основных принципов анархизма и, под руководством Коминтерна, стремиться к захвату власти.

Нам понятно, разумеется, преклонение Аршинова перед Марксом и Лениным. Аршинов преклоняется перед этими «теоретиками» потому, что хочет выслужиться перед Сталиным и получить хотя небольшое вознаграждение за свою иудину работу (хотя 30 сребренников!). Непонятно только вот что: зачем Аршинову понадобилось ссылаться на Кропоткина и заявлять, что Кропоткин относился сочувственно к ленинской идее пролетарского государства? Неужели Аршинов думает, что среди анархистов найдутся такие лица, которые примут за чистую монету его ложь, или болтовню В. Бонч-Бруевича?

Кропоткин до глубины души ненавидел большевистскую диктатуру со всеми ее варварскими институтами (подобными Чека) и заявлял своим друзьям, что большевики разрушат Россию и установят на ее развалинах такой деспотизм, какого не существовало на земном шаре со времени инквизиции.

Не выдерживает также никакой критики ссылка Аршинова на Бакунина. Бакунин высказывал мысль о революционной диктатуре не тогда, когда он был анархистом и принимал деятельное участие в Международном Товариществе Рабочих, а в конце сороковых годов, когда он был только бунтовщиком. Насколько Бакунин в последние годы своей жизни ненавидел всякую власть и всякую диктатуру, видно из того, что он вел ожесточенную борьбу даже про-

тив абстрактной божественной власти. Можно ли в таком случае допускать мысль, что Бакунин признавал власть политическую и хотел стать диктатором? До такой глупости могут договориться либо архи-дураки, либо люди, не имеющие ни малейшего представления об отношении Бакунина к власти и государству.

«Современные анархисты в массе своей, — пишет Аршинов, — отказались признать эпоху диктатуры пролетариата, как историческую неизбежность. Этим они оторвали себя от процесса социальной революции и обрекли на бесплодное прозябание в своих малочисленных группах. Это отчетливо видно на судьбе русских анархистов. Несмотря на их самоотверженность, на бесчисленные жертвы, понесенные ими в революциях 1905-6 годов и в 1917 году, несмотря на необычайный революционный подъем рабочих и крестьян, устремлявшихся к социальному перевороту, русские анархисты не создали ни в рабочей, ни в крестьянской среде сколько нибудь прочного анархического движения, не оставили следов своих идей.

«Встав в оппозицию к идее диктатуры пролетариата, они не противопоставили этой идее ничего самостоятельного и серьезного, что могло бы организовать массы на анархической платформе и повести их по анархическому пути. И не удивительно: даже между собою анархисты никогда не могли договориться до чего либо определенного и однородного ни в идеологической, ни в практической области».

В этом заявлении нет ни слова правды. Русские анархисты не оторвали себя от революции, как заявляет Аршинов, а принимали в ней деятельное участие. Анархическое движение в России в 1917 и 1918 годах развивалось с чудовищной быстротой. В одной только Всероссийской Федерации Анархистов в 1918 году насчитывалось свыше 5.000 членов. А сколько было в то время в России таких групп, о существовании которых не знали ни московские, ни петроградские анархисты? Сколько было анархических крестьянских общин и промышленных анархических артелей? Ар-

шинов, конечно, не видал этих групп, общин и артелей, ибо он не играл никакой роли в русском анархическом движении, за исключением махновского. Никто в России не знал Аршинова и Аршинов никого не знал. Поэтому он и заявляет, что русские анархисты не оставили следов своих идей в рабочей и крестьянской среде.

Русская революция не пошла по анархическому пути не потому, что анархисты отказались признать диктатуру пролетариата, а именно потому, что многие из них *поддержали эту диктатуру* и позволили ей укрепиться. Если бы в России не было этой диктатуры и анархисты, как и после фовральской революции, имели возможность вести свою пропаганду среди рабочих и крестьян, то в настоящее время в России вероятно строилась бы общественная жизнь на анархических началах. Большевистская же диктатура вероломно разгромила до основания русское анархическое движение и растоптала даже тех анархистов, которые раболепно поддерживали и защищали ее. Аршинов, таким образом, умышленно искажает действительность и пытается сделать белое черным, а черное белым. Делает он это, несомненно, для того, чтобы оправдать как нибудь свое пресмыкательство перед той самой диктатурой, которая задушила русское анархическое движение.

Ошибка русских анархистов заключается не в том, что они не поддержали большевистскую диктатуру, а в том, что они не взорвали ее в первые дни ее существования и не очистили свои ряды от предателей, подобных Аршинову. Если бы они это сделали, то русская революция, несомненно, пошла бы по анархическому пути, и Россия сегодня была бы свободнейшей страной в мире.

В заключительной части своей брошюры Аршинов советует русским и европейским анархистам создать единый фронт с большевиками и пересмотреть свое отношение к диктатуре пролетариата и пролетарскому государству.

Это предложение заслуживает внимания. Анархистам, действительно, следует пересмотреть эти вопросы, если они не хотят повторять ошибок русских анархистов. И в ре-

зультате пересмотра этих вопросов, они должны укрепить свои подлинно-анархические позиции и объявить *священную войну* не только разбойникам-большевикам с их диктатурами и государствами, но и тем предателям, которые известны в их рядах под именем анархо-большевиков. Этих реакционеров и врагов трудящихся нужно выметать железной метлой из анархического движения. Их место не среди анархистов, а среди чекистов, погромщиков и других темных сил, которые рано или поздно будут сметены трудящимися с лица земного шара.

БОЛЬШЕВИСТСКИЕ АГЕНТЫ ЗА РАБОТОЙ

Аршинов

В течение нескольких последних лет П. Аршинов вел ожесточенную борьбу с газетой «Рассвет» и теми русскими рабочими организациями, которые группируются вокруг этой газеты. Было время, когда почти все страницы аршиновского журнала «Дело Труда» заполнялись «разоблачениями» «Рассвета» и рассветовцев. Чего только ни писал Аршинов в своих «разоблачениях». Он, как настоящий иезуит, пользовался всеми средствами, чтобы разгромить русские рабочие организации в Америке и «угробить» их орган. В своих разоблачениях он писал, что «Рассвет» — капиталистическая, фашистская, церковная, антисемитская и буржуазная газета, а поэтому её должны бойкотировать все честные рабочие. Само собою разумеется, что все эти «разоблачения» не имели под собою никаких оснований, кроме провокационных измышлений самого Аршинова. Этой провокационной работой занимался не только сам Аршинов, но и те немногочисленные лица, которых ему удалось заманить в свою западню.

Читатели «Рассвета» были в недоумении. С одной стороны, они не находили в «Рассвете» ничего контр-революционного и буржуазного, а с другой стороны, аршиновцы призывали их к бойкоту газеты и советовали им читать «истинно-рабочий и революционный» аршиновский журнал. В таком недоумении многие из них находились до настоящего времени. Когда же Аршинов выпустил свои последние снаряды в сторону «Рассвета», ветер рассеял окружавшие его облака провокационной лжи и клеветы, и читатели увидели этого «героя» во всей его отвратительной наготе. Они увидели перед собою не «стопроцентного» анархиста, а стопроцентного большевистского агента.

Как известно, еще в 1926 году Аршинов выпустил в свет свою «Организационную Платформу». Эта платформа мало чем отличалась от программы коммунистической партии, а поэтому она была отвергнута всеми видными европейскими анархистами. Однако, никто из анархистов не назвал его тогда большевистским агентом. Никто из них, очевидно, не подозревал того, что Аршинов, прикрываясь маской революционного анархиста, задался целью внести разложение в анархическое движение и повернуть его в сторону большевизма.

Но вот недавно он выпустил в Париже новую платформу под названием «Анархизм и диктатура пролетариата», из которой видно, что он является большевистским агентом, а не анархистом.

Теперь каждый читатель поймет, почему Аршинов вел в течение нескольких лет самую ожесточенную войну с рассветовцами. Аршинов вероятно с самого начала этой войны работал в пользу большевиков. Но так как рассветовцы относятся к большевистской диктатуре враждебно, то он выступил перед ними не в качестве большевика, а в качестве самого идейного анархиста. Вся его «тяжелая артиллерия» была направлена на Е. Моравского, М. Рубежанина и других активных работников. Расчет у него был такой: нужно во что бы то ни стало оклеветать и скомпрометировать этих активных работников, а когда я с ними расправлюсь, тогда мне легко будет затянуть в свои сети рядовых членов русских рабочих организаций; тогда я буду возглавлять все эти организации и сделаю их газету большевистским органом.

Главной сферой его провокационной деятельности было русское анархическое движение в Соед. Штатах, Канаде и Аргентине. И нужно сказать, что за несколько лет своей тайной работы ему удалось во многих организациях посеять семена раздора и раскола. Ему удалось заманить в свои большевистские сети некоторых малограмотных лиц, плохо разбирающихся в социальных вопросах, и создать в некоторых городах даже небольшие группки.

Так возникла аршиновщина в некоторых городах Соед.

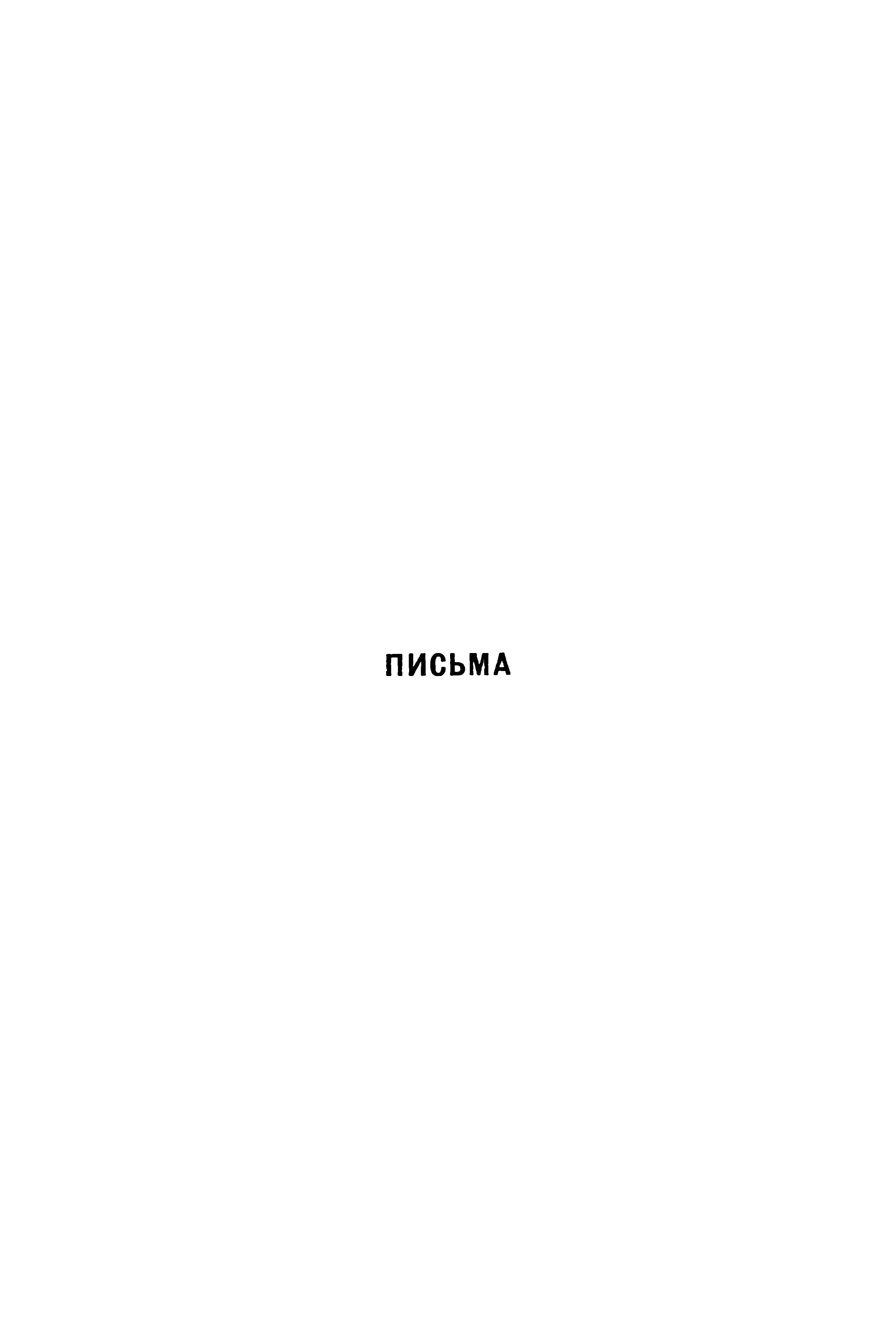
Штатов. Деятельность большинства этих людей заключалась не столько в пропаганде анархизма или в борьбе с капиталистическим строем, сколько в борьбе с рассветовцами. Всё это делали они, конечно, не по своему сознанию и разумению, а по приказу Аршинова. Эти люди верили, что Аршинов — подлинный анархист, и что каждое его слово должно быть законом. Они были просто марионетками в руках этого агента. А раз он говорил им, что прежде всего надо покончить с «Рассветом» и рассветовцами, а затем уже думать о революции, то они и действовали только в этом направлении. С этой целью некоторые из них писали даже специальные «брошюры», а Аршинов печатал их со своими предисловиями и одобрял их за их героическую «революционную» деятельность.

Теперь Аршинов раскрыл свои карты и открыто заявил своим последователям, что они должны отряхнуть анархический прах со своих ног и поклониться перед Сталиным и Чекой. В связи с этим, среди них господствует страшное смятение. Одни из них остались верными своему лидеру и ползут за ним к большевикам, а другие (искренно верившие в революционность Аршинова), отряхивают со своих ног прах аршиновщины и примиряются со своими старыми товарищами, а третьи просто ошеломлены предательством своего лидера и не знают, что делать в дальнейшем.

Война Аршинова с рассветовцами, следовательно, закончилась. Аршинов в своей брошюре показал, с какой целью он и его сторонники устраивали походы против «Рассвета» и его издателей и читателей.

Жизнь вынесла обвинительный приговор не «Рассвету», а самому Аршинову и его сотоварищам. Теперь Аршинову остается только переехать из Парижа в Москву и поступить на службу в ГПУ для подавления крестьянских и рабочих бунтов.

(П. Аршинов вернулся в СССР. Дальнейшая его судьба неизвестна. По слухам, большевики «ликвидировали» раскаявшегося махновца — они ничего не забывают и не прощают. М. Р.).



ПИСЬМА

ПРОСЬБА О ПОМОЩИ УЗНИКАМ

Дорогие друзья!

Заграничная социалистическая и анархическая пресса сообщает вам очень часто о том, в каких условиях приходится жить и работать русским революционерам. Вы знаете также вероятно и о том, что очень немногие из них остались «на свободе». Громадное же большинство этих революционеров находится в тюрьмах и ссылке. Ни в одной буржуазной стране не происходят, очевидно, такие гонения на всякую свободную и критическую мысль, какие происходят в России. Вершители русских судеб нисколько не отличаются в этом отношении от своих жестоких и невежественных предшественников, которые царствовали в России целых 300 лет. Во многих отношениях, особенно в преследовании своих политических противников, большевики даже опередили их.

Количество этих «преступников» не поддается точному учету. Во всяком случае, это количество выражается сотнями тысяч. В числе их имеются интеллигенты, рабочие и крестьяне. Имеются люди свободно-мыслящие, социалисты и анархисты.

Положение этих узников настолько трагическое и невыносимое, что многие из них прибегают к самоубийству. Вы вероятно знаете, что прибегая к этому последнему трагическому освобождению от всевозможных страданий, в душе человека нет уже, очевидно, ничего, кроме безумного ужаса и отчаяния. Не говоря уже о всевозможных моральных издевательствах, этим узникам приходится переносить также и всевозможные физические издевательства. Вам из-

вестны уже случаи телесных наказаний (избиений в тюрьмах арестованных), известны также и случаи убийств заключенных. Подобных ужасов, нет, кажется, ни в одной стране, за исключением, быть может, только Испании, этой великой колыбели Святой Инквизиции. И русские большевики идут, вероятно, рука об руку с испанскими инквизиторами и иезуитами.

Материальное положение заключенных и ссыльных (в особенности наших товарищей анархистов) является положением катастрофическим. Большинство из них находится на далеком Севере, не имея для этого сурового и нездорового климата необходимой одежды и обуви. Тюремная жизнь, систематические голодовки, холод и голод расстроили окончательно их здоровье и многие из них находятся уже в тюремных больницах в качестве «безнадежно больных». Положение здоровых товарищей не является, конечно, таким безотрадным, но надо думать, что эта печальная участь не минет и их, если только им всем вообще не будет оказываться более постоянная, систематическая материальная помощь. И эту помощь необходимо оказывать не только нашим заключенным товарищам, но и товарищам ссыльным. Как политических преступников их не принимают на службу и на работу, благодаря чему им и приходится бóльшей частью влачить какое то полуголодное существование.

Необходима помощь. Но этой помощи не могут оказать им наши немногие товарищи, оставшиеся на свободе. Материальное положение тоже критическое. Если бы они отдали даже половину своего заработка в пользу заключенных, то и в этом случае мы были бы слишком далеки еще от оказания серьезной помощи. Для этого необходимо было бы иметь более существенные и более постоянные материальные источники, которых лишены правящей партией наши товарищи. Я говорю о всевозможных лекциях, концертах, лотереях, которые необходимо было бы устраивать в пользу заключенных. Но, к нашему величайшему трагизму, в России это невозможно. Запрещены всякие сборы средств в пользу политических ссыльных и заключенных.

Единственной организацией, оказывающей помощь нашим товарищам является в России Черный Крест. Секретариат Черного Креста несколько раз делал попытки получить разрешение на право устройства лекций и концертов (имея на это согласие многих известных артистов), но каждый раз власти отвечали ему отказом. Черному Кресту приходится сейчас, таким образом, собирать средства только путем пожертвований и добровольных взносов. Но как ничтожны эти суммы для этого великого дела!

Правда, в работе Черного Креста принимают участие не только наши товарищи, старые анархисты, но этой работе оказывают очень большую услугу, если только не самую важную, и некоторые московские благородные дамы-аристократки, так искренно сочувствующие нашим идеям. Некоторые из них устраивали иногда лотереи, устраивали также у себя дома нелегальные концерты, имевшие в материальном отношении очень существенное значение. Не называя имен их, мне хочется выразить им от имени русских анархистов самую искреннюю и сердечную благодарность.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Если бы меня спросил кто-либо, что я считаю самым бессмысленным и неприятным на земле, я, вероятно, ответил бы следующее: считаю самой бессмысленной вещью всякие разговоры с Берлинской Группой Анархистов. Мне думается почему то, что нет на земле человека, который мог бы сговориться с нею.

Всё то, о чем эта группа пишет, считается ею почему то умным, точным и ответственным. Всякие же возражения ей она считает ложными, невежественными и безответственными. Таких людей еще никогда, кажется, не было на свете. Но, тем не менее, всё это так и обстоит. Члены берлинской (или заграничной) группы в самом деле «рядятся в профессорские фраки» и мечтают о монополизации истины, точности и ответственности.

В 153 номере «Американских Известий» эта группа сообщает, что, говоря о ренегатах среди анархистов-коммунистов, она имела в виду так называемого московского Гордина. Насколько же известно мне, этот московский Гордин работал, разумеется, в московской федерации, но анархистом-*коммунистом* не был никогда. И я не знаю в данном случае, почему берлинская группа причислила его так произвольно к анархистам-коммунистам.

Когда же я писал о Гординых, я имел в виду Гордина петроградского. Не только я, но и большинство членов петроградской федерации не считали этого Гордина серьезным анархистом. И предположения петроградских анархистов оправдались очень скоро. Во время самой интенсивной работы петроградских анархистов (в 1917 году) Гордин создал уже свой «Союз пяти угнетенных», в идеологии ко-

торого можно было предвидеть и всю дальнейшую его эволюцию. Этот «союз» я, кажется, лучше знаю, нежели члены берлинской группы. Насколько мне известно, последние не имели ровно никакого отношения к петроградскому анархическому движению, но, тем не менее свои суждения и в этом отношении они считают точными и ответственными.

Когда я писал о пяти последователях Гордина, я знал лучше берлинской группы, что под «пятью угнетенными» Гордин разумел пять угннетенных категорий человечества; но я упомянул число этих последователей и упомянул их совершенно сознательно. Я наверное знаю, что в этом союзе и было одно время только пять членов.

И вот на этом основании берлинская группа считает меня каким то дураком, каким то невежественным и безответственным человеком. Но с этим спорить я не стану. Не желаю уподобляться в этом берлинской группе и уверять других в своей учености и ответственности. Быть может я и невежественный человек, быть может я и дурак. Но, ведь, есть пословица: человек учится весь век, а дураком умирает. Эта пословица приложима и ко мне, поскольку я являюсь человеком. Приложима она также и к членам берлинской группы, поскольку и они являются людьми. И сколько бы ни рекламировала эта группа свою ученость и ответственность, я все же не желаю у нее чему нибудь учиться. Хотел бы я, пожалуй, взять у нее лишь несколько уроков вежливости, но этих качеств у нее, к сожалению, нет и я, к своему огорчению, вынужден говорить с нею ее же собственным языком.

Дорогой М. И.

Сегодня получил от Вас два письма (от 23 и 24 июля). Очень сожалею, что Вы не сообщили мне раньше своего мнения о моей статье. Я ведь не знаю положения дел, не знаю настроения американских товарищей. Если бы я знал всё более подробно, я мог бы не писать ничего о Карелине, а если бы и написал, то написал бы в другом духе. Впрочем,

всё это можно было и выбросить из статьи, если бы Вы сообщили мне об этом раньше. Я не принадлежу к числу тех литераторов, которые не допускают никакого изменения их работ. Не признаю я только исправлений.

Такой статьи о Ленине, какую Вы прислали мне, я не читал нигде. Такой мерзости нет, кажется, даже и у самих большевиков. С одной стороны, ее не стоило печатать; с другой же стороны, это, пожалуй, и необходимо. Пусть наши товарищи посмотрят, до какой низости могут дойти иногда люди. Говоря между нами, я не верю в искренность этой статьи. Не верю также и тому, что этот доктор философии является анархистом. Это, по-моему, ложь. Здесь имеется нечто другое.

Что же касается наших берлинцев, то их молчание меня тоже несколько смущает, если эта статья была давно уже напечатана, если она им известна. Ведь почти все они — евреи и нельзя допустить мысли, что они не читают эту газету. Впрочем, они, быть может, еще напишут что-нибудь. Если же ничего не напишут, тогда они окажутся не анархистами, а самыми обыкновенными евреями, хотя мне и не хотелось бы видеть их таковыми.

Статья «Могильщикам России» написана варварским языком; я это знаю. В течении всей моей жизни я ни с одним человеком не разговаривал так. Такие разговоры не допускает мое воспитание и мое положение, но с этой мерзостью нельзя иначе разговаривать. И когда я читаю иногда в «А. И.» резкие ответы большевикам наших товарищей, всё это кажется мне чем-то не серьезным. С ними надо разговаривать иначе. Их называют даже господами. Но разве это господа? Я мог бы написать ответ и более подробный, и более злой, но моя статья оказалась и без того очень большой. До конца дней моей жизни я буду вести с ними борьбу. Если бы Вы были в России, если бы Вы видели подлинный большевизм, тогда и Вы убедились бы в том, что это не социализм, а сатанизм. Капитализм в сравнении с большевизмом сравнительно малое зло.

Дорогой М. И.

Сегодня выслал Вам ответ Волину; напечатав его, прекратите печатание всяких статей по этому вопросу; вопрос, кажется, выяснен основательно.

Последний номер журнала мне нравится. Передовица — хорошая, только несколько не обработанная в стилистическом отношении; не обработано также стихотворение «Девятнадцатый раз». Никуда не годятся только «Записи тюремные». Будучи на вашем месте я не печатал бы ни в журнале, ни в газете произведений всех этих берлинцев. Затем еще одна вещь: стоит ли печатать «Бюллетени» в журнале, раз они печатаются в газете?

В последнем номере газеты мне очень понравилась статья В. П. Как хорошо он отчитал Волина! Я даже искренне смеялся при этом. Еще два слова. Не советую печатать даже в газете берлинскую междоусобную ругань. К чему всё это? Они ругаются, а Вы печатаете в своей газете эту ругань. Пусть они переносят ее в «А. В.» или хотя бы на страницы... «Ф. А. Ш.». Впрочем, это нас не касается: пусть печатают где хотят.

Вообще мне думается, что с ними надо ликвидировать всякие взаимоотношения.

Нечего думать о том, что эти отношения могут наладиться. Ведь Волину хочется быть царем (или Андерсеновским королем, о котором я писал). И пока люди еще не признают таковым, он будет недоволен чем-то и будет вечно обвинять других.

У Вас на складе есть книга Данилевского «Россия и Европа» и сочинения Козьмы Пруткова. Если книги имеются по одному экземпляру, не продавайте их пока. Эти издания трудно найти (если это не новые издания) и мне хотелось бы еще раз просмотреть Данилевского. А Пруткова я вообще люблю. Но всё это не высылайте мне пока. Книжный магазин Ваш действительно хороший.

Дорогой М. И.

Это для меня новость, что между Мексикой и большевиками заключены какие-то конвенции о выдаче преступни-

ков (думаю, что речь идет о политических). О Мексике я тоже пока думаю.

Что касается моего ответа большевикам, то я так и думал, что найдутся люди, которые назовут этот ответ антисемитским. Странные все эти люди! Они хотят, повидимому, чтобы все мы думали по-ихнему, чтобы все мы защищали евреев. Каждый из нас может иметь, почему-то, свое мнение о римлянах, греках, индусах, египтянах, китайцах; каждый из нас может высказать о них какие угодно мысли и эти «принципиальные» товарищи ничего не будут говорить об этом. Но когда речь идет о евреях, надо непременно защищать их или же совсем не разговаривать о них. Странная логика!

Всё это я считаю только продуктом их невежества. Думаю, что даже всякий сознательный еврей будет смеяться над такими защитниками еврейства. Каждая нация имеет свои недостатки. Я ведь русский человек, но я не боюсь высказывать свои мысли о недостатках русского народа. Высказываюсь я свободно о каждой нации, о каждой культуре. И если эти недостатки есть и у еврейского народа, почему о них необходимо умалчивать?

Правда, еврейский вопрос меня мало интересует, но если бы писал об этом вопросе, я не боялся бы высказать свое мнение и о недостатках этого народа. Мы ведь анархисты. Мы должны мыслить свободно. Я даже удивляюсь, находятся люди желающие навязать всем остальным товарищам свои мысли и свои суждения. У нас, в России, нет таких товарищей.

Если они называют других антисемитами, тогда и их необходимо называть юдофилами и обвинять их в каком-то еврейском национализме и т. д. Но ведь никто из вас не станет этого делать.

И товарищи совершенно правильно поступили, если осмеяли этого «принципиальника». Иначе к ним и нельзя относиться.

Дорогой М. И.

Ужасно досадно, что в Аргентине такое положение ве-

щей. Хотя там и находится Горелик, но он, повидимому, не в состоянии наладить там работу. Впрочем, иначе и быть не может. Горелик человек слабый. Но от учителей и нельзя требовать большего. Кроме своей специальности, они, в большинстве случаев, не знают ничего. И я думаю, что было бы, пожалуй, хорошо, если бы туда переехал Худолей. Он наверное сумел бы там наладить работу. Он — человек знающий и серьезный. Не знаю, право, как это люди могут попасть под влияние Волина. Более пустого человека я еще никогда не встречал. И я очень рад, конечно, что наши американские товарищи остались самими собою и не призвали Волина володеть и управлять ими. Потому-то они и не нравятся Волину. Наши позиции нам надо укреплять всюду. Нечего бояться войны, хотя мы и ведем ее на всех фронтах.

Вы пишете, что у вас большевизм более силен среди различных мелких национальностей. Это же наблюдается и за океаном. Литовцы и белоруссы сочувствуют несколько большевизму. Но это объясняется, конечно, их некультурностью (тут прав Россель). Почти все русские евреи тоже сочувствуют большевизму, но это объясняется тем, что эта нация была раньше в России гонимой и бесправной. Сейчас же положение вещей изменилось: эта нация — привилегированная. В этом нет никаких преувеличений. Возьмите, например, школы и Вы увидите, что в России существует фактически (а не юридически) процентная норма для русских. Так, например, на медицинских факультетах московских университетов имеется 70% евреев. В Коммерческом Институте 3% русских. Большевики действительно освободили евреев. Отсюда и вытекает их сочувствие большевизму.

Только поляки и латыши совсем не признают большевизм. С латышами я сам разговаривал, когда был в Риге. В Польше я не был уже 12 лет, но я знаю, какие там настроения. Мои родные живут там всё время и знают положение вещей. Они и пишут мне, что для всякого поляка большевик и чорт — одно и то же.

1924

ПИСЬМО К ЧИТАТЕЛЯМ

Друзья-читатели,

Уже свыше 9 лет вы читаете и поддерживаете газету «Рассвет». Вы читаете эту газету потому, что она является единственной общественно-колониальной газетой, в которой вы находите широкое и правильное освещение не только мировых событий, но и жизни всей русской колонии. Газета «Рассвет» — это ваша газета, так как она честно и бескорыстно защищает интересы всего русского народа, ваши интересы в Америке и указывает вам путь к светлой, свободной и радостной жизни.

Газета «Рассвет» очень внимательно относится ко всем вашим нуждам и исканиям. Об этом свительствует тот факт, что на ее страницах вы имеете возможность высказывать свои мысли по любому интересующему или волнующему вас вопросу. Редакция не выбрасывает в корзину ваших статей, заметок и корреспонденций, на том основании, что они часто бывают написаны малограмотно, а тщательно исправляет их и печатает на страницах газеты. Таких огромных привилегий не предоставляет своим читателям ни одна русская газета не только в Европе, где газеты издаются по образцу старых русских газет, мало считаясь с читателями, но и в Соединенных Штатах, где почти все русские газеты считаются колониальными, хотя некоторые из них издаются частными лицами с целью наживы, а не с целью оказания помощи русской колонии.

На страницах газеты «Рассвет» печатаются статьи не избранной группы сотрудников, а десятков, даже сотен лиц,

вследствие чего она является как бы коллективной душой той части русской колонии, которая читает и поддерживает ее.

Газета «Рассвет» внимательно прислушивается к каждому вашему слову, ценит каждую высказанную вами мысль и делает всё, что только в силах делать, чтобы оказать вам помощь во всех отношениях. Вы, несомненно, всё это видите и цените газету. Если бы вы не ценили и не поддерживали ее, то она вероятно уже давно не существовала бы, так как она ни откуда не получает субсидий.

Я не говорю уже о том, что газета «Рассвет» ведет самую ожесточенную борьбу со всеми темными и реакционными силами, которые стараются захватить в свои сети как можно больше жертв, чтобы превратить их в источник своих доходов, а в будущем использовать в качестве пушечного мяса для достижения своих преступных целей. Всё это вы хорошо знаете, а поэтому нет надобности много говорить об этом.

Отсюда, однако, вы не должны делать вывод, что раз между редакцией и вами установились такие хорошие отношения, то нужно только радоваться и больше ничего не делать. Нет, на этом вы не должны останавливаться, как не должна останавливаться и редакция газеты. Вы должны делать всё возможное для того, чтобы превратить газету «Рассвет» в большой общественный орган, чтобы улучшить ее содержание, поставить ее на прочный фундамент, чтобы ей не были страшны никакие бури.

Не думайте, что ваша помощь газете должна ограничиваться только своевременной присылкой подписной платы или покупкой газеты в киоске. Вы должны быть не только простыми читателями газеты, но и активными работниками в деле улучшения ее содержания и укрепления ее финансового положения.

Я думаю, что нет надобности подробно распространяться о том, что вы можете сделать в области материальной поддержки. Финансовая помощь газете может быть оказана при помощи подыскания новых подписчиков, пере-

дачи типографских заказов, подыскания объявлений, устройства предприятий, сбора пожертвований и многих других способов.

Многие русские организации, обслуживаемые газетой «Рассвет», часто провозглашают лозунг: «Каждый член организации должен привлечь в организацию одного нового члена». А раз это так, то читатели «Рассвета» могут провозгласить лозунг: «Каждый читатель «Рассвета» должен найти одного нового читателя».

Но и этой помощью вы не должны ограничиваться. Помните. что редакция без вашей помощи не может улучшить содержание газеты, не может сделать ее такой, чтобы она в полной мере удовлетворяла все ваши духовные потребности. В этом деле также нужна ваша помощь, статьями, корреспонденциями и даже советами.

Каждый из вас должен сообщить редакции, какой материал вас больше всего интересует: новости, политические, экономические или научно-философские вопросы, рабочее движение, беллетристика (рассказы и стихи), международное положение, положение дел в России, жизнь колонии, корреспонденции, американская жизнь и другие вопросы.

Если редакция будет знать ваши духовные запросы, то она будет вести газету в соответствии с вашими запросами и не будет печатать такой материал, который вас не интересует.

Я знаю, что найдутся «критики», которые скажут, что газета должна поднимать к себе читателей, а не опускаться к ним, не приспособляться к их вкусам. Но это неверно. Общественная газета должна быть тесно связана со своими читателями. Только тогда она может быть живой и интересной газетой, а не простым листом бумаги, ничего не говорящим ни уму, ни сердцу читателя. А что газета должна поднимать культурный и нравственный уровень читателей, то это само собою разумеется, это главная задача каждой общественно-прогрессивной газеты.

Помните, друзья-читатели, что газета «Рассвет» — не частная, не коммерческая газета, а газета организационно-

общественная. Она уделяет много внимания не только вашей жизни на чужбине, но и жизни всего русского народа, переживающего уже много лет неслыханные страдания.

Сделайте же, поэтому, всё от вас зависящее, чтобы поднять газету «Рассвет» на должную высоту во всех отношениях. Всё, что вы сделаете для нее, вы сделаете для самих себя и для своей родины.

Проявите же, друзья-читатели, свою русскую мощь, свою русскую силу. Покажите вашим врагам, что вы можете создать большую русскую общественную газету, что в ваших руках есть крепкое оружие для борьбы с окружающими вас темными силами.

Газета «Рассвет» — это ваш духовный маяк, предостерегающий вас от всяких опасностей и указывающий правильный и безопасный путь к намеченным вами целям. Сделайте же, поэтому, всё от вас зависящее, чтобы этот маяк светил всё ярче и ярче.

1934

ПРЕДСМЕРТНЫЕ ПИСЬМА

Чикаго, 29 апреля, 1927.

Дорогой А. С.

В Москву я уже написал. Мне сообщали, что там есть много материала для печатания. Пишет даже Солонович книгу под названием «Логос Бакунина».

Выругал я основательно и Агнию. Советую и Вам это сделать. Думаю, что она сейчас будет аккуратнее относиться к делу.

Дела в нашем Комитете идут слабовато. От прошлого предприятия осталось около 40 долларов. Думаем устроить еще одно предприятие. Все Ваши отчеты печатаются, кажется, аккуратно.

К журналу публика разно относится: одни ругают, а другие хвалят. В следующем номере моей статьи не будет. Будет только маленькая статейка о стихах Фивейской.

Теперь, дорогой, вот что: мог бы ли я найти в Детройте какую нибудь работенку, долларов на 25-30 в неделю. Ужасно надоел Чикаго. Привет всем *Е. М.*

Дорогой А. С. Ш.

Я понимаю, почему так разговаривает Г. Максимов. Все эти синдикалисты не освободились еще от марксистского понимания. Но я лично не обращаю никакого внимания на всю их болтовню.

Если Максимов еще у Вас, так Вы скажите, пожалуйста ему, что газета «Дни» не монархическая, а социалистическая. Когда же он говорит Вам, что эта газета монархическая, то он либо сам не знает, что такое монархизм, либо хочет дурачить людей.

Перепечатки мы иногда действительно делаем, почему же нельзя перепечатать ту или другую статью, если в ней есть что либо интересное. Не надо забывать и того, что писателей у нас мало. Два человека не могут заполнить номер газеты.

Что касается Марии Корн (Гольдшмит) и других желающих объявить бойкот нашей газеты, то я думаю, что наше движение от этого не пострадает. Если эти анархисты способны это делать, пусть они провалятся к чорту.

От Пастухова давно не получал писем. Не знаю что случилось. Не арестован ли он только. Этот человек «бойкотировать» никого не может. Он слишком культурный человек.

Автор «резолюции» был на конференции, но не знаю с каким мнением он уехал. Привет. Ваш *Е. М.*

Дорогой А. С.

Жена писала Ал. Велент о моей болезни, а М. Р. писал И. Ч., но, к сожалению, многие детройтцы еще ничего не знают об этом.

Вот уже почти два месяца я не выхожу из квартиры и продолжаю лечиться. Вначале были три болезни: сердца, печени и легких, а теперь осталась только одна — сердечная. Когда буду в состоянии работать — еще не знаю. Врач говорит, что после лечения следовало бы уехать для отдыха на юг (где хороший климат), но придется отдыхать вероятно на какой либо фарме вблизи Чикаго так как за свою многолетнюю общественную работу я не сумел скопить денег не только на поездку на юг, но даже на врачей и лекарства.

Слава Богу, что жена у меня хорошая, заботится обо мне, а если бы не она, не знаю что было бы. Детройтским друзьям о моем положении ничего не говорите. Спасибо им, они и так мне много помогали. Может быть, как нибудь поправлюсь.

1938

Дорогая Т. Б.

Мое здоровье немного улучшается, но я всё еще не выхожу из квартиры и продолжаю лечиться. Ни о каких общественных делах не думаю и ни с кем не разговариваю, также не читаю русских газет, так как всякое волнение теперь для меня не только вредно, но и опасно.

Врачи говорят, что по этой же причине, если даже здоровье улучшится, в будущем мне нельзя будет читать лекций и работать в газете, если там будет прежняя атмосфера. После лечения следовало бы поехать на юг (врачи говорят, что для меня подходит не калифорнийский, а техасский климат), но это связано с большими расходами, а поэтому придется отдыхать где нибудь на фарме близ Чикаго.

В общем, не знаю, что будет дальше и не хочу думать об этом. Верно, что истинные друзья познаются только в беде. Многие друзья за месяц с половиной моей болезни не зашли ко мне и даже не позвонили, а некоторые люди, казавшиеся мне далекими, оказались истинными друзьями. Видите, несчастье тоже имеет свою положительную сторону, свой смысл и красоту, о чем писал О. Уайлд в своем «Де Профундис». Передайте мой привет Эллди.

На днях меня посетила Мария Куренко. Она поет по понедельникам вечером по радио-станции N. B. C.

Дорогая Т. Б.

Я еще продолжаю лечиться и не выхожу из квартиры. А когда лечение можно будет заменить отдыхом, мой врач еще не знает. Поэтому, вопрос о поездке на юг (в Техас или Калифорнию) теперь резрешить нельзя. Сердечно благодарю Вас за Ваше предложение, но, к сожалению, пока что я вынужден сидеть в Чикаго на положении турецкого святого (только без гарема).

Из Детройта мне пишут время от времени А. С. и А. Денисов.

1938

ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть первая

Стихи и проза

Часть вторая

Статьи и фельетоны

ЦЕНА 3.50